

Дмитрий Быков

Школа жизни

[сборник воспоминаний о послевоенных школьниках]

Честная книга: любовь — друзья — учителя — жесть

Оглавление

Дмитрий Быков. Попытка реконструкции.....	4
Моя школа	5
Яков Учитель. Гордые дети XX съезда.....	5
Людмила Россомахина. Драгоценная память.....	7
Лариса Трунова. «Девятка».....	10
Наталья Соколовская. Война и мир на звезде КЭЦ.....	14
Мария Уварова. Нельзя! Ни по-русски, ни по-английски.....	21
Ирина Озеркова. Нас готовили стать элитой Москвы.....	22
Петр Кобинцев. Первый раз.....	25
Дмитрий Колобов. Дни интерната	27
Учителя	31
Валентина Акуленко. Дом над обрывом.....	31
Инна Иохвидович. «Герасим»	33
Татьяна Жданова. Любимая школа	35
Геннадий Банников. Шашки наголо!	44
Нина Якимова. Игрушка для зайчика	45
Людмила Соколова. Не химик и не физик	48
Ирина Одинцова. «Кто там шагает правой?..».....	51
Ольга Вельчинская. Встреча в метро	52
Наталья Вартанян. Разноцветный бублик времени... ..	61
Игорь Соловьев. Она так и сказала: «У-у-у, гнида!..».....	64
Татьяна Мирошник. Если б было все равно, люди лазили б в окно... ..	68
Марина Черноскутова. Истории из жизни нашей школы	70
Одноклассники	74
Любовь Шифнер. Годы знаний и надежд	74
Борис Гребельников. Музыкальная угадайка.....	76
Ирина Афанасьева. Вовка	78
Валерия Суворова. О рожденных в середине прошлого столетия.....	80
Владислав Щербак. Была такая партия!	82
Светлана Бахтина. Мы «бэшки»!.....	83
Юлия Харланова. Три истории о непростой школьной дружбе.....	87
Анна Щендрыгина. Про указку и противогазы.....	89
Александра Плаксина. Доказательства зла.....	92
Владимир Гуга. Мишка-таксист	98
Надежда Осипова. Екулька	102

Школьные мучения	105
Лидия Павлова. Исповедь неумехи	105
Галина Щекина. Чтобы не позорила	109
Алексей Щедров. Комсомольский барон	112
Марина Погребная. Школа № 1	115
Светлана Челнокова. От шести до девяти	117
Марина Шатерова. Не забывается — а хотелось бы!	120
Дарья Семенюк. Яма с лестницей	125
Андрей Славин. Школа закончилась, да и ладно!	127
Первая любовь	130
Ирина Дементьева. Любовь с улицы Валентины Терешковой	130
Светлана Дурягина. Две потери	132
Лариса Теплякова. Бульвар школьной любви	136
Елена Жарикова. Мои глазки, ваши брови — все доводит до любви	139
Елена Смирягина. «Дорогая Бредун!»	140
Александра Сулимина. Когда уходит детство	144
Лусине Кандилджян. Зимние цветы	148
Ирина Семенова. Две шариковые ручки	149
Вячеслав Ерошенко. Лена-отличница	153
Школа жизни	155
Вера Прокопьева. Как же я хотела пойти в школу!	155
Владимир Рабинович. Спасибо, что поверил!	157
Елена Литинская. На Большой Семеновской	161
Владимир Неробеев. Загубленный талант, или О вреде курения	165
Светлана Муромцева. Он ведь с красным знаменем цвета одного!	167
Аннета Мейман. Когда бьют — больно, а когда молчат — больнее	169
Алексей Завьялов. Утро в сосновом бору	172
Юрий Лукин. Про физику и многое другое... ..	176
Татьяна Мальцева. Танечка	179
Ирина Завьялова. Детские судьбы и взрослые игры	181
Ирина Красильникова. Язык твой — враг твой	183
Ирина Озеркова. Белая ворона и ее родители	187
Елена Курдюмова. Комсомол и я	188
Поступок и проступок	197
Вадим Богуславский. Опасное увлечение	197
Ольга Кондратьева. «...Расцветет еще пышным букетом!»	200
Наталия Смородинская. «To be or not to be»	204
Борис Гребельников. Каллиграф	207
Георгий Атисков. Как я довыпендривался... ..	210
Денис Щербаков. Во всем виноват дневник	212
Алексей Селезнев. Цена витаминок	214
Ирина Говоруха. Несчастливая любовь и три красных плаща	215
Людмила Чеснокова. Пушкин	217

Александр Самойленко. Ненаписанная сказка	220
Николай Колесников. Первый бал	222
Наталья Смородинская. Велюровое платье	226
Светлана Кайсарова. Туфли из «Альбатроса».....	227
Евгений Бунимович. Экзамены	228
Ирина Данильянц. «Муха».....	230
Сергей Поляков. Странное время.....	235
От издательства	241

Аннотация

Мы все — бывшие дети, и многого о себе не договорили, не поняли. Попытка реконструкции школьных времен довольно мучительна, но эти времена есть за что благодарить. Цель этой книги — составить хронику ушедших детских, школьных лет: кроме нас, это сделать некому. Сборник воспоминаний о послевоенных школьниках, составленный Улицкой, стал бестселлером, но коллизии детства и отрочества шестидесятых— девяностых оказались ничуть не менее драматичны и трогательны. Лучший способ разобраться в себе нынешних — вспомнить себя тогдашних.

«Школа жизни» — новый проект серии «Народная книга». Откройте ее — и станет понятно, почему наша генерация почти все сдала и все-таки удержалась на краю пропасти.

Дмитрий Быков

Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 507, [5] с. (Народная книга).
ISBN: 978-5-17-091164-6.

Дмитрий Быков. Попытка реконструкции

В начале семидесятых Борис Слуцкий писал:

Самые интеллигентные люди в стране —
Девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
И еще не забыты вполне.

Одной из главных тем в советском искусстве шестидесятых-восьмидесятых была школьная. «Ночь после выпуска» и «Шестьдесят свечей» Тендрякова, «Ключ без права передачи» Динары Асановой, «Доживем до понедельника» Ростюцкого и «Репетитор» Полонского, «Чужие письма» Рязанцевой и Авербаха, «Долгие провода» Муратовой, «Вам и не снилось» Щербаковой и Фрэза — это я называю только бесспорные хиты. Главные социальные проблемы ставились в фильмах о подростках: «А если это любовь?», «Тучи над Борском», «Школьный вальс». Дело не только в том, что подростковая литература и кинематография были свободнее «взрослых»: идеологический диктат в детском искусстве не так чувствовался, и тут можно было о многом высказаться всерьез. В детскую литературу сбегали Аксенов, Ефимов, Стругацкие — именно так они умудрялись говорить о главном без малейших скидок на возраст читателя. Но причина и глубже: послесталинский подросток был тем самым новым человеком, о котором мечтало первое советское поколение. У него по разным причинам не получилось осуществиться полностью: сначала мешал террор, потом война. Но уж дети и внуки ветеранов, поколение космической утопии, коммунарской педагогики, дети физиков и лириков, последние советские выпускники должны были осуществить вековую мечту о создании нового человека.

СССР — как и Россия — не всегда хорошо производил товары, но всегда отлично формировал среды. Советскими подростками очень много занимались: кружки, секции, классы педагогов-новаторов, детские редакции при молодежных журналах и телепрограммах, лицеи юных вундеркиндов, вроде легендарной колмогоровской школы или новосибирской ФМШ, детские киностудии в каждой республике, детские театры — студийные либо профессиональные, — все воспитывало нового человека, которому предстояло вывести страну из все более очевидного тупика. Очень жаль, что перестройка востребовала совсем иные качества. Но нам, детям семидесятых и восьмидесятых, грех не вспомнить ту фантастически напряженную, многое обещавшую, невротизирующую, странную атмосферу конца советской эпохи, когда будущее уже сквозило во все щели.

Я отлично помню свой школьный опыт: он был отвратителен, поскольку двойная мораль уже свирепствовала и травля, столь ярко и страшно показанная Железниковым и Быковым в «Чучеле», была уделом всех думающих детей. Однако, помимо этой травли, оказавшейся весьма полезным опытом для постсоветского будущего, советская школа могла предложить много интересного — не зря тут существовал настоящий культ учителя. Допускаю, что кому-то в школе было отлично, дружно, весело и т. д. Главное же, как мне кажется, — тогдашние подростки были очень серьезными и взрослыми, интеллектуально они были богаче и самодостаточнее сегодняшних старшеклассников, и, хотя среди них хватало откровенного бандитя, фарцовщиков и юных циников, преобладали в этом поколении люди серьезные и трезвые. Кстати, именно о них был снят «Плюмбум» Абдрашитова и Миндадзе — рубежный фильм эпохи; тогда Плюмбум казался безусловным злом, но время показало, что бывают вещи похуже принципиальности.

Я думаю, тогдашнее поколение — равно как и школьники девяностых — многого о себе недоговорило и не поняло. Нам нужно составить хронику тех лет, потому что, кроме нас, это сделать

некому. Трагедию исчезновения СССР лучше всех поняли подростки, потому что их жизнь переломилась. Сборник воспоминаний «Детство 45—53» о послевоенных школьниках, составленный Людмилой Улицкой, стал бестселлером, но коллизии нашего отрочества были ничуть не менее драматичны. Лучший способ разобраться в себе нынешних — это вспомнить себя тогдашних. Мы как раз входим в тот возраст, когда события двадцати-тридцатилетней давности помнятся нам лучше вчерашних.

Лично для меня попытка реконструкции тех времен довольно мучительна, но и мне есть за что поблагодарить их (времена). Надеюсь, все вместе мы составили книгу, из которой будет понятно, почему наша генерация почти все слала и все-таки удержалась на краю пропасти.

Моя школа

Яков Учитель. Гордые дети XX съезда

Вырос я в историческом центре Ленинграда.

В 1-й класс пошел в 1955 году. Это был второй год, как в СССР ввели совместное обучение мальчиков и девочек, а также второй год, как появилась серая квазигимназическая форма для мальчиков.

Моя школа № 209 помещалась на улице Восстания во внушительном здании бывшего Павловского института благородных девиц. Он, разумеется, меньше знаменит, чем Смольный, но тоже не лыком шит. В классе было больше сорока человек. Квартирный вопрос в послевоенном Ленинграде стоял очень остро, коммуналки были перенаселены, и мест в школах не хватало. Все вторые и третьи классы занимались во вторую смену.

Забегая вперед, скажу, что через десять лет в округе не осталось *ни одного* одноклассника: все разъехались из центра в хрущобы спальных районов, в воделенные отдельные квартиры.

Традиции и нравы в школе были строгие. Например, перед началом занятий на входе стояли дежурные и кроме отлова опоздавших следили за тем, чтобы мальчики непременно снимали шапки. А еще перед уроками в просторных коридорах была общая физзарядка. Позже эта традиция отмерла сама собой. После двух лет второй смены в четвертом классе я физзарядки уже не помню.

С каждым годом либерализм набирал силу. Школьные годы точно пришлись на оттепель от рассвета до заката — от раннего постсталинизма до расправы Хрущева с советской интеллигенцией.

Учителя в те годы были в авторитете, как в обществе в целом, так и среди школьников. Кажется, мы их искренне любили.

Исторические события тех лет тесно переплетались со школьной жизнью. Открытие ленинградского метро к 7 ноября 1955 года — первые дни туда пускали только по приглашительным билетам, и побывать смогли не все. Те же из ребят, кому посчастливилось, в начале второй четверти делились у доски своими впечатлениями.

XX съезд пришелся на середину третьей четверти первого класса. В интеллигентской среде десталинизация была встречена одобрительно, и мы, продвинутые первоклассники, заговорщицки это обсуждали вполголоса. На уроках вслух говорилось только о достижениях — прошлых, но в основном

о грядущих. Запомнилось, как на вопрос: «Что нас ждет в очередной пятилетке?», — я ответил, что вместо паровозов у нас будут тепловозы. Наверное, пятерку получил. Главное — угадал!

Ныне ушел в прошлое институт второгодников: сейчас боятся травмировать детей и гоняются за липовыми показателями успеваемости. А в этом было немало позитива. Второгодники вносили недостающую долю жизненного опыта, а сами нередко подтягивались в учебе. В 5-м классе появился у нас Юра Николаев, креативный второгодник, переведенный из другой школы. Он быстро научил коллектив ругаться матом и интересоваться сексом (такого слова, правда, еще не было). То есть, казалось бы, отвязный хулиган из пролетарской семьи. Однако при этом он ходил в очках и играл на рояле — в музыкальной школе учился. Любил играть полузапрещенный джаз и «роки». Запомнилось заводное:

*Раньше слушал Баха фуги.
Африка!
А теперь гоняет буги.
Африка!*

В 6-м классе завели у нас «Дисциплинарную тетрадь». В нее учителя записывали тех, кто плохо себя вел. За замечания попадало от родителей. Это было неприятно. Кого-то и выпороть могли. И было нами решено принять радикальные меры. Ждали случая.

Шел урок физкультуры в огромном актовом зале. Вдруг в середине урока загремело школьное радио (тогда такое было не везде): «Работают все радиостанции Советского Союза! Человек в космосе!!!» Это было 12 апреля 1961 года. Все завопили «ура!» и еще что-то радостное. Урок прервался. В едином порыве мы побежали на Невский. Я прикрыл учительский стол телом, пока Юра Николаев запихивал «Дисциплинарную тетрадь» в тренировочные штаны. Надо было еще успеть ее порвать и отнести на помойку, прежде чем слиться с ликующими ленинградцами. Всё успели.

Другая более возвышенная история. В 5-м классе мы с другом состояли в так называемом библиотечном активе. То есть подолгу торчали в библиотеке, помогали там и имели свободный доступ к книгам. Дружили с юной библиотекаришей (младшей; была еще заведующая). То ли ранней осенью 1959 года, то ли поздней весной 60-го гуляли мы с ней и, надеюсь, рассуждали об искусстве. Привела она нас в гости к своей знакомой — пожилой литературной даме во флигель Шереметьевского дворца. Тогда там был Институт Арктики и Антарктики. Угостила дама нас чаем с печеньем. Ну, и не вспоминал я об этом лет двадцать пять. А когда вспомнил, то понял, что это была Анна Андреевна Ахматова! И больше в этом не сомневался. Шли годы, и я решил поглубже изучить вопрос. Эх, лучше бы этого не делал: оказалось, что Ахматова съехала из Фонтанного дома в 1952-м... «Какой удар со стороны классика!» Остается надеяться, что это все-таки она приходила в гости к каким-нибудь бывшим соседям.

Но памятник Анне Андреевне в XXI веке перед нашей школой все же поставили.

С классной руководительницей по фамилии Калешева отношения были неважные. Естественно, прозвище у нее было Кала. В 6-м классе я посвятил ей стих, в котором было четырнадцать строк, и назвал его сонетом. Помню первую строфу:

*Восстаньте дети от велика и до мала!
Как призрак злой, стоит над нами Кала.
Давно пора сей сбросить произвол
И Калу гнать из всех советских школ!*

И заключительное двустишие:

*Взовьется ж флаг восстания начала!
Да будет свет, да сгинет Кала!*

Рукописный текст был подброшен героине сонета в сумку. Реакции не последовало. Но я чувствовал, что ей известно, кто автор.

Под самый Новый 1961 год одноклассники решили собраться в школе. Просто так, что не было санкционировано взрослыми. Встретились мы в роскошном вестибюле школы. Все было открыто, никаких вахтеров и охранников, хотя был вечер — темно, во всяком случае.

Купили две-три бутылки лимонада и конфет. И тут оказалось, что Юра Николаев принес бутылку вина. Это было первое мое столкновение с коллективной пьянкой (6-й класс). Но далеко не последнее. Сладкое вино «Шато-Икем», как сейчас помню, 0,5. Было нас человек двадцать — двадцать пять, то есть по двадцать граммов на нос. Приложились все, включая девочек, отказавшихся не было. И вот в разгар всеобщего веселья появляется наша классная руководительница. Кто-то стукнул. Не представляю — как? Ведь мобильных телефонов тогда не было. Простые домашние телефоны и то были далеко не у всех. Начинается следствие. Кто-то раскололся, что Николаев вино принес. Тут же был вызван отец Юры — типичный положительный пролетарий. До сих пор не понимаю, как все быстро произошло. Главную улику — пустую бутылку вина — мы уничтожили. И тут я совершил поступок, которым горжусь уже полвека. Я сказал: «Не знаю, вино или что, но вот эта бутылка». И протянул грозным следователям пустую бутылку из-под лимонада. Юрин папаша со знанием дела ее понюхал и заключил: «Действительно, лимонад». Сомнений, что это именно та бутылка, ни у кого не возникло, и инцидент был исчерпан. По прошествии лет я понял, что старшие были не меньше нас, а может, и больше заинтересованы в таком хеппи-энде, и гордость моя не слишком-то обоснована.

С 1962 года ввели в старших классах «производственное обучение», в связи с чем добавили одиннадцатый класс. Школы стали «восьмилетками» и «трехлетками» — с девятыми, десятymi и одиннадцатыми классами. А в некоторых школах остались классы с первого по одиннадцатый. Мы не сомневались, что наша школа, расположенная, безусловно, в лучшем школьном здании Ленинграда, станет полной «одиннадцатилеткой». Но партия распорядилась иначе. Пришлось в пятнадцать лет определять свою судьбу. Сначала я решил закончить три класса за один год. Такой прецедент мне был известен. Для этого я поступил в заочную вечернюю школу и пошел работать на фабрику «Большевичка» электромонтером-слаботочником. Но с решением поставленной задачи не справился (по лени) и после девятого класса поступил в не менее харизматичную школу на Невском, что в здании со знаменитой мемориальной блокадной надписью: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Но это уже другая история.

Людмила Россомахина. Драгоценная память

Удивительно устроена человеческая память: мы помним только то, что, видимо, нужно именно нам. Перебирая в памяти самые приятные воспоминания, связанные со школой, думаю, что самым лучшим и значимым для меня был день, когда я впервые пошла в школу.

1 сентября 1965 года

С вечера примеряла форму, белый фартучек, гольфики, подержала в руках огромный букет георгин, приготовленный мамой. Помню ощущение радости и предвкушение чего-то необычного. Тревоги не было: ведь мы шли в первый класс целой группой из детского сада. Для сельской школы восемь человек — это много. Мы чувствовали себя чем-то единым и неделимым.

Совершенно не помню линейки, поздравлений. В памяти осталось, как первая учительница назвала свое имя — Косолапова Людмила Павловна. Она казалась мне самой лучшей на свете! После мамы, конечно. Нравились ее красиво уложенная коса, ее белый воротничок на темном платье и удивительно мягкий голос. В то время, когда она называла наши имена, а мы вскакивали с места, «домашние» дети затеяли игру с мухами на окнах: ловили их, держали за крылышки, а те громко жужжали...

Учительница лишь улыбнулась и сказала, что это не очень интересное занятие, а теперь мы стали учениками и узнаем много интересного. С тех пор я ходила в школу за этим интересным, боясь хоть что-то упустить.

Врезалась в память первая перемена. Звонки дали колокольчиком, и мы выбежали на улицу, как будто нас годы держали в неволе. Школа была маленькой, деревянной. В ней места хватало только для двух классов: первого и второго, а остальные учились в «большой» школе в два этажа. Между зданиями был школьный стадион, а от улицы школу отделял высокий забор. Вот на него меня почему-то и понесло в новенькой школьной форме. Залезть-то смогла и даже победно посматривала на тех, кто не решился это сделать, а вот слезать было страшновато... Но я на виду у всех прыгнула в траву, испачкав белые гольфики и растрепав косички с белыми бантиками.

А как я завидовала второкласснику, который был дежурным и подал звонок на следующий урок! Наверно, впечатления от первой встречи со школой были так сильны, что мне захотелось в ней остаться на долгие годы.

Вторая учительница

Так случилось, что обожаемая всем классом первая учительница должна была уехать вместе с семьей в Порошино, и мы чувствовали себя осиротевшими. Это было так больно и несправедливо, что не хотелось никого видеть.

Но приехала молодая учительница Шубина Валентина Григорьевна, в которую мы влюбились сразу и навсегда. В нее нельзя было не влюбиться. Она из тех, о ком говорят: учитель от Бога.

Она умудрилась для нас стать не просто учителем, а другом. Мы любили с подружками Галей Пунгиной и Надей Козловой бывать в гостях у Валентины Григорьевны. В небольшом, но уютном домике она жила с двумя другими молодыми учительницами.

Помню, как меня поразил портрет на стене комнаты. Оказалось, что это поэт Есенин. Мы без стеснения валялись на медвежьей шкуре — трофее брата учительницы, который был охотоведом. Пили чай с протертой с сахаром клюквой и разговаривали обо всем на свете. Почему нас не гнали, а встречали по-доброму? Таким вопросом мы не задавались тогда: все было как-то легко, здорово, естественно.

Помню, как готовились к «Зарнице». Шили из старых чулок мячики, набивали ватой. Это были «снаряды» для игры. Воевали в небольшом перелеске. Наш класс был «зеленым», а третьеклассники — «синими». Отличали нас по повязкам на рукаве. Нужно было захватить «вражеское» знамя и при этом не потерять повязку, то есть не попасть в плен. Помню, что я очень искусно пряталась, но знамя захватил кто-то посмелее и понаходчивее.

После игры зажгли огромный костер. Я такого не видала раньше. Огонь взметнулся так высоко, что чуть не задевал провода. Мы заволновались, но взрослые быстро его притушили, перенесли в сторону и снова разожгли. Мы стояли и заворуженно смотрели на огонь. Уходить домой после

«войны» не хотелось. Почему-то не было уже никакого соперничества, обид, тревог. Было братство маленьких «бойцов» из начальной школы.

По итогам первой четверти во втором классе отличникам дарили книги. Мне досталась книга Леонида Дьяконова «Олень — золотые рога». Учительница сказала, что это очень интересная книга, и если я принесу ее в школу, то она будет нам читать вслух, когда останется время от урока. Время у нас почему-то оставалось, и мы к весне уже прочитали книгу до конца. Оставались и после уроков, чтобы дочитать главу, а потом обсудить. И никто не рвался домой, слушали с удовольствием. С таким же интересом мы читали вслух повести с продолжением из журнала «Пионер» и рассказы из «Пионерской правды». В классном уголке у нас были «кармашки», в которые мы вкладывали листочки с названиями самостоятельно прочитанных книг. У меня был самый «пухлый» кармашек.

Директор

Пока я училась в школе, у нас был один директор — Захаров Николай Григорьевич. Он всей душой переживал за то, что в ней происходило, добивался порядка, устанавливал какие-то правила. К примеру, каждый понедельник устраивалась полная проверка. В коридоре у входа в школу ставили стол, за которым сидели дежурный учитель и директор. Проверяли, есть ли сменная обувь, подпись родителей в дневнике, салфетка для обедов. Проверяли даже цвет ленточек в косах: в будни они должны были быть коричневыми, а в праздники — белыми. Конечно, мы умели обходить эти проверки в прямом и переносном смысле: заходили с запасного входа, подписывали друзьям дневники, менялись обувью, забрасывая ее в форточки... В общем, вели себя, как нормальные дети, которым не нравятся какие-то «рамки», запреты, непонятные правила.

После проверок были общешкольные линейки. Все ученики (человек двести) выстраивались в коридоре второго этажа, директор забирался на деревянное кресло, чтобы все его видели, и устраивал «разбор полетов» за неделю. Запомнилось, как нас ругали за то, что мы плохо ели суп, который нам привозили в больших термосах из столовой. Честно сказать, суп был жирный и невкусный. Я его ела, закрыв глаза, чтобы не видеть, как в тарелке плавают жир. Запомнилось, как ученика 7-го класса хотели исключить из школы за курение. Мы верили, что это возможно, и всем классом очень жалели паренька.

Трудились мы беспрестанно и почти не роптали. Так как в школе было печное отопление, мы носили к двум печкам дрова, мыли полы. Весной дрова складывали в огромные дровницы. Директор с нами укладывал, показывал, как надо, чтобы поленница не развалилась. Почти всегда он был с фотоаппаратом. Все наши дела оставались на пленке, а потом на фотографиях в красивых больших альбомах, которые хранились в школе для каких-то «высоких» целей. Мы их не видели, поэтому парадоксально, но фотографий, связанных со школой, у меня, да и у моих одноклассников совсем нет. Нет даже выпускной фотографии...

Несмотря на то, что школа у нас была небольшая, наша жизнь была такая насыщенная! Я постоянно участвовала в каких-то районных мероприятиях: конкурсах чтецов и певцов, драмколлективов, смотрах строя и песни, туристических слетах. Директор сам руководил подготовкой к районному смотру строя и песни. Мы шили одинаковые костюмы, головные уборы (каждый год — разные) и гордились тем, что побеждали в этом смотре постоянно. Кстати, маршировать мне очень не нравилось, но приходилось подчиняться. В День пионерии устраивался праздник на природе. Там подводились итоги, активистам вручали пионерские галстуки. Со временем у меня образовалась целая коллекция.

Наш класс

Переход из начальной школы был очень болезненным. Мы без конца бегали к своей любимой учительнице, не желали принимать новую классную руководительницу. Ей это было, конечно, обидно,

потому что Мария Ивановна только что выпустила замечательный класс, дети из которого поступили в хорошие вузы, даже в МГУ. И она провела классный час, на котором рассказала о себе, о том, как она оказалась в нашей школе, о своих выпускниках. Мы поняли ее и приняли. Обиделись на нее только один раз, когда она запретила проводить «огонек», потому что за неделю наполучали двойки по математике. Мы уже позаботились о музыке, закупили два килограмма любимых конфет «Цитрон» с лимонной начинкой, а тут такое разочарование... Посоветовавшись, решили идти в лес жечь костер. Пока добрались до места, стемнело. Было страшно. Костер никак не хотел гореть. Мы жевали конфеты, ругали Марию Ивановну, но делали это как-то вяло, беззлобно.

Наша классная была биологом, поэтому мы постоянно пересаживали цветы, оформляли стенды, ухаживали за цветником возле школы. А наш пришкольный участок был очень хорош. Я любила дежурить в начале июля, когда поспевала клубника. Мы набирали по два ведра ягод каждый. По бидончику разрешали брать домой, остальное разносили по домам учителей-ветеранов. Много собирали смородины, малины. Варили, сушили, а в сентябре устраивали Праздник урожая. Чего там только не было! И гигантский картофель, и тыквы разных расцветок, и редкие овощи... Мария Ивановна заботилась о дендрарии возле школы. Она научила нас многому.

Когда мы учились в классе в седьмом, Мария Ивановна увлекла нас занятиями в кружке, где мы начали переписку с ребятами из других стран. Я переписывалась с девочкой из Польши. Мы обменивались значками, открытками, монетками, а однажды я получила посылку с сувенирами и шоколадом. В ответ мы с мамой тоже собрали посылку. Запомнилось, как сложно было это сделать. Пришлось заполнять много бумаг, а адрес писать на польском языке. Я это умела, потому что девочка из Польши прислала мне учебник для изучения языка. Конечно, успехов у меня больших не было, но переписка наша продолжалась много лет.

А еще мы всем классом выписывали газеты пионеров разных республик, читали заметки, обсуждали. А к десятому классу полюбили петь. В мае, когда сад возле школы расцветал, выходили на улицу, садились прямо на траву и пели школьные песни. Видимо, чувствовали скорое расставание. Даже окончив школу, мы навещали свою классную руководительницу. Однажды она удивила нас тем, что показала приглашение на встречу выпускников, которая должна была состояться через пятьдесят лет! А вот состоялась ли — не знаю. Несмотря на то, что класс наш был дружным, мы встречались после школы, к сожалению, только однажды... Разъехались и потерялись.

Лариса Трунова. «Девятка»

*Здравствуй, школа родная, девятая,
Мы по праву гордимся тобой,
Каждый день мы спешим на занятия,
Ты для нас навсегда дом родной.*

Эти слова невольно всплывают в памяти, когда прохожу мимо здания бывшей школы № 9 города Игарки, которую я окончила сорок лет назад. Моя любимая «девятка» — связующее звено между прошлым и настоящим, между беспечным детством и сегодняшними заботами. Я с уверенностью могу сказать, что мои школьные годы, что пришлось на шестидесятые — семидесятые, — чудесные! Все годы со мной рядом были удивительные люди, влюбленные в свою работу, — мои учителя, которые помогли мне сделать важный в жизни шаг, выбрать профессию учителя, о чем я ни разу не пожалела. Тридцать три года преподаю английский язык в родном городе, из них двадцать пять — в родной «девятке». Что для меня школа? Вся моя жизнь! Сначала я была ученицей, а потом — учителем. Мои ученики — дети и внуки моих одноклассников. Они совсем не похожи на нас.

Все мои воспоминания связаны с этой школой, ее учителями, моими друзьями. Прежде школа была деревянной, в центре которой стояла большая печь. Обязанностью старшекласников было приносить дрова, и сторож топил ее круглосуточно, поскольку зима на севере длинная и холодная. Когда температура опускалась ниже сорока пяти градусов, местное радио сообщало об отмене занятий в школе, что вызывало, конечно же, радость. Эти дни назывались «активировками». Несмотря на холод, полярную ночь, когда солнце не видно в течение месяца, мы гуляли, обмораживая носы и щеки; забегая в школу, мы грелись о теплые бока школьной печи.

В канун 8 марта 1968 года Галина Ильинична Игнатенкова, учительница моего четвертого «Б» класса, предложила нам шить фартучки для мам. Вероятно, не все у нас получалось. Я хорошо помню, как все мы собрались в маленькой квартире Игнатенковых, и сама Галина Ильинична все воскресенье строчила на ручной машинке разноцветные фартучки, которые мы позже с гордостью вручали нашим удивленным и обрадованным мамам.

Осенью этого же года, перейдя в пятый класс, мы встретились с Зоей Алексеевной Антоновой, которая вела у нас русский язык и литературу и была классным руководителем. Умная, добрая, заботливая, с чувством юмора, она проводила с нами все свое время, несмотря на то что у нее была семья и трое детей. С нами учился Толя Протопопов, который сидел за первой партой, прямо перед Зоей Алексеевной, и она спрашивала его каждый день, смотрела на него, как нам казалось, строже, чем на остальных. Мы даже жалели его.

Однажды мы катались с высокого берега Енисея на лыжах, замерзли, все были в снегу, уже стемнело, а домой идти не хотелось. Кто-то предложил: «А пойдемте погреемся к Зое Алексеевне, вон ее дом». Каково было наше удивление, когда дверь нам открыл Толя. На наш вопрос: «А что ты тут делаешь?» — он ответил, что топит печь. Мы стояли, растерянно глядя друг на друга. В глазах стоял укор учительнице, которая очень была к нему строга, да еще и печь заставила топить. Вдруг открылась дверь, вошла улыбающаяся Зоя Алексеевна и сказала: «О, у нас гости. Сынок, приглашай всех пить чай, а то я озябла, пока с собрания дошла». У нас были глупые лица, мы не могли поверить, что наша любимая учительница — мама нашего одноклассника. Как мы ему завидовали! Бывая в Третьяковской галерее, всегда вспоминаю занятия кружка «В мире прекрасного», на которых Зоя Алексеевна научила нас любить природу, красоту родного края, знать богатое культурное наследие страны, гордиться тем, что мы — земляки В.И. Сурикова.

1969 год запомнился всем жителям нашего города. Слова песни «Игарка деревянной и тихою была, а завтра белый камень...» напоминают о переменах в жизни Игарки. Торжественно распахнула двери новая каменная пятиэтажная школа, в которую я пришла пятиклашкой, которую окончила и вернулась учителем.

1970 год. Пионерский отряд седьмого «Б» класса — правофланговый, носил имя Володи Дубинина. Наш девиз: «Не падать вниз, а быть всегда на высоте» — мы помним и сейчас.

В те годы любимым нашим занятием было чтение. Герои А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Рыбакова, А. Фадеева, М. Шолохова воспитывали в нас ответственность, смелость, честность, инициативу, звали на добрые дела, учили крепко дружить. Помню, как потрясли меня книги «Повесть о Зое и Шуре», «Повесть о сыне», «Четвертая высота», «Кортник», «Улица младшего сына», «Тимур и его команда». Я перечитывала их по многу раз, смотрела фильмы об этих героях и хотела быть похожей на Зою, Олега, Гулю, Тимура.

Наши ребята выступили с инициативой возродить в Игарке тимуровское движение. Мне нравилось помогать бабушке Вале, которая жила на нашей улице: помыть пол, сходить в аптеку,

подписать открытки, почитать газету, посидеть попить с ней чайку, рассказать школьные новости, а главное, видеть, что она ждет меня, что она очень рада, хотя этажом ниже жили ее внуки. Позднее мы предложили, чтобы каждый год выпускники высаживали березки возле школы. Но так как мы живем на Крайнем Севере в районе вечной мерзлоты, то не все саженцы прижились, о чем ребята переживали. К моей большой радости, я вижу, что четвертая от дорожки моя белоствольная красавица, посаженная сорок лет назад, крепнет, хорошеет и радуется своей пышной кроной.

В школе было немало добрых традиций. Одна из них — дружба с экипажами морских судов, которые в течение короткого северного лета приходили за сибирской древесиной, так как наш город — крупный морской и речной порт на Енисее. И к нам моряки частенько заглядывали. Мы с удовольствием слушали их увлекательные рассказы о далеких морях, странах, радовались необычным подаркам (кокосам, кораллам, раковинам), поздравительным телеграммам экипажа «Пионер Эстонии» то из жаркой Африки, то из Антарктиды. При встрече в Игарке мы докладывали морякам о своих успехах, готовили концерт. Я видела себя отважным капитаном, стоящим на мостике огромного корабля в бушующем океане.

Тамара Петровна Мясникова, учитель географии, всегда просила меня подготовить сообщения по разным темам, зная, что я расскажу о том, чего нет в учебнике. Благодаря моему упорству, увлечению чтением, помощи семьи мой кругозор был широк, что помогало одерживать победы в олимпиадах, конкурсах и викторинах. А когда я стала постарше, желание увидеть воочию то, что раньше изучали по карте и учебнику, открыло для меня Кавказ и Закавказье, Азербайджан, Аджарию, Абхазию, Грузию, Осетию, Кавказские Минеральные воды, Крым и Украину, Белоруссию и Дальний Восток, Хакасию и Таймыр, Туву и Байкал, Саяны и Алтай. Страна моя родная не только широка, но и прекрасна!

1971 год. Одним из самых ярких воспоминаний стал отдых в загородном пионерском лагере «Мечта», где маленькие деревянные домики, деревянные тротуары, деревянный бассейн, деревянные площадки с деревянными качелями, деревянные скамеечки среди цветущих ромашек и жарков. Нам завидовали те, кому не достались путевки. Игра «Зарница», песни у костра белой ночью на берегу красавца Енисея, не обращая внимания на озверевших комаров, конкурсы и праздники — светлые моменты из детства. Наше северное лето очень короткое и прохладное, но июль, проведенный с друзьями, сплотил наш класс еще больше, сделал нашу дружбу крепче, а отношения теплее.

1972 год. Волнение, охватившее нас, когда на совете дружины было решено рекомендовать лучших пионеров из восьмых классов для вступления в комсомол ко дню рождения В. И. Ленина, не передать словами! Но в списке я не увидела своей фамилии. Как так? Активистка, член совета дружины, учусь на «4» и «5», депутат пионерских слетов, тимуровка, вожатая, занимаюсь в спортивной секции, учусь в музыкальной школе, посещаю КИД, клуб «В мире прекрасного». Ответ секретаря комсомольской организации: «В комсомол вступают в четырнадцать лет», — меня не убедил. От мысли, что подруги будут носить на груди комсомольский значок, а я — все еще пионерский галстук, было обидно и горько. И все только потому, что мой день рождения в июле.

Набравшись решимости, я отправилась в горком комсомола, где заседало бюро. Наверное, мой решительный и отчаянный вид произвел впечатление, но меня включили в группу, которую готовили к вступлению в комсомол. Рекомендацию давали коммунисты: моя мама Мария Яковлевна Ягодинская, любимые мои учителя Анна Михайловна Камошина и Михаил Яковлевич Тугунов. Их слова: «Мы в тебя верим» — я слышу и сейчас, когда беру в руки сохраненные реликвии — старенький кумачовый галстук, комсомольский билет и значок. Они дают мне силы и веру.

1973 год. Мы много читали, но помимо этого большинство из нас занимались в спортивных

секциях. Я увлекалась прыжками в высоту, а бег мне не нравился. Но однажды пришлось все же побегать за честь школы. А было дело так: проводилась спартакиада в честь какого-то праздника в клубе «Строитель», куда мы классом пришли болеть за нашу школу. В программу была включена эстафета по бегу. И когда пришла очередь выступать нашей команде, выяснилось, что одна из лучших бегуний, наша одноклассница Оля Кондрашова, больна. Учитель физкультуры, М.Я. Тугунов, был так огорчен предстоящим проигрышем, что попросил меня занять ее место в команде, чтоб нас не отстранили от соревнований.

Вспоминая тот день, я написала следующие строки:

*Я летела, как стрела, через весь «Строитель».
Победу школе принесла и стала победитель.
С тех пор я с бегом не дружу, бегать не умею,
А грамоту я берегу и за бег «болею».*

1974 год — год прощания с любимой «девяткой», сдача экзаменов, выбор профессии, выпускной бал, поступление в вузы. Накануне новогоднего вечера мы договорились прийти в маскарадных костюмах. Приняли решение: быть морскими пиратами. Вечер был веселым, шумным, но праздник был испорчен тем, что мальчик, который мне нравился, так и не решился пригласить меня на танец.

Пролетело время, подошли выпускные экзамены. Погода стояла на удивление теплой, солнце светило двадцать четыре часа в сутки.

Мы проводили время своей дружной компанией, понимая, что скоро разъедемся, и учить билеты совсем не хотелось. Накануне литературы я перед сном сказала сама себе: «Пусть мне приснится билет». И снится мне Наташа Ростова — а это был тридцать третий, последний билет, до которого я еще не дошла. Наспех утром повторила женские образы в романе «Война и мир» и побежала на экзамен. Захожу в кабинет, подхожу уверенно к столу, смело беру билет, читаю, и на весь класс вырывается мой радостный вопль: Наташа!

А вот с физикой отношения у меня были отнюдь не дружеские. Случилось так, что у доски готовился Он, для которого физика была ясна и понятна. Я разволновалась от того, что Он станет свидетелем моего будущего позора. И вдруг заметила, что Он, не глядя на меня, на своей половине доски пишет мои формулы и решение задачи. Поймав его взгляд, я благодарно кивнула, и — пока, физика!

Последним был английский. Я не боялась, поскольку он давался мне на удивление легко. В класс вошли шесть мальчишек; толкаясь, каждый торопился сесть за мной, надеясь на подсказку. Мне было интересно, кто там, оглянулась: Он! Мне очень хотелось отблагодарить его за поддержку на физике, но Он справился сам. Прозвище у него было «Ленин» — кстати, не только из-за имени Владимир.

Бал! Бал! Бал! Сколько ожиданий, волнений, но, как и в новогодний вечер, Он не решился подойти. Накануне моего отъезда Он пообещал прийти в аэропорт. Взлетел быстрый «Як», унося меня навстречу новой жизни. Я долго не отрывала глаз от родного города, где остался Он, который так и не пришел проститься. Мы учились в разных городах, не виделись несколько лет, но я знала, что судьба распорядилась так, что его жену тоже зовут Ларисой.

Я мечтала о дальних странах, морях, собиралась в мореходку, но документы вернулись, так как необходимо было сдать экзамены по разным способам плавания. А я, дитя холодного красавца Енисея, умела только «топориком». Вопросы, мучавшие меня: «Куда? Кем?», отпали сами собой, когда учителя уверенно сказали: «Не мудри: только в педагогический, ты прирожденный организатор». Так

как любила и литературу, и географию, и иностранный язык, то опять оказалась на распутье. Мария Филипповна Радаева, которая учила нас английскому, очень походила на мою маму, что и помогло сделать выбор. Для меня до сих пор одним из самых страшных потрясений жизни стало сообщение о ее гибели в авиакатастрофе под Норильском. В память о ней и о моей маме мою дочь, которая родилась через год в 1983 году, зовут Мария.

Весной 2014 года будет сорок лет, как для нас прозвенел последний звонок. Мы с грустью пели: «Школьный звонок — музыка детства, музыка счастья, музыка сердца. Жаль, что понять не могли мы тогда наши беззаботные школьные года, наши счастливые школьные года». Разъехались, разлетелись во всей стране, но благодаря «Одноклассникам» мы продолжаем общаться, делиться новостями, радоваться и горевать, чувствуя, что мы все те же дружные девчонки и мальчишки из школы № 9 города Игарки. Встречаясь, замечаем, что добавляется седины, появляются болезни, но в глазах всё тот же блеск, юмор, доброта.

Как я люблю наш дружный, неугомонный, веселый, неповторимый класс! Спасибо нашим учителям и родителям за то, что научили нас дружить, любить, помогать, доверять, быть людьми. Теперь этому я учу своих учеников. За эти годы у меня было четыре выпуска, больше сотни выпускников, у которых я была классным руководителем. Они по-прежнему считают меня «второй мамой», что для меня самая дорогая награда.

Наталья Соколовская. Война и мир на звезде КЭЦ

Стоять на крыле самолета было страшно. Казалось, или я соскользну, или крыло истребителя обломится под моей тяжестью. Боком, хватаясь за край кабины, я шагнула внутрь, уместилась в кресле пилота, пристегнулась, и стеклянная крышка-фонарь опустилась надо мной. Дрожащими пальцами я нажала несколько кнопок на приборной доске, немного подождала, а потом закрыла глаза и потянула на себя руль высоты... И тут в стекло кабины постучали. Крышка отъехала назад, и физрук сообщил, что мое время истекло...

Так первый и последний раз я оказалась в самолете-истребителе «МИГ-17», достигающем скорости звука. Похожие как раз выполняли свой интернациональный долг во Вьетнаме (о чем все узнали значительно позже), а этот, устаревшей модели, стоял на постаменте перед нашей средней школой.

Посидеть в самолете нам позволили в награду за победу в каком-то общешкольном соревновании. Кажется, это было в пятом классе.

Школа наша тогда была новым типовым четырехэтажным кирпичным зданием серого цвета. Основной корпус и два «крыла»: в одном актовыв зал (он же столовая), в другом — спортивный.

Располагалась она внутри «спального» района, ближе к концу бесконечного Пискаревского проспекта (что особенно чувствовалось, если ехать в трамвае — на то время единственном виде транспорта, связывавшим этот район с «городом»), недалеко от Пискаревского кладбища, где были захоронены сотни тысяч блокадников. Школа наша открылась в 1964-м, и я поступила в нее во второй класс.

Мы переехали с «родовой», обжитой с двадцатых годов бабками, а потом и родителями Петроградской стороны на окраину. В первую в нашей жизни отдельную квартиру. Ушли в прошлое коммуналки, дворы со скрипучими «барабанами» и дровяными сараями, рыбалки с отцом на набережной, возле крейсера «Аврора», и первый класс, который запомнился мне тем, что моей

соседкой по парте была милая задумчивая девочка Маша, дочь писателя Леонида Пантелеева...

Самолет «МИГ-17» перед моей второй и окончательной школой появился не столько благодаря тому, что над нами шефствовал ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), сколько упорному характеру директора Анны Ивановны, фронтовички, которая когда-то мечтала стать летчицей. И вот теперь у нее был почти личный реактивный самолет.

А. И. боялись и уважали и учителя, и ученики. Если она и не принадлежала в войну к «командному составу», то теперь, в мирной жизни, полностью реализовалась как командир. Перед ней ходили по струнке и подполковник М. (учитель истории и по совместительству военрук), и физрук (отставник рангом пониже), и трудовик. Не говоря уже о бывшем танцовщике — учителе ритмики — и почти всем женском преподавательском составе. За одним только исключением. Но именно это исключение сыграло важнейшую роль в моей жизни.

Та первая школа, на Петроградской, была старая, со своим прошлым. Она была элитной, с хорошо поставленным преподаванием иностранного языка. Иначе не отдал бы туда писатель Пантелеев свою обожаемую дочь, героиню книги «Наша Маша», — теперь ее трагической судьбе посвящена страничка ВКонтакте. Думаю, все у меня после той школы сложилось бы иначе: шесть уроков немецкого/английского в неделю, начиная со второго класса, — это вам не два ленивых у рока в неделю, начиная с пятого. Но тогда в моей жизни, наверное, не случилась бы встреча с другим, почти экзотическим языком, — грузинским. И, что совершенно точно, — я не летала бы до сих пор во сне.

История моей новой школы только начиналась, и начиналась, надо признать, с большим энтузиазмом. Нашим гимном был знаменитый «Марш авиаторов». На общих линейках, проходивших в теплое время на школьном стадионе, а в холодное — в актовом зале, из репродуктора неслось:

*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.
Все выше, и выше, и выше...*

И наши голоса летели вверх и растворялись в жизнеутверждающем и одновременно жертвенном восторге.

Однако «небесные притязания» школы не ограничивались только нижними слоями атмосферы. Единственная в городе, она носила имя К. Э. Циолковского. В те годы научная фантастика была моим любимым литературным жанром, и наша школа представлялась мне неким аналогом беляевской «Звезды КЭЦ».

В нашем школьном музее висели фотографии ученого, чертежи космических аппаратов и напечатанная на машинке удобно дозированная биография, в которой, разумеется, ни слова не было о том, что и этот человек, вознесший СССР в космические выси, не миновал Лубянки. Впрочем, об этом факте вряд ли знал и кто-то из учителей. Как не знали они, скорее всего, и об эзотерических штудиях Циолковского, о его идее лучистого человечества. Хотя и учителя, и сам уклад школьной жизни, безусловно, подвигали детский организм учеников к выработке какого-то нового гормона, некоего нового вида энергии, не вполне даже человеческой. Эту энергию мы ощущали на себе и в себе не только в школе, но и дома благодаря участию в жизни взрослых с почти обязательными походами на демонстрации по красным датам календаря и вечерними застольями, которые превращали государственные праздники в семейные.

Однажды в нашей школе произошло из ряда вон выходящее событие (так я расценивала его тогда, так думаю и теперь): в стену актового зала была замурована капсула с заветами будущим поколениям. Само слово «капсула» звучало магически. Было начало космической эры. И эта наша капсула ассоциировалась с капсулами, которые космонавты в научно-фантастических романах оставляли на неведомых планетах. Послание, которое спустя много лет прочтут неизвестные школьники, должно было соединить настоящее и будущее. Это был наш ковчег завета.

После первого же косметического ремонта место с замурованным посланием стало едва заметно, и я боялась, как бы о капсуле не забыли.

В пятом классе в программе появился урок астрономии, которого я ждала как манны небесной. Но скоро выяснилось, что это мое увлечение было платоническим. Оно держалось на чистой романтике: сидении летними ночами на дачной приставной лестнице в созерцании звездного неба, запойном чтении фантастики и первых стихотворных опусах. При соприкосновении с реальностью — формулами и математическими расчетами — желание «учиться на астронома» рассыпалось в прах, а точнее — в космическую пыль, которую я до сих пор ношу на подошвах ботинок.

На стенах нашей школы висели портреты космонавтов. Первая смерть близкого человека пришлось на мои шесть лет — это был мой дедушка. Но первым осознанным горем была гибель космонавта Владимира Комарова. Мы учились тогда в четвертом классе. Его вырезанную из газеты фотографию в траурной рамке я носила за обложкой дневника. Гибель Волкова, Добровольского и Пацаева также была днем школьного траура и наших слез.

По неизгладимости произведенного впечатления равным этим событиям оказался разве что советско-китайский военный конфликт на острове Ламанском (шестой класс). Там в столкновении погибли наши пограничники. Событию на Ламанском был посвящен целый урок. Страх, который подспудно вил гнездо в каждом из нас уже хотя бы потому, что все мы были генетически предрасположены к страху, этот страх стал абсолютной частью нашей жизни. Очень быстро мы адаптировались к нему и, в сущности, не замечали его...

В школьном дворе нас учили копать щели, а в подвале школы был устроен тир. Нас водили туда стрелять по мишени «из упора лежа». Может, кроме «упора лежа», был какой-то еще «упор», но именно положение «лежа» меня беспокоило. Мимо наших ног, раздвинутых на ширину плеч, чинно вышагивал военрук (он же учитель истории), человек почтенного возраста (что не мешало нашему смущенью). Но этот дискомфорт никак не влиял на качество лично моей стрельбы. Военрук меня хвалил, и я поняла, как применить себя в случае войны, к которой мы исподволь не переставали готовиться: я решила, что смогу стать «ворошиловским стрелком». Я не знала тогда, что две мировые войны уже подтвердили: самые лучшие снайперы — женщины. Полагаю, что и радистка из меня тоже получилась бы. Мне нравился маленький ладный аппарат Морзе, рычажок, напоминавший ручку кофемолки, и, главное, специфический глуховатый звук, который издавал ключ при соприкосновении с металлической пластинкой. Похожий звук издают лопающиеся при легком нажатии пузырьки упаковочной пленки.

Надо сказать, и звуковой фон в нашем районе был приближен к военному: неподалеку, на Ржевке-Пороховых, располагался артиллерийский полигон, и ежедневно с той или иной частотой до нас доносилось уханье тяжелых орудий.

А однажды повезли в ЦПКиО прыгать с парашютом.

Впечатление от первого прыжка — несколько секунд свободного полета, пока рывком не

натянулись стропы, — было таким небывалым, что, не успев толком разобраться в собственных ощущениях, я снова полезла на вышку. Уже наверху я задним числом почувствовала страх и упиралась руками и ногами до тех пор, пока меня не сбросили вниз самым бесцеремонным образом.

Уроки домоводства (кройка и шитье, приготовление пищи) были для меня мучительны. Руки, которые прекрасно слушались меня, когда надо было нажимать курок, собирать-разбирать ружье, надевать-снимать противогаз, накладывать марлевые повязки, жгуты и шины на уроке гражданской обороны совершенно переставали повиноваться, когда в них попадали иголка с ниткой, ножницы или поварешка. Знаю точно: для войны я была приспособлена гораздо лучше, чем для мира. Может, результат селекции? Военные навыки я сохранила до сих пор.

В коридоре первого этажа, там, где нас выстраивали на классные линейки, стены были увешаны плакатами: бомбоубежища в разрезе, люди и животные после атомной бомбардировки, лучевые поражения кожи, мягких тканей, слизистой оболочки. Однажды я попросила родителей завести собаку, о которой мечтала с тех пор, как прочла повесть «Белый клык». Никакая собака, а тем более вожаемая мною похожая на волка немецкая овчарка, в планы родителей не входила. Тогда я нашла убийственный аргумент — единственное объяснение, почему нужно завести собаку: «Ведь все равно скоро война, и все мы умрем...»

Пока я решала, как лучше прожить оставшиеся до американской ядерной бомбардировки месяцы (ну, год-два максимум), Андрюшка А., наш одноклассник, погиб, подорвавшись на гранате не то немецкого, не то советского производства. С компанией мальчишек он повадился собирать оружие в местах, где раньше проходила линия фронта. В первый раз ему оторвало фаланги пальцев и повредило глаз. Андрюшку вылечили, он остался на второй год, но тайные вылазки на Синявинские болота продолжил. В своем втором шестом классе он пустил насмарку дубль, подаренный ему судьбой, когда окончательно подорвался на противотанковой мине, где Андрюшкино детское тело перемешалось с не захороненными со времен войны останками солдат одной из самых кровопролитных битв. Андрюшку собрали и похоронили, в отличие от тысяч убитых, чьи косточки до сих пор поднимают и с почестями предают земле немногие энтузиасты из поисковых отрядов.

Следует думать, война не просто занимала существенное место в моей жизни, а была органичной частью самоощущения. Косвенно подтверждает это и недавнее воспоминание (напрочь у меня отсутствующее) моей одноклассницы Люды. В третьем-четвертом классах мы ходили гулять «через дорогу», в заброшенное садоводство, от которого остался яблоневый сад (несколько покореженных старых стволов, среди которых было удобно прятаться, устраивая шалаш). Так вот, в этом шалаше я рассказывала подружкам историю о том, что мои родители — не мои, а меня нашли в блокаду и воспитали бабушки. Рассказ сопровождался душераздирающими подробностями, девочки плакали, и только дотошная отличница Люда поинтересовалась потом у своей матери: «Тогда сколько же на самом деле Наташке лет?»

Однако кроме войны был в моей школе и мир. Он заключался в любви, дружбе и уроках литературы.

Первая любовь случилась со мной во втором классе на уроке ритмики. Откуда возникло такое название, мне неведомо. Может быть, считалось, что «уроки танцев» — звучит слишком манерно, несерьезно для образовательного процесса. В слове «ритмика» было больше от строевой подготовки, нежели от плавных движений, которые мы и пытались изо всех сил воспроизвести в специальном классе, куда входили, разбившись на мальчиков и девочек. Тут-то надо было проявить максимум внимания и сноровки, чтобы оказаться в паре с голубоглазым хорошистом Вовкой Р., который оказался первым в очереди Вовок (Вовка Д. — хулиган и двоечник; Вовка М. — веснушчатый

отличник; Вовка К. — опять голубоглазый хорошист), в которых я последовательно влюблялась на протяжении всей школы.

Началу моей первой и главной школьной дружбы предшествовал почти идеологический конфликт. Это случилось в третьем классе, во время перемены, когда я стояла в почетном карауле возле бюста Ленина, установленного именно в нашей рекреации второго этажа. Я стояла по стойке смирно с поднятой в пионерском салюте рукой. Провести десять минут средней перемены в такой позе было непросто. Этот род советского послушания предполагал терпенье, которое у меня кончилось, когда моя одноклассница Катька стала приплясывать перед моим носом и корчить рожи. Покинуть пост, чтобы проучить Катьку, я не могла: совсем недавно мы разбирали на уроке рассказ Л. Пантелеева «Честное слово», и я понимала, что должна стоять до последнего. Выждав момент, когда кривляющаяся Катька оказалась максимально близко от меня, я плюнула в нее, не меняя позы и выражения лица.

Вышел скандал, и вечером того же дня к моим родителям пришла Катькина мама вместе с Катькой — выяснять отношения. Не помню, как проходило выяснение, но помню, что в конце концов мы протянули друг другу руки.

В седьмом классе наша с Катькой дружба была окончательно скреплена любовью к Динэре. Назову ее так, как она сама назвала себя в своей юношеской автобиографической повести, которая попала в мои руки несколько десятилетий спустя.

Имя Динэра было аббревиатурой от «Дитя Новой Эры». Она два года преподавала нам литературу. Может, наше счастье началось бы и раньше, с 6-го класса. Но, когда Динэра только появилась в школе, ее поставили библиотекарем. Место учителя было, но А. И., директорша, устроила ей что-то вроде испытательного срока. И не потому, что Динэра была из семьи репрессированного (имелись, естественно, в школе и еще учителя с этим анамнезом), а потому, что у Динэры была репутация другой. Она была слишком независимая, слишком знающая. Речь, конечно, шла не о знании своего предмета (волшебном), а о каком-то другом знании, которое она не выдавала, но которое стояло за ней, и которое мы чуяли, как звери чуют в пустыне воду. Настороженность директора по отношению к Динэре не смягчало даже то обстоятельство, что Динэра тоже была фронтовичкой. Может, это служило предметом ревности — ведь наша Динэра участвовала в Сталинградской битве.

Понятно, что сведения об устройстве окружающего нас человеческого мира, об отношениях между людьми мы черпали в большей степени из литературы, нежели из разговоров со старшими, будь то родители или учителя. Учителям разговаривать с нами было некогда: они нас учили. С родителями у большинства из нас особой задушевности тоже не получалось. Может быть, потому что и они своими родителями не были приучены разговаривать. Это объяснимо: слишком многое поколениям советских людей приходилось друг от друга скрывать. В массе своей это были молчащие поколения. Именно так недавно сказали о себе несколько моих знакомых стариков. Этот последовательный «заговор молчания» стал причиной «провалов в памяти» и следующих поколений. Результаты его оказались катастрофическими: потомки не столько не хотели, сколько уже не умели понять и принять в сердце прошлое своих предков.

Наша Динэра с нами разговаривала. И сейчас я должна дать слово ей для рассказа о том, что стояло за ее беседами с нами.

Ей было шестнадцать, когда она пыталась покончить с собой: ее, дочь «врага народа», не принимали в комсомол. Вынести это девочке, назвавшей себя Дитем Новой Эры, было нестерпимо. Вот строки из ее воспоминаний.

«Наш дом находился на берегу Днепра, я видела, как женщины полощут белье в проруби. Понимала, как непросто и мучительно будет совершить это, но я решилась. Продумала все до мелочей. Даже одеяло на кровати положила так, чтобы не сразу заметили, что меня нет. И ночью в одной рубашке, босиком по снегу пошла через двор к Днепру. Холодно, больно ногам. Будет еще больше, надо терпеть. Я терпеливая. Где прорубь? Не могу найти. Вот она, но она замерзла. Я стояла в оцепенении... Все равно я простужусь и умру, — утешала я себя. Но я даже не заболела».

Через несколько лет началась война. Ее с младшей сестрой отправили в эвакуацию, в Саратов. Она страстно мечтала о фронте и при первой же возможности свою мечту осуществила. Был объявлен набор добровольцев для службы топографами и связистами. Младшая сестра убедила старшую, что в армию должна идти именно она, Динэра, потому что, «если нас обеих убьют, у мамы никого не останется». И еще она говорила: «Ты уже на третьем курсе и скоро сможешь обеспечивать семью». Сестра дала себя уговорить. Так Динэра оказалась под Сталинградом.

«Мы оказались под Сталинградом в январе сорок третьего года, когда бои шли еще у тракторного завода... Однажды при мне командиру полка доложили, что наши отбили тракторный завод, а это означало, что Сталинград наш! Об этом еще не знали ни Москва, не остальной мир. Я почувствовала: вот он — ветер истории... Пока солдаты очищали город от оружия и неразорвавшихся мин, нас направили собирать трофеи. ...Разрушенные здания, запах гари и повсюду убитые. ...Я среди них хожу, собираю оружие, провода, почтовые принадлежности... Вижу совсем молодого немецкого солдата, упавшего навзничь. Белокурые волосы, синие-синие глаза смотрят в небо... И тут я почувствовала острую жалость — передо мной был не фашист, а... человек, погубленный войной...»

...Я отчетливо помню искривленную, чуть подвернутую внутрь кисть ее правой руки. Помню, как этой рукой она выводила нам оценки. Когда она ушла от нас после восьмого класса и на несколько лет уехала из города, мы начали переписываться. Я храню страницы из школьных тетрадей, исписанные ее дрожащим, но твердым почерком.

...Когда я думаю о Динэре, я думаю о том, что часто, находясь внутри истории, мы даже не подозреваем об этом.

Ее отъезд стал для нас трагедией. Вся вымечтанная программа по литературе, прочитанные загодя Тургенев и Толстой — все было насмарку, потому что об этом теперь не с кем было разговаривать.

Завуч нас успокаивала, говорила, что придет другая учительница, и мы привыкнем... Но к той, что пришла, мы никогда не привыкли. Зато, сами того не зная, получили первый опыт внутренней эмиграции.

Ее звали Франциска. Имена любимых учителей мы никогда не сокращали. Эта же сразу стала для нас «Франей». Она была похожа на девочку, каких рисовали в советских детских книжках, только вдруг состарившуюся. У нее было круглое белое лицо и едва прикрывающая уши, всегда одна и та же аккуратная стрижка с короткой челкой (алый бант на макушке дорисовывало наше воображение). В общем, мы сразу невзлюбили друг друга.

«Мы» — это компания из семи человек, прозавшая себя «конторой»: три девочки и четыре мальчика. С остальным классом, и с двумя параллельными, да и со всеми последующими поколениями учеников нашей школы у Франи тоже не заладилось, но именно нашу условно богемную и вольнолюбивую «контору» она принижала последовательно и педантично. На родительских собраниях она говорила о нас вежливые гадости нашим родителям. В наших характеристиках писала,

что «лучше нам было после восьмого класса идти в ПТУ». Но главное — она знала, что более всего нас бесит, когда наши эмоции разбиваются, как о кирпичную стену, о ее унижительное безразличие. И пользовалась этим. Склонив голову немного вбок, она обводила класс маленькими карими глазами, а потом, нещадно грассируя, тихо говорила: «Вы думаете, Толстой — это пегвый бал Наташи Гостовой? Нет. — Она делала паузу, а потом трижды коротко разрубала воздух пухлой рукой: — Шенггабен. Аустеглиц. Богодино». И победоносно улыбалась.

Мы знали, что Франя одинока, что живет вдвоем со старой матерью, и что она, «кажется, старая дева». В десятом классе ей пришлось объяснять нам, почему Галя Ч. перестала посещать занятия и «вообще уходит из школы». Сначала Франя попросила мальчиков «покинуть класс», а потом сообщила, что Галя Ч. беременна. «Это от слова “бремя”», — объяснила Франя, извлекая «приличный» корень из «неприличного» в целом слова. И добавила: «Ну, вы большие, вы понимаете, что это бывает». Ее белое мягкое лицо покрылось красными пятнами, а мы злорадствовали, лицемерно опуская глаза. Но, думаю, это мучительное объяснение с нашим десятым «В», где она как на грех была классным руководителем, ни в какое сравнение не шло с разносом, который учинила ей наша директриса за то, что «недоглядела».

...В мой последний школьный год произошло важное в исторической ретроспективе событие, которое оценить должным образом в то время мы, разумеется, не могли, и только постфактум я понимаю, что таким странным образом государство подмигнуло нам (а моя собственная жизнь обзавелась еще одной рифмой, на сей раз опоясывающей).

Итак, в 1973 году нас по разнарядке (были задействованы все старшие классы района) отправили на строительство метро. Это была «стройка века» местного, ленинградского значения, а именно — станция «Площадь Мужества», находившаяся на одной прямой с Пискаревским мемориальным кладбищем и тематически (названием и внутренним декором) посвященная блокадному подвигу ленинградцев. Правда, в тот весенний день, когда нас сняли с занятий и привезли к огороженному участку стройки на проспекте Непокоренных, ни о каком декоре речи еще не было, хотя сроки поджимали (девятая пятилетка, на носу юбилейный, XXV съезд партии, а наш местный эффективный менеджер Григорий Романов метил чуть ли не в генсеки).

В открытой деревянной клетке подъемника нас группами по очереди спускали на глубину семидесяти метров (двадцатипятиэтажный дом). Я запомнила плывущие мимо меня вверх темно-коричневые, влажные глинистые стены колодца-шахты, скрипы, издаваемые клетью, и томительную бесконечность медленного движения вниз (пародия на ровно в противоположную сторону направленный космический лифт Циолковского).

Тоннель, в котором мы оказались, был полностью прорыт. Его свод полукругом смыкался над нами, и мне мерещились фантомы будущих электричек, бесшумно и страшно вылетающих из-за дальнего поворота. Всем было не по себе. Балагуря и нарочито громко смеясь, мы в течение нескольких часов собирали в тележки и отвозили к подъемнику строительный мусор.

...Год спустя именно в этом месте смесь песка и воды прорвалась со скоростью двести кубометров в минуту и затопила тоннель: красную ветку метро тянули прямо через плывун, огибать который было слишком дорого.

Моя школа закончилась для меня именно этим событием, а не рутинной сдачей выпускных экзаменов.

Спустя десять лет Франциска вышла на пенсию. Еще через несколько лет не стало ее матери,

единственного человека, к которому она была сильно привязана. Когда соседи по коммуналке зашли в их комнату, они обнаружили, что Франциска лежит в кровати, обнимая мертвую мать. Наверное, так они спали в войну, на оккупированной территории, до того как были чудом спасены. Вскоре после смерти матери Франциска выбросилась из окна.

Моя Динэра вернулась в Ленинград и много лет была моей главной душевной поддержкой. Дитя Новой Эры, она умерла в начале нового тысячелетия.

Самолет, который стоял на постаменте под окнами нашего класса, проржавел и стал рассыпаться. После перестройки его, в целях безопасности, разобрали и утилизировали.

Недавно я позвонила в школу, чтобы узнать о судьбе капсулы с заветами. Оказалось, про капсулу никто ничего никогда не слышал. «Как же такое возможно? — не поверила я. — Неужели вам не говорили?» Оказывается, не говорили. И предыдущему директору тоже ничего известно не было. Мое удивление, видимо, насторожило руководство школы. Мне пообещали, что если я точно укажу, куда замуровали капсулу, то ее попробуют найти. Я ответила, что попытаюсь вспомнить и перезвоню. Но вряд ли стану это делать.

Я и сама уже не смогу найти то место в небе, где находится моя звезда КЭЦ.

Мария Уварова. Нельзя! Ни по-русски, ни по-английски

До школы было бежать семь минут по проходным дворам или двенадцать — вниз-вверх по переулку вокруг Морозовского садика. Нырешь под арку церкви Троицы в Хохлах, а оттуда уцелевшими глазами печально смотрят святые лики — закопченные, облупленные, забытые. А из купола церкви растут небольшие деревья и иногда вываливаются кирпичи.

Моей школе досталось здание старой мужской гимназии в Большом Вузовском переулке — с широкими мраморными лестницами, ступени которых вытерты посередине еще дореволюционными ногами, двухэтажным актовым залом с балюстрадой и зеркалами до потолка в коридорах. Может, из-за всей этой красоты школу и объявили вскоре после моего поступления специализированной, с преподаванием ряда предметов на английском языке. А таких в шестидесятые годы было раз и обчелся.

Несмотря на гордое звание, «ряда», конечно, никакого не было: простых-то учителей английского найти была проблема, уж не говоря о преподавании на нем географии или истории. Но английский — был! И сразу стал отдушиной. Во-первых, в отличие от остальных школьных предметов — занудных или непонятных — для его освоения не надо было прикладывать никаких усилий: он сам вливался в голову, удобно в ней укладывался и в нужный момент легко соскакивал с языка. Наверно, сказывалось, что в раннем детстве английские слова были нашим с мамой секретным кодом, игрой, не понятной в то время для окружающих. А во-вторых, он выделялся на фоне общей затхлости и скуки. Например, начальная военная подготовка — с противогазами и разборкой автомата Калашникова за четыре минуты. Или история, на которой нам диктовали доказательства, что любой строй неизбежно ведет к победе коммунизма. Какое мне было дело до коммунизма? А вот английский что-то обещал, открывал узкую щель в серой жизни, сквозь которую просачивались волшебные названия, мелькали неведомые пейзажи, слышались странные песни и временами как будто даже доносился стук колес уходящего поезда. В общем, одно сплошное обещание...

В восьмом классе наконец в расписании появился первый предмет на языке — английская

литература. Вместе с ним явился учитель — Винсент Иванович. До него в школе имелось два учителя-мужчины: пожилой душевный физрук и пронафталиненный энвэпэшник в военном кителе. Костяк педсостава составляли преклонных лет женщины разной степени усталости и близости к нервному срыву.

Винсент Иванович был существом иной породы. В сущности, его именем — Винсент — уже было все сказано. Можно было просто повторять это имя с закрытыми глазами. Но и с открытыми глазами было чему удивиться. Его облик и сейчас — через сорок лет! — в памяти всплывает мгновенно: волнистые волосы, мечтательные пушистые глаза и тихий завораживающий голос.

Такой ошеломляющей красоты я в своей жизни еще не встречала. Ну, может быть, только юный Маугли в книге Киплинга, но тот был нарисованный, а Винсент Иванович — высокий и серьезный — стоял на расстоянии вытянутой руки.

На первом уроке Винсент Иванович открыл книгу и стал читать вслух трагедию «Гамлет» Шекспира в оригинале. Читал долго, вполголоса, погружившись в странный ритм непонятных слов и не замечая происходящего вокруг мелкого хулиганства. Класс, быстро разобравшись, что спрашивать сегодня не будут, довольно гудел и кидался предметами.

Я сидела на первой парте с горящими ушами и хотела плакать. Изнутри волнами поднималась любовь — то ли к Гамлету с Шекспиром, то ли к одинокому и отважному Винсенту Ивановичу. В конце урока, закрыв книгу, он тихо произнес: «Кто хочет, может дома выучить наизусть отрывок из “Гамлета”».

Я поняла, что нужно делать — любовь нашла выход. Я выучу — и не какой-то маленький отрывок, а весь главный монолог принца Датского от первого до последнего слова. Для начала надо было постараться расшифровать его: понятными выглядели только предлоги и артикли. Толстый обгрызенный любимой собакой словарь Гальперина добросовестно предлагал несколько значений каждого слова, но все они были какие-то неподходящие, топорные... Ну и не надо! Я учила монолог как песню, небесную музыку, и смысл постепенно прояснялся сам, без перевода отдельных слов — страх, надежда, одиночество, отчаяние...

На следующем уроке Винсента Ивановича я одна подняла руку. Стоя у доски и уставившись в одну точку поверх голов одноклассников, я пропела свою любовь к учителю, Гамлету, нимфе Офелии и их нежно-прекрасному языку и потом — совершенно опустошенная — села на место. «Ты чего выла, как психованная?» — спросила соседка по парте. Винсент Иванович задумчиво улыбался. Он продержался в нашей школе одну четверть.

Ирина Озеркова. Нас готовили стать элитой Москвы...

Вторая моя школа неожиданно для меня оказалась, наверное, самой центральной школой Москвы. Возможно, кто-то поступил туда «по блату», но я сдала два экзамена, почему-то именовавшихся собеседованиями, — по математике и физике. А над единственной девочкой в классе, про которую было известно, что она занимается с репетитором, немного посмеивались.

Кстати, немосквичей оказалось двое — я и мальчик из Химок. Никого не интересовало, сколько часов в день занимает наша дорога до школы, пока мы не опаздывали на занятия и на введенную примерно с середины девятой класса обязательную зарядку. Ровно в 8.15 дверь закрывалась на засов, и войти можно было, только сдав дневник дежурному учителю. Но технички меня жалели —

пропускали через заднюю, столовскую дверь, надо было только дожидаться, пока учитель уйдет. А не опаздывать совсем я не могла — электрички ходили плохо, особенно зимой 10-го класса. В тот год среднее опоздание составляло 30—40 минут, а пару раз я вообще смогла приехать только к третьему-четвертому уроку. Но я любила школу, и пропускать занятия вовсе не хотелось. Впрочем, школа работала не всегда — в дни «кремлевских похорон» милиция перекрывала все подходы к ней.

Но школа действительно была уникальной не только по местоположению. Официально она именовалась очень сложно — средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 179, про себя мы ее именовали «химико-литературно-физкультурная» — по предметам, которые нам давались наиболее тяжело, но в действительности наш класс, как и параллельный, был математическим. Вообще, так их школ на всю Москву было только три — наша, № 57 и № 444. Став уже взрослой, учителем, я искренне не понимаю, как можно было делать все то, что делалось там, — современного учителя и директора в лучшем случае за это уволили бы. Впрочем, директора и уволили спустя две недели после первого сентября, когда я еще только поступила в девятый класс.

Все выпускники, которых учил математике Сергей Григорьевич Роман, считают, что им очень повезло в жизни. И это не мое личное мнение. Я не знаю, что у меня на самом деле стояло в журнале, но, объявляя мои результаты очередной контрольной, он почти весь девятый класс говорил: «Честная трудовая тройка». И это не вызывало у меня такой реакции, как в той первой школе: «Что я сделала не так?» Потому что было ясно что. И он всегда объяснял, чем тройка с минусом отличается от двойки с плюсом и почему в последнем случае тройку с двумя минусами он поставить никак не может. Вообще объяснял он здорово. Так, когда весь класс мучился с пониманием определения предела, он привлек на помощь «чужого дядю с мешком эпсилон», для которых нужно было рассчитать дельта-окрестность. Итоговые уроки по матанализу он всегда проводил в форме коллоквиума, на который приглашал ассистентами своих же выпускников. И никогда не спорил — какие оценки они поставили, такие поставили. И если троечнице вдруг поставили 5, значит, доказанная без подготовки теорема перевешивает недорешенные дома задачи. Зато на выпускном экзамене письменная работа оказалась практически для всех очень легкой. Мы, несколько девочек, сидели и проверяли ее вместе с ним, снижая оценки за неправильно написанное слово «абсцисса» (математики далеко не все ладили с русским языком, один мальчик вообще регулярно получал за сочинения 5/2). И даже с учетом грамотности экзаменационных пятерок у нас оказалось больше двадцати на класс в тридцать четыре выпускника. А в аттестат в основном пошли четверки.

Но никого это не пугало. Ведь еще на первом родительском собрании нам сказали: «Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил золотую медаль, то вы пришли не по адресу. Но если вы хотите, чтобы он поступил на физмат в одном из лучших вузов Москвы, то эта школа для вас». Действительно, медалистов в нашей школе никогда не было, и это никого не пугало и не останавливало от поступления. Зато мы, хорошисты, поступив в вузы (а из двух выпускных классов по тридцать с лишним человек в классе только в МГУ поступило четырнадцать), учились лучше многих золотых медалистов.

А в школе, в то время как мои сверстницы долбали в УПК машинопись, а сверстники работали в мастерской, мы слушали лекции по многим разделам математики, которые читали нам разные люди. Один из разделов — векторная алгебра — нам так понравился, что обычные школьные задачки по стереометрии мы решали именно таким способом, а не предписанным школьными учебниками. Сергей Григорьевич не возражал. Он вообще возражал только тогда, когда кто-то из нас произносил слово «очевидно»: «Очевидно — это то, что можно доказать менее чем в полчаса». Соответственно, приходилось доказывать. Зато очень кипятилась Елена Ивановна, учитель параллельного класса, когда, придя на замену, обнаружила, что весь класс путается в длинных расчетах треугольников и,

более того, искренне не понимает, зачем их вообще нужно рассчитывать, если можно решить задачу в две строчки, прибегнув к вузовскому методу решения.

Там же я впервые узнала и о программировании. Просто не было — мы писали программы на бланках и сдавали их учителю, а раз в неделю нам приносили листинги с результатами. Наши «шефы» работали в основном в институте прикладной математики, и как им удалось организовать практику школьников на режимном предприятии, я не понимаю.

А половина нашего класса на летнюю практику попала вообще в МГУ, и я впервые увидела компьютер — рабочую комнату с мониторами, а впоследствии и сам «шкаф» со стоящим рядом АППУ. И этот компьютер был «мини», чему бы не поверили современные школьники. И за неделю я поняла, что я, наверное, программист.

Физики у нас вообще несколько месяцев не было — последствия увольнения директора, и догоняли мы как-то странно — сначала сдавая несколько параграфов за раз, а потом две-три недели выполняя только лабораторные работы. И только в десятом классе у нас появился постоянный учитель — бывший (а может, и не бывший) инженер, проектировавший космические станции «Венера». При этом даже я, понимавшая физику существенно хуже математики, ухитрилась на выпускных и вступительных экзаменах получить оценку 5.

По химии нас гоняли хорошо, и когда говорят, что групповая работа — педагогическое изобретение последних лет, я не верю: мы все лабораторные делали группами по четыре человека, при этом каждый раз старшим группы был кто-то другой.

И метод проектов — мы их делали по программированию, а потом весной 10-го класса защищали.

На нас не экономили — для нас было целых три учителя иностранного языка. Большинство изучало английский язык, восемь человек, включая меня, — немецкий (причем гоняли нас так, что именно по немецкому мне пришлось какое-то время заниматься с репетитором), а одна девочка учила французский. Современных детей в такой ситуации всех просто заставили бы учить английский.

Где нас действительно гоняли до изнеможения — это на физкультуре. У нас была коробка за школой, но бегали мы не там, а в ближайшем сквере. Представьте себе картину: на Пушкинскую улицу (кто не знает — одна из самых центральных) из проходного подъезда вываливается толпа подростков в спортивной форме. Прохожие, кажется, пугались. На лыжи мы ездили вообще в Филевский парк, через весь город, причем не как современные дети — с флажками, учителем и бумагой с печатью, подтверждающей выход, — а самостоятельно на метро. И попробуй только опоздать! В дни, когда лыжи, с тоской глядишь на градусник: —22 или —24? Но не —25! И шубу на себя, а куртку со свитером в сумку — и вперед. В такие дни разрешалось приходить без школьной формы, хотя в остальное время это было просто невозможно. Доставалось за мелочи — рубашку не того цвета, водолазку вместо рубашки...

А вот классную руководительницу я не любила, и это было взаимно. Поколебать ее мнение обо мне не могли ни мое неожиданное увлечение философией (а она преподавала историю и обществоведение), ни призовое место на районном конкурсе рефератов. Мой папа называл ее «капралом в юбке», она и была такой. Выпустив нас, она ушла директором в другую школу, и наш комсорг Володя с горечью рассказывал, как он позвонил ей, а она не захотела с ним даже разговаривать.

А еще мы сидели с продленкой, когда у учителей был педсовет. Малыши нас очень любили, радовались, когда мы заходили на их этаж. Я помню, как на последнем звонке один из них очень хотел со мной сфотографироваться — где-то дома даже есть фотография.

Но мы не только много учились. Помню, как на переменах ребята доставали гитару и пели песни, очень многие из которых я слышала впервые. Нашим неофициальным гимном, судя по частоте исполнения, была «Песня о собачке Тябе», хотя на всех мероприятиях пелось несколько другое — например «Сороковые, роковые». Мы могли после уроков сорваться в музей, поскольку туда привезли из заграницы новую выставку, и дружно стоять на морозе многочасовую очередь. Вспоминается школьный вечер, на котором играли «Золчие» — очень популярная в то время группа. На самом деле каких-то массовых воспитательных мероприятий у нас было немного, у современных школьников их на порядок больше. Зато на уроки тратилось очень много времени, и я, привыкшая делать все максимум за полчаса, столкнулась с серьезной проблемой — порой перед коллоквиумом приходилось сидеть чуть ли не до двух часов ночи. Но мне и в голову не приходило просить: «Верните меня обратно в старую школу».

Вообще-то школой по месту жительства нас пугали, если мы что-то делали не так: «Твоя микрорайонная школа тебя ждет». Но ушли очень немногие. А те, кто остались, считают ее самой лучшей школой. Моя одноклассница на вечере встречи выпускников (неофициальном — сейчас в нашу школу выпускников и на порог не пускают, даже сфотографироваться в родных стенах) говорила: «Я уже не помню математику, которую мы изучали. Но школа научила меня думать».

Кстати, мы были последним математическим выпуском этой школы.

Петр Кобинцев. Первый раз...

Слоган «Первый раз в первый класс» мы все помним с детства.

У меня он случился в 1979 году. Было мне тогда семь с половиной лет, потому что родился я в январе.

Меня торжественно проводили в Могилевскую школу номер два — с художественным уклоном. И, выяснив, что дорогу я помню хорошо, уже не водили больше за руку, как некоторых девочек и мальчиков, и не встречали после уроков на пороге школы с шоколадкой. На это были причины: у меня родилась младшая сестра. Об этом мне сообщил радостный и взволнованный папа, а меня жутко расстроило это известие, потому что я хотел брата. И тогда мне казалось, что это самое страшное горе.

У нас в школе, как практически в любом советском учреждении, прямо у входа висела картина с тремя божествами: Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Владимиром Ильичом Лениным. Именно в такой последовательности: два жутко заросших мужика хорошо контрастировали с лысиной вождя мирового пролетариата. Можно только догадываться, что думали про них дети начальных классов, которые не были еще политически подкованы. Мне лично они казались семьей: Маркс и Энгельс — отец и дедушка, а тот, что моложе, — видимо, внук и сын в одном лице. Надо отметить, что мальчиком я был стеснительным и робким, спрашивать об этом не решался, так что еще долго для меня было загадкой: что это за люди так грозно смотрят со стены.

В первый класс я пошел весьма подготовленным. Героическими усилиями бабушки и мамы я был выдрессирован и обучен читать и писать. Читал я бегло, а не по слогам. А писал в старом стиле: с закорючками на концах букв — так меня учила бабуля по учебнику, изданному едва ли не при царском

режиме. Когда я вывел такие вензеля своей первой учительнице, — кстати, заслуженной, с медалью на груди, — она удивленно вскинула брови и вручила мне прописи. Там все было настолько просто, что я сразу же выполнил задание. Душа пела, я был доволен!

С рвением выполнив первое домашнее задание, я был в предвкушении свободы: «Сделал дело — гуляй смело». Однако мама, вернувшаяся из роддома вместе с моей сестричкой, решила меня «повоспитывать» и сказала, чтобы я выписывал буквы и дальше — не помешает. Я почувствовал себя жутко обманутым: дело же сделал, а как же — гуляй смело? И в моей душе поднялся протест. Но так как родители были со мной всегда строги, то на открытый бунт я не решился — просто стал задание выполнять ближе к вечеру, чтобы не делать лишнего. Так и учился.

В школе нас рассадили по степени IQ: более сообразительных — по мнению нашей учительницы — в первые ряды, менее активных — в средние, а «балласт» — да вы и сами знаете... Почему, за какие прегрешения я оказался на последних рядах? Учился я хорошо, но не считал нужным подстраиваться под мнение учительницы или казаться лучше, чем я есть на самом деле. Не «стучал» на одноклассников, не жаловался, если меня обижали, — это было мне привито родителями с детства. Я всегда сам разбирался с обидчиками. На уроке я не тянул руку, хотя и знал ответ... Видимо, за мою скромность и молчаливость меня и не замечали.

А учительница холила-лелеяла первые ряды, при каждом удобном случае демонстрировала остальным, что это лучшие из лучших!

Ближе к концу первого класса меня удостоили «честь» попасть в средний ряд. Надо отметить, что мне тогда еще нравилось учиться. Нравилась сама школа, ее архитектура и парк из вековых деревьев во дворе.

Так как школа была с художественным уклоном, то нас с первого класса обучали рисованию по правилам высшей художественной школы. Преподавал у нас заслуженный художник Белоруссии — правда, не помню его фамилии. Вообще с запоминанием фамилий у меня было туго. Так как я стеснялся переспрашивать, а с первого раза не запоминал, то многие учителя так и остались в памяти — «русица», «физрук», «трудовик»...

Я любил школу. Даже тогда, когда учительница в гневе переломала карандаши, которые родители купили мне в Москве. На них была изображена таблица умножения, а по мнению педагога, это было «кощунственно»! К слову сказать, я знал эту таблицу всю, и карандаши для меня не были шпаргалкой. В те времена у нас в Могилеве таких было днем с огнем не сыскать! Красивые, с отличными грифелями — их можно было смело очинить точилкой без боязни, что сердечник раскрошится или вывалится из карандаша.

Даже когда художник вырвал клоч волос из моей бедной головы за то, что я наносил тени на рисунке твердым карандашом, — мне нравилась эта школа. Была там какая-то волшебная аура, особая атмосфера. Мне нравилось весной наблюдать за старшими классами, которые с мольбертами рассаживались на школьном дворе и рисовали пейзажи. Я мечтал, что тоже буду так рисовать. Вообще, я с трех лет довольно хорошо рисовал. Но при нашей тогдашней жизни фломастеры были недостижимой роскошью, а цветные карандаши не выдерживали никакой критики, вот я и пристрастился к черно-белому рисунку. Рисовал обычной шариковой ручкой. Но в школе нужно было рисовать в цвете, а мои очень даже неплохие рисунки простым карандашом были не оценены. А «творения» наших отличников были пятерочными. Возможно, срабатывал закон первого ряда.

Мы тогда учились шесть дней в неделю. И все шесть дней я сидел с утра до обеда в школе, затем

с обеда до вечера (иногда до глубокой ночи) за уроками. В субботу я делал все уроки на понедельник, а в воскресенье, после завтрака и просмотра детских передач, смывался из дому до вечера. Ведь тогда (страшно подумать!) было всего два канала на ТВ, и детские передачи были редкостью, да и то ими жертвовали из-за футбола. Так что я сбегал из дома и, несмотря на угрозы расправы, если я не приду обедать, до вечера не появлялся. Возвращался домой счастливый, получал свои обещанные люли и ложился спать.

А вот каникулы были сплошным праздником! Вставал рано — и сразу на улицу! Но все хорошее, к сожалению, быстро кончается.

Однажды на перемене после первого урока я стоял в коридоре у окна и смотрел на школьный двор. Весеннее утро настроило меня на романтическое состояние. Я просто выпал из реальности, пока меня грубо не вернул пацан из пятого класса: он ворвался в нашу толпу первоклашек и принялся дубасить направо-налево. Бил подло — в солнечное сплетение или, проще говоря, под дых. Видимо, кто-то показал этот удар, и ему не терпелось его опробовать. Разумеется, на ровесниках он этого делать не стал — по понятным причинам.

Под его руку подвернулся и я. Было не так больно, как обидно. Я, как рыба, выброшенная на берег, пытался глотнуть воздуха и никак не мог. А этот «боец», гогоча, умчался по коридору. До сих пор живы в памяти эти ощущения! Я решил, что не прощу! Парень был приметный: на нем был питерский школьный костюм — они отличались тем, что курточки у них были с множеством карманов и шевроном на рукаве. Это была мечта каждого мальчишки!

В общем, прекрасный весенний день был безжалостно испорчен. Я все вспоминал этот наглый взгляд и торжествующий смех и хотел отомстить. Да! Хотел доказать ему, что первоклассник — тоже человек! В этот же день по дороге домой я увидел этого хулигана во дворе школы. И понял: здесь и сейчас! Потому что другого раза может не быть. Потому что злость забывается, и на ее место приходит трусость и нерешительность. Потому что я не хотел прощать!

Подойдя вплотную, я хмуро посмотрел ему в лицо снизу вверх: задира был выше меня на голову. Он удивленно посмотрел, потом в глазах промелькнуло, что узнал. Не говоря ни слова, я со всей возможной силой, напитанной обидой, ударил его туда же, куда бил он. Воздух вылетел из его легких, как из разорванного шарика. Парень упал на колени и превратился из бравого героя в сопляка, ревушего на асфальте. Мне стало противно от его вида, но в душе была радость: я наказал пятиклассника и не собирался бежать. Продолжая спокойно идти по школьному двору, я слышал, как переговаривались его одноклассники, как громко и взволнованно спрашивала учительница, что случилось.

Никто так и не понял, что произошло. Но мы-то с ним знали! И больше он никогда ко мне даже не подходил. А я вынес еще один урок для себя: то, что делается уверенно, — убеждает.

Дмитрий Колобов. Дни интерната

В обычной школе мне поучиться не довелось. Я родился почти слепым, а ни в нашем городе, ни в области учебных заведений для таких, как я, не было. Поэтому в 1989 году в возрасте восьми лет я был отправлен на учебу в город Петрозаводск в спецшколу-интернат № 23 для слепых и слабовидящих детей.

Всего в школе училось около ста пятидесяти человек, среди которых было много сирот и детдомовцев. К каждому классу были приставлены по два воспитателя, в чьи обязанности входило

следить за нами, гулять с нами, помогать готовить уроки. Девочки жили в левом крыле здания, мальчики — в правом. У каждого класса была своя комната-спальня. Каждому полагалась железная кровать и тумбочка для личных вещей. Впрочем, по-настоящему ценные вещи в тумбочках никто не хранил, предпочитая прятать их под матрасом.

Жили мы строго по расписанию:

в 7.00 — подъем,
в 7.30 — зарядка,
в 8.00 — завтрак,
в 9.00 — начало уроков,
в 13.00 — окончание уроков,
в 14.00 — обед,
потом тихий час,
дальше — свободное время до 18.00,
потом — самоподготовка до 19.00,
в 19.30 — ужин (младшая смена),
в 21.00 — отбой.

Старшеклассники жили по своему расписанию. Нередко приходили к нам на отбой и помогали воспитательницам укладывать нас спать, чего мы очень не любили. Еще к нам были приставлены шефы — ученики не то шестого, не то седьмого класса, точно не помню. Вот они-то в основном и следили за нами, чтобы мы не натворили бед. На ужине наесться нам мало когда удавалось, а потому мы тайно прихватывали кусочек-другой хлеба и ели его ночью. Почти у каждого под матрасом лежал запас.

Каждый вторник в школе проходила политинформация.

Сначала в нашем классе училось всего семь человек: шесть мальчиков и одна девочка. Потом пришли новенькие, и нас стало одиннадцать. Проблемы у всех были разные — кто-то страдал дальтонизмом, кто-то — светобоязнью, у многих было косоглазие. Слепых ребят в нашем классе не было. А вот мой друг Сережа Крюковский был совсем слепой. Он учился на год младше. Мы познакомились и подружился. Я часто водил его по школе за руку.

Мои одноклассники были из разных городов, но большинство все-таки из Карелии. Те, кто жили в Петрозаводске, могли уходить домой на выходные (потом городская администрация выделила интернату автобус, который развозил-забирал ребят, и они могли отправляться домой каждый день после занятий). Остальные (к числу которых относился и я) ждали каникул, когда приезжали родители и забирали нас. Были и такие, кому уезжать было некуда: родителей и дома у них не было, и поступили они к нам в интернат из детдомов и спецшкол. Они жили в интернате, а на лето их отправляли в пионерлагеря. Бывало и так, что «домашние» тоже вынуждены были оставаться в интернате на выходные или даже на каникулы из-за семейных проблем: у кого-то запивал отец, у кого-то мама уезжала в командировку и оставить ребенка было не с кем. У одного мальчика во время его учебы в

интернате умер папа, у другого — мама...

Больше всех не повезло Саше Меркулову. Не могу сказать точно, откуда его занесло в наш интернат. Ни его матери, ни его отца я, как, впрочем, и другие мои одноклассники, не видел, потому что мама была лишена родительских прав, а папы и вовсе не было в живых... Саша как-то говорил, что он якобы погиб на войне, но впоследствии я узнал, что все было гораздо проще и банальней: его просто убили в пьяной драке...

Одноклассники мои были ребятами неплохими, но порой все-таки возникали конфликты и даже драки. Драться я не любил ужасно и предпочитал все вопросы решать мирно, но сдачи дать мог. Воспитательницы и учительница любили меня за это и порой приводили остальным в пример.

У каждого из нас был свой интернатовский документ — единый билет. Мы называли его просто «единый» или «единник». Это был наш пропуск в большой мир. По нему мы могли бесплатно ездить в общественном транспорте, ходить в музеи, кино, театры... «Единником» мы с моим одноклассником, другом и земляком Сашкой во втором классе решили воспользоваться для побега домой. Правда, убежали совсем недалеко, только до остановки. Там еще раз всё хорошенько обдумали и решили, что, пожалуй, лучше вернуться.

Осенью 1990 года мы стали октябрятами. Данное событие проходило на торжественной линейке в спортзале. Это первое хорошее воспоминание о школе. Еще одно хорошее воспоминание — это поездка на телевидение. Туда нас позвали на какую-то передачу. Тогда мы уже были второклашками, и к нам пришла еще одна новая девочка. Таким образом, нас стало восемь. Тогда же, во втором классе, гуляя с ребятами недалеко от школы, я угодил в трясину и чуть не погиб. Меня спас одноклассник. Он же, как это ни странно, разбил мне голову, играя со мной в догонялки по классу. Это вышло, в общем-то, случайно. Разбитая голова оказалась моей первой серьезной травмой. Страдал я и от дизентерии. Эта болезнь просто преследовала меня. Из-за нее я часто лежал в больнице, а мой класс сажали на карантин. Моим родителям об этом почему-то не сообщали. Гулял у нас по школе и педикулез, а через какое-то время началась эпидемия чесотки, после чего всех больных немедленно упрятали в изолятор... В медкабинете проверка на вшивость была обязательной процедурой...

Начиная с третьего класса мы стали дежурить по столовой. Это было наше первое ответственное задание. Были у нас и поручения. К примеру, я сначала был физоргом и поднимал своих одноклассников криком «Подъем!», за что пацаны меня невзлюбили и вскоре на очередной политинформации поставили вопрос о немедленном переизбрании меня.

Приходилось мне столкнуться и с воровским беспределом. Это, пожалуй, было одной из главных бед. Крали буквально всё, но особенно обидно было за посылки, которые присылали из дома. Мы старались держать факт получения посылки в тайне, иначе рисковали остаться ни с чем. Если же это все-таки происходило, мне приходилось выслеживать таких «героев» и разбираться с ними на кулаках, хотя повторяю, что драться я очень не любил. Что-то мне удавалось вернуть, а что-то нет. А чтобы силенок у меня было побольше, я стал по возможности чаще ходить в спортзал и тягать гири, подтягиваться и т. д.

По специально выделенным дням мы ходили в баню, которая находилась в подвале школы. Каждому из нас выдавали по кусочку хозяйственного мыла, которым мы и мылись с головы до ног.

С пятого класса мы начали изучать иностранный язык. Это был немецкий, который пошел у меня, равно как и русский, очень хорошо, и ко мне за помощью стал обращаться весь класс. Через некоторое время мое фото оказалось на доске почета на первом этаже. Для меня это было приятной

неожиданностью. Попал я туда отнюдь не за хорошую учебу, а за относительно хорошее поведение, а моим родителям было передано благодарственное письмо за мое хорошее воспитание.

Многое менялось. Кто-то из ребят и воспитательниц уходил, а кто-то приходил... На новогодние каникулы я приезжал домой, а ездил я тогда уже один, как вполне взрослый человек, вместе с остальными ребятами и аж с пятью подарками. У нас были очень хорошие спонсоры-финны. В этом плане они, конечно, были молодцы, помогали нам.

Пел я в школьном хоре, хотя какой-то музыкальности в себе не чувствовал, но старался. Вскоре я ушел из хора в театральный кружок. Еще будучи второклашкой, я пытался говорить чужими голосами, кого-то пародируя и изображая, чем изрядно смешил всех одноклассников. Мой актерский талант разглядела одна из воспитательниц, заведующая драмкружком, и немедленно записала меня туда. Так я стал участвовать в конкурсах чтецов, играть какие-то роли в разных сценках.

Память у меня была хорошей, и потому запомнить слова роли для меня не составляло никакого труда. Мне это нравилось, и я очень старался как можно лучше сыграть. Про спортзал я не забывал и продолжал тягать гири. Мы подросли и теперь уже сами на отбое гоняли учеников младших классов. Про свою первую учительницу мы не забывали и иногда забегали к ней в младшие классы. Порой то у нас, то у девочек, — а их теперь было аж целых пять! — возникали ссоры, но примирение наступало быстро...

Мы выросли. Многие потихоньку начали курить. Курение же в интернате было строго запрещено. Устав бороться с курящими старшеклассниками, директор даже издал указ об отчислении таких ребят из интерната. Так за систематическое курение были исключены несколько учащихся...

Я тоже покинул интернат раньше положенного срока. Однажды, в самом начале учебного года, на обеде я вдруг ни с того ни с сего потерял сознание. После этого меня стали находить в бессознательном состоянии то в коридорах, то в классе, то в спальне... Меня немедленно освободили от физкультуры и категорически запретили поднимать тяжести. На уроках я соображал плохо: голова болела. В больнице, куда я попал после тяжелого припадка с пеной у рта, мне поставили диагноз — эпилепсия. Приступы набирали силу. Однажды я вдруг понял, что вообще перестаю узнавать своих одноклассников. Они стали посмеиваться над моим состоянием, что меня очень раздражало. Мне было непонятно, почему они стали это делать?

Меня продолжали кормить таблетками, от которых мне становилось еще хуже. Учился я теперь по шадящему режиму. Мне списали со счета все, что я пропустил, пока был в больнице. Ребята продолжали отпускать свои дурацкие шуточки в моей адрес, но я старался не обращать на это внимания... Давалось это нелегко. И когда в день рождения мне позвонила мама, сказав, что она забирает меня навсегда, я решил поделиться этой новостью с ребятами. Услышав об этом, они заметно приуныли. Воспитательница тоже не поверила, что я навсегда их покидаю. Тогда ребята попросили меня сесть, заявив, что им надо кое-что сказать. Я сел и стал ждать. Тяжело вздохнув, мои одноклассники попросили у меня прощения и сказали, чтобы я не держал на них зла. Жаль, конечно, что я не доучился и не сохранил свое здоровье. Жизнь нас раскидала, но я нашел некоторых одноклассников, и иногда мы общаемся.

Учителя

Валентина Акуленко. Дом над обрывом

(воспоминания моей учительницы о 30—40-х)

Когда я прохожу мимо знакомого с детства здания школы № 10 на улице Анохина в Петрозаводске (теперь средняя школа имени А.С.Пушкина с углубленным изучением гуманитарных предметов), то всякий раз на минуту-другую задержусь перед памятной доской на фасаде. За лаконичной надписью «В этой школе с 1961 по 1981 годы работала директором Народный учитель, Почетный гражданин Республики Карелия Андерсон Галина Александровна» — уникальная, богатая на события судьба, неразрывно связанная с историей и Петрозаводска, и страны.

С пятого по восьмой класс я училась в этой школе. Директор Галина Александровна вела у нас физику. Но больше, чем предмет, с которым она нас знакомила, запомнилась она сама — высокая, стройная, подтянутая, с аккуратно уложенными русыми волосами на красивой голове. Как сейчас вижу ее лицо с лучистыми серо-голубыми глазами. Эти глаза бывали и по-директорски строгими, но чаще выражали материнское участие.

Выйдя на пенсию, «неугомонная Андерсон», как она в шутку себя называла, возглавила совет ветеранов-учителей и... с головой ушла в поиски семейной родословной, которая, как оказалось, тесно связана с историей Онежского (в прошлом Александровского пушечно-литейного) завода. Однажды Галина Александровна с заметками для публикации пришла в редакцию республиканской газеты «Северный курьер», в которой я заведовала отделом писем и работой с внештатными авторами, — так мы встретились снова. И моя учительница физики стала одним из активных авторов нашей газеты.

Девять лет, как она трагически погибла, а все не верится, что ее, такой деятельной, неунывающей, приветливо улыбающейся, уже нет...

Заслуженного учителя Карелии и России, бывшего директора школы Андерсон и сегодня многие помнят. Но мало кому известно, что еще в пятнадцать лет она стала абсолютной чемпионкой Карелии по стрельбе, что в 1939—1940 годах была чемпионкой РСФСР.

Однажды я попросила Галину Александровну рассказать о доме, в котором она выросла, — о том деревянном доме над обрывом возле моста через речку Неглинку, который раньше все в городе знали.

Рассказывала она неторопливо, душевно и как-то уютно, что хотелось ее слушать и слушать:

— Дом наш, который уже больше десяти лет как снесен, построен был в 1923 году. В Петрозаводске немало тех, кто помнит его гостеприимство. Полвека моей жизни прошли в его теплых стенах среди высоких сосен над обрывом. Впадину внизу с быстрой рекой Неглинкой считают следом схода огромного древнего ледника. Наверное, так и было. Поросшая деревьями впадина выглядит загадочно и живописно. А какие здесь горки были зимой! На лыжи — и вниз по крутому спуску, так что дух захватывает!

Наша улица называлась Северной. Теперь по одну сторону обрыва высится здание Школы искусств, по другую — новые современные корпуса. Наш бревенчатый дом выглядел бы игрушечным на этом фоне. Но в детстве он казался просторным и надежным. Таким для нас и был.

В первые годы советской власти поощрялось частное строительство, государство даже предоставляло для этих целей ссуду. Вот мой папа, Александр Васильевич Москалев, договорился с

отличными мастерами своего дела. И дом получился удивительно ладный, с виду небольшой, но вместительный: несколько комнат с круглыми печами, кухня с русской печкой. Для семьи из шести человек места было достаточно.

Вечерами у жарко натопленной печки-голландки мама, Зинаида Николаевна, бывшая учительница, читала нам книги или рассказывала, как жили в старину. Мы очень любили эти часы. А всем нам четверым (двум братьям и двум сестрам) в зрелые годы нравилось вспоминать, как мама слушала свою любимую радиопередачу «Встреча с песней» Виктора Татарского. Пока она шла, никто не осмеливался потревожить маму — все старались ходить тихо и говорить шепотом.

В пору нашего детства новогодние праздники с елкой официально не проводились, многие елку украшали тайно. Мы же всегда отмечали Новый год весело и не слишком заботились о мерах предосторожности. Возможно, потому, что жили на отшибе. Зажигали на елке свечи, украшали красивыми игрушками. И всегда, пока стоял наш дом, этот праздник родственники старались встретить у нас. Неизменными оставались мамины пироги, большой самовар на столе, а потом выход «под спичку»: так называлась знаменитая на весь Петрозаводск горка на улице Вольной, на которой когда-то была спичечная фабрика.

В 40-м году бурю восторгов вызвал мой новогодний сюрприз — новенький патефон, которым меня премировали за хорошие результаты в стрелковых соревнованиях на спартакиаде в Москве. «Патефонный» период жизни нашего дома был, наверное, самым романтическим и самым коротким... Не ведая о близкой беде: бомбежках, эвакуации, разлуке, лишениях, — мы с наслаждением слушали патефонные пластинки с оперой «Евгений Онегин», с романсами в исполнении Козина, Лемешева, Лещенко, Шульженко... Под патефон учились танцевать вальсы, танго, фокстроты. Мальчики приглашали девочек. Сердце громко и радостно стучало от мечтаний.

В то же время молодежь призывали «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!». Впервые восьмиклассницей я взяла в руки винтовку. Стала упорно тренироваться. Руководил нашей секцией военрук, бывший офицер царской армии Алексей Шайжин. Занималась в Осоавиахиме, в школе вела стрелковый кружок. Скоро наша школьная команда получила право выступить на первенстве России. Соревнования проводились в июле 1939 года на стрельбище Центральной стрелково-снайперской школы под Москвой. В стрельбе на пятьдесят метров петрозаводская команда заняла второе место, уступив московской лишь два очка. И не передать моего счастья, когда узнала, что с результатом 189 очков из 200 возможных я победила и стала чемпионкой РСФСР.

Потом учила стрелять будущих ополченцев... Все мальчики из нашего класса ушли на фронт. Я тоже просилась. Но в райкоме комсомола мне поручили обучать стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

Окончив школу, поступила в Петрозаводский педагогический институт. Мечтала стать учительницей, как мама. Но война нарушила мечты. В госпитале ухаживала за ранеными. В Петрозаводске началась эвакуация. Так наша семья оказалась в деревне Артюшино Вологодской области. В Артюшине работала физруком в школе, вместе с учителями выезжала на заготовку дров, трудилась на колхозных полях. И все же поступила в Вологодский педагогический институт, хотя и уставала, и недосыпала, и времени было в обрез. Да что говорить: шла война!

Нашей семье повезло. После освобождения Петрозаводска мы вернулись в свой дом. И я наконец перевелась, куда и мечтала, — в Ленинградский педагогический институт имени Герцена. После преподавала физику и математику во второй мужской школе, находившейся на Перевалке. Только

представьте себе: перед сорока пятью сорванцами стояла молоденькая учительница с косичками. Разве ее будут слушать?

Как-то возвращалась с тренировки из тира: в руках — мелкокалиберная винтовка, рядом со мной — тренер Владимир Федорович Киселев, потом известный в Карелии мастер спорта по стрельбе. А навстречу — мои ученики. Увидев меня с винтовкой, встали как вкопанные: «Вы стрелять умеете?»

С этого момента на моих уроках стояла тишина, как перед ответственным выстрелом.

Наш дом над обрывом скрасил жизнь и моего первого в учительской биографии послевоенного класса. Вкус пирогов, испеченных моей мамой, наверное, на всю жизнь запомнился моим не избалованным яствами ученикам.

Почти все мое время доставалось школе. И не хватало моего материнского внимания сыну и дочери. Выручали мама и муж. Все заботы: о дровах, печке, готовке, уборке — ложились на их плечи. Когда я поздно возвращалась из школы, мой муж, дирижер военного оркестра, шутил: «Ну, что, уложила школьного сторожа спать?»

Дорогой наш старый дом! Моя семья покидала его в начале восьмидесятых годов. Незадолго до этого мы выносили из дома маму...

Давно живем в благоустроенных квартирах, как говорится, своими домами. Давно уже не собираемся в саду за покрытым клеенкой столом с самоваром в центре и горками маминых пирожков. Не ходим «под спичку» в Новый год. Не устраиваем кукольных представлений, не танцуем под патефон, не играем в лапту, не собираемся вместе на трамплине, чтобы поболеть за новую спортивную звезду, какой в нашей юности был мастер прыжков с трамплина Борис Носов, не провожаем друг друга на соревнования, — это и многое другое осталось только в памяти.

Но некоторые традиции нашего старого дома сохранить удалось. Например, ни один общий семейный праздник не похож на другой, всегда готовятся сюрпризы, никогда не бывает скучно ни взрослым, ни детям.

Инна Иохвидович. «Герасим»

— «...Охотно воспринимает и распространяет среди учащихся западные виды причесок и нарядов...» — вслух, удивленно побряхтывая, читал директор школы, добродушный на вид толстяк.

Оторвавшись от чтения характеристики, он строго посмотрел на меня из-под очков и продолжил: «...Бесконечно лжива, может притвориться заплаканной, больной...» Тут он не удержался:

— С такой характеристикой, девочка, тебе не в другую школу переводиться, а прямым ходом — в колонию.

Дело было в начале шестидесятых, и в этой харьковской школе, как, впрочем, и в тех, где я побывала прежде, меня не брали в восьмой класс. И все из-за треклятой характеристики, которую написал мне классный руководитель по прозвищу «Герасим», то есть Александр Герасимович Громов, даже ничего в нашем классе не преподававший, просто посередине года назначенный нашим классным руководителем. В ней, в характеристике, вроде бы все и правильно было написано, а на самом деле было чистойшей неправдой!

«Наряды»? Просто в какой-то из жарких дней мая, когда мне вдруг стало невозможно ходить в темно-коричневой форме, под черный передник я надела темно-синюю кофточку с рукавами до локтей да перелицованную из маминой серую юбку. «Западные виды причесок»? Собрала волосы на затылке и перетянула резинкой — получился так называемый «конский хвост».

Тогда «Герасим» и поднял скандал... Результатом стало мое исключение из школы на три дня. Именно этот случай он и описал в характеристике как: «охотно воспринимает и распространяет...» Последнее меня возмущало особенно: что и кому я «распространяла»? А?

Да, было, удрала с уроков, а вместо покаянных слез, которые никак не хотели из глаз выдавливаться, в «уборной для девочек» накапала себе в глаза воды... Так что же, уж и «...бесконечно лжива?» И за это характеристика — «волчий билет», как выразился завуч одной из не принявших меня школ.

Почему-то сердиться на классного руководителя, высокого, с темным лицом и сверкающими глазами, я не могла. Мне было просто обидно: за что?!

Он ведь как только пришел, сразу и выделил меня из всего класса. Сначала я думала, что это из-за сложной фамилии. Он, бывало, любил произносить ее на разные лады, да всё почему-то неправильно, так что класс со смеху подыхал. Раз он договорился до того, что назвал меня Инной Эйзенхауэр! Смеялся не только весь класс, но и он сам, не до смеху было только мне одной.

Вот так любил он поизгаляться надо мной, и во мне поселился страх перед ним: мне казалось, что он следит за мною, все чудилась его высокая фигура в подворотнях да проходных дворах...

Однажды погожим деньком после школы заболтались мы с одноклассниками, стоя на углу улиц Пушкинской и Красина, у самого большого в Харькове пятидесятих годов «Гастронома». Мы громко разговаривали, размахивая портфелями, чему-то смеялись, словно в рот нам смешинка попала... Как внезапно появился он, «Герасим». Смех комом застрял у меня в горле, так что я не могла и вздохнуть...

— Чему это ты так смеялась, Инна Иохвидович? — Он навис надо мной, сверкая глазами.

А я ничего не могла ответить.

— И почему это вы тут группкой во главе с Инной Иохвидович стоите здесь, на углу? Кого ожидаете, куда собрались отправиться? — сыпал он вопросами.

— Александр Герасимович! — наконец-то продохнув, смогла произнести я. — Мы никуда не собирались идти и ничего не собирались делать!

Собрав все силы, я посмотрела ему в лицо и заметила то ли слюну, то ли пену в уголках губ.

— А я думаю, что ты что-то скрываешь!

И он прочел нам получасовую нотацию-лекцию о «Голубой лошади» — недавно разоблаченной в городе молодежной организации стилияг, которых отправили перевоспитываться в армию, в колонии, на какой-то «101-й километр»...

Волна его истерической ненависти накатила на меня, вызвав головокружение и дурноту, и я медленно осела на тротуар. Только когда вокруг нас стала собираться толпа, он быстро ушел прочь.

Нервная болезнь стала моим спасением. Я просто сбежала в нее, спряталась от своих страхов и

«Герасима»... В школу я не уже вернулась, от экзаменов меня освободили тоже... «Герасим» обыграл и это в характеристике: «Блезнь симулировала!»

Меня все же взяли в школу, где учительствовала моя тетка — папина сестра.

Высокий старик стоял у ворот «Сабурки» — Харьковской городской психиатрической больницы, бывшей «Сабуровой дачи». Он стоял там целыми днями, пропуская посетителей и безмолвно взимая с них дань. Ему и давали: кто мелочь, кто продуктами, кто-то ничего не давал, но таких было немного.

В середине девяностых частенько в «Сабурку» ходила и я, посещая больного брата подруги, укатившей в Питер. Несчастному нужны были то сигареты, а то и просто буханка хлеба — кормили «психов» во времена постсоветской разрухи совсем плохо. Приходилось ходить регулярно: если я вдруг не могла почему-то прийти, то парень просил у родственников других больных, а санитары избивали его за попрошайничество.

Но когда приходилось проходить мимо торчавшей у входа долговязой молчаливой фигуры, я в лицо ему не смотрела, но у меня неизвестно отчего начинался озноб, словно сквозняк пробирал.

Однажды, когда опускала в его грязную ладонь небольшую купюру, то расслышала даже не шепот, а будто некое шелестенье: «Мало даешь, Эйзенхауэр!» Я глянула в его темное лицо, как и некогда, искаженное ненавистью, и тут же подумалось мне, почему это так случилось в моей жизни, что все мои «гонители» были, как на подбор, темны лицом. Я ничего не ответила человеку с запекшейся слюной в уголках губ. Да во мне ничего и не дрогнуло. Страх умер...

Татьяна Жданова. Любимая школа

Нашу школу № 387 в Сокольниках на Майском просеке построили в 1955 году специально для детишек нашего поколения — послевоенных мальчиков и девочек, хотя там учились и ребята постарше. В школе моя учеба всегда шла успешно, меня часто хвалили и ставили в пример другим — то есть лили елей на мою тщеславную душу. Меня там любили и уважали, что мне было крайне необходимо. Я могу без конца петь оды своей дорогой и любимой классной руководительнице Светлане Алексеевне Николаевой. Что бы я делала без ее любви и сочувствия? Как бы я училась? Для меня было очень важно чувствовать особое ее отношение ко мне, хотя наша Света ужасно педагогично старалась не показывать своих пристрастий. Но я — маленькая нахалка — знала, всегда знала, что занимаю в ее сердце какое-то исключительное место. Правда, в этом не было ничего удивительного: сначала Светлана Алексеевна влюбилась в мой табель с круглыми пятерками, а потом, наверное, не могла не полюбить девочку, которая всегда тянула руку вверх, желая ответить на все вопросы, и если ее спрашивали, всегда отвечала ясно, полно, по существу дела. (Я теперь сама преподаю и люблю таких учеников, которые рвут у тебя подметки на ходу, да только они редко встречаются.) Кроме того, наши с ней интересы лежали в одной плоскости, если можно так выразиться. Думаю, если бы Светлана Алексеевна была бы математичкой, у нас не возникло бы такого душевного альянса. Именно потому, что она была преподавателем русского языка и литературы, она и нравилась мне, а я — ей. Я так любила ее уроки русского языка, так старалась все понять и во все вникнуть, что она не могла этого не оценить. Я вообще была очень благодарной ученицей, но для меня не было большего удовольствия, чем выйти к доске, звонко отрапортовать какое-нибудь правило, привести интересные примеры или грамотно написать предложение на доске и объяснить, почему такое-то слово пишется так, а не иначе. Я испытывала чувство высокого торжества, когда Светлана Алексеевна выводила в журнале и в моем

дневнике привычные мне пятерки. Лишь раз или два у меня возникли со Светланой Алексеевной маленькие недоразумения, и я до сих пор их помню. Один раз нам надо было выучить стихотворение Алексея Кольцова «Косарь». Оно, как известно, написано белым стихом, без рифмы, а я была к этому непривычна, и оно мне не нравилось. Я его выучила, конечно, но когда мне пришлось его декламировать перед всем классом, я прочитала его без выражения, и Светлана Алексеевна поставила мне тройку. Если бы она знала, что мать меня поколотит за эту тройку, она бы мне ее никогда не поставила. Но меня больше задело то, что Светлана Алексеевна не поняла, почему я плохо прочитала это стихотворение; кстати, Ромка Жернов тоже схлопотал за него тройку, но ни капельки не расстроился. Мне кажется, мы были слишком маленькими и глупыми, чтобы почувствовать красоту этих строк:

*Раззудись, плечо, размахнись, рука,
Ты пахни в лицо, ветер с полудня!
Освежи, взволнуй степь просторную.
Упади, трава подкошенная,
Поклонись, цветы, головой земле!*

Это случилось, когда я училась в третьем классе. Второй случай произошел, когда я училась уже, наверное, в пятом. Светлана Алексеевна задала нам выучить стихотворение Лермонтова «Бородино», которое мне как раз очень нравилось. Я прочитала его, что называется, на «пять», но Светлана Алексеевна сказала, что я читала невыразительно, и поставила мне четверку. Наверное, я просто очень торопилась, когда читала. Но я опять обиделась и опять запомнила. А так мы всегда существовали с ней душа в душу.

Мы всегда пристально наблюдали за тем, как и во что одевается наша дорогая Светлана Алексеевна. У нас даже существовали особые приметы: если Светлана Алексеевна приходила в темно-вишневом платье с отделкой из машинной вышивки, значит, настроение у нее доброе; если в светло-сером костюме — стало быть, сегодня будет строжить. Вообще набор туалетов у наших учителей был минимальным, и мы все их наряды знали наизусть. Но вот однажды Света пришла в школу в черном пиджаке (никогда прежде и никогда потом мы ее в нем не видели). Ну, чернее дня у нас не было! Что такое у нее произошло накануне, мы так никогда и не узнали, но не дай бог пережить еще один такой день. Мало того, что она наставила кучу двоек и троек по разным предметам — ведь она вела у нас и русский, и арифметику, и чтение, и труд, и рисование, и физкультуру — кончился этот знаменательный день тем, что на последнем уроке (русского языка) она сломала указку о парту, на которой сидели две наши непроходимые троечницы — Шура Беднова и Зинка Бокарева, — до того они достали ее своей дуростью. Накричавшись на них, Светлана Алексеевна сказала: «Танечка, выйди к доске, хоть ты меня порадуй». И я гордо-прегордо вышла и ответила все, как полагается. Весь класс взирал на меня с надеждой, а Светлана Алексеевна — и впрямь с благодарностью. И это я запомнила на всю жизнь.

Я помню нашу Светлану Алексеевну в черном трикотажном спортивном костюме, пряменькую, стройную, когда она проводила у нас уроки физкультуры. Мы занимались с ней не в спортивном зале, а в рекреации на пятом этаже, где и находилась наша классная комната. Во втором классе мы учились в первую смену, и наша классная комната была на втором этаже. Рядом с нами располагался второй «А», которым руководила Людмила Николаевна, самая близкая подруга нашей Светланы Алексеевны. Они вместе закончили педучилище и вместе поступили на работу в нашу школу. В этом классе учились две очаровательные пискли — Ирочка Героева и Леночка Баранова. Время от времени одна из них стучалась к нам в дверь и тоненьким-претоненьким голоском произносила: «Светлана Алексеевна, Людмила Николаевна просила взять у вас кусочек мела», — и при этом заливалась очаровательным румянцем — от смущения. Я бешено ревновала нашу Свету к этим противным очаровашкам. Зачем

она им улыбается? Ходят тут всякие... Я нахально считала, что все улыбки нашей Светы должны принадлежать мне, а еще, может быть, Валерику Никитенкову, ну и Люде Кривич с Аллой Некрашевич. А всяким там героевым и барановым пусть их Людмила Николаевна улыбается. Подумаешь, воображали!

Мне повезло и не повезло с моей школой. Повезло во многом: это была очень порядочная школа, где работали очень порядочные люди, отличные педагоги и учителя, где была очень требовательная и строгая директриса, которая всегда ставила превыше всего благо своих учеников. Наш директор Екатерина Андреевна Жердина, или Екатерина Вторая, как ее называли за глаза, сумела сразу же собрать очень хороший преподавательский состав. Жила она прямо в здании школы, где у нее была отдельная квартира с отдельным входом. Семьи у нее не было, все свои силы она отдавала школе. Несмотря на то, что наша школа была совсем новой, мы очень быстро обросли хорошими традициями, присущими старым школам со стабильным педагогическим коллективом.

Мне кажется, в нашей школе не было того, что называется текучкой кадров. Очень многие учителя, пришедшие в нашу школу в 1955 году, когда она только открылась, проработали в ней до тех пор, пока она не закрылась — из-за отсутствия учеников. Это произошло, когда уже наши дети практически выросли. Следовательно, и мы знали тех учителей, которым предстояло нас учить, и они знали нас еще до того, как мы начали у них учиться.

Каждое утро, когда мы приходили в школу, нас встречала Екатерина Андреевна. Обычно она стояла на лестничной площадке справа от раздевалки. Мы здоровались с нею, а она следила за тем, как мы раздеваемся и проходим к площадке слева, где у входа на лестницу, у самых дверей стояли двое дежурных и проверяли, есть ли у нас дневники. Если дневника не было, ученика заворачивали обратно — беги домой за дневником. Что было делать? С одной стороны дежурные не пускают, с другой — директриса стоит. Мимо нее не проскочишь, обязательно спросит, почему пытаешься пройти не с того хода. Мало того, еще у видит на тебе капроновые чулки или косу, прикрепленную шпильками на затылке, а не ленточками, — все, привет! — будет тебе проработка. Пока мы были маленькими, нас это не касалось, а когда подросли, столкнулись со строгими понятиями нашей директрисы о том, как должны выглядеть ученики. Патлатых мальчишек не допускали к занятиям, пока не постригутся. Ни о какой косметике, кольцах, серьгах в школе мы и не помышляли. Чулки полагались если не в резиночку, то ни в коем случае и не капроновые — только фильдеперсовы или фильдекосовые, желательно без шва. Крашенные и завитые волосы не поощрялись, хотя, конечно, ослушниц наголо не стригли. В общем, дисциплина в нашей школе приближалась к той, какая была в дореволюционном институте благородных девиц — ну, почти. Естественно, на переменах мы бегали по лестницам и коридорам, а мальчишки порой устраивали «кучу малу», и все вопили громкими голосами — только не при Екатерине Андреевне. Одно ее присутствие заставляло нас вести себя гораздо сдержанней — и учеников, и учителей.

Почему-то у нас было много преподавателей, имевших отчество «Андреевна» или «Андреевич». Завуча младших классов звали Анна Андреевна, одну из математичек — Лидия Андреевна, одну из историчек — Галина Андреевна, химичку — Евгения Андреевна, учителя пения — Лев Андреевич. Помимо этой мощной когорты, в школе трудилась плеяда других замечательных учителей, среди которых особенно выделялись наши преподаватели физкультуры, муж и жена — Василий Степанович и Лидия Петровна Дрючины. Не могу не скаламбурить: ох, и дрюкали они нас!

Лидия Петровна, темноволосая, черноглазая, чернобровая и краснощекая, крепко сбитая женщина, занималась с учениками младших классов. Поскольку с нами физкультурой занималась сама Светлана Алексеевна, мы с Лидией Петровной мало имели дело, но я все равно ее побаивалась. Вообще

следует сказать, что преподаватели физкультуры часто бывают грубоватыми. Ну и Лидия Петровна особенно в выражениях не стеснялась, если мы делали что-то не так. Конечно, спортсменка из меня была никакая: я была маленькая, тяжелая, толстенная, конечности коротковаты, спортивного азарта — ноль. Очень скоро — в пятом классе — мы попали в руки Василия Степановича. Такие, с позволения сказать, спортсмены, как я, были для него чистой морокой. Но однажды и мне довелось блеснуть на спортивном небосклоне. Началась третья четверть, и мы встали на лыжи и отправились в Сокольнический парк. Там Василий Степанович и мальчишки взяли быстрый старт и развили хорошую скорость. Девочки, не торопясь, трусили вслед за ними по той же лыжне и очень скоро намного отстали от мальчиков. Почему-то лыжи они не любили, им нравилось кататься на коньках. А я, наоборот, вспомнив свое раннее лыжное детство, бодро бежала прямо след в след за мальчишками. Сердце у меня колотилось, перед глазамиплыли зеленые и красные круги, но до места сбора я добежала вместе с ними. Василий Степанович был немало удивлен, когда увидел меня среди кучи мальчишек. Разумеется, он не ожидал от меня такой прыти. И он включил меня в соревнования по лыжам между школами по городу Москве. Но тут мне не повезло: бежала я быстро, но, проезжая какую-то рытвину, упала. Пока я выбиралась из нее, потеряла много времени. На том моя спортивная карьера и закончилась. Когда мы учились уже в шестом классе, к нам пришел новый учитель физкультуры Леонид Михайлович Федоров. «Ленька», как мы его нахально между собой называли, стал теперь заниматься с девочками, а «Васька» забрал себе мальчиков. Они оба были очень хорошими преподавателями, но физкультуру я никогда не любила, как и точные науки.

Мне не повезло с моей школой именно потому, что у нас были такие замечательные преподаватели физкультуры. Они сумели так заинтересовать ребят спортом, преимущественно легкой атлетикой, что физкультура стала чуть не главным предметом в нашей школе. Хороших спортсменов поощряли, им прощали промахи по другим предметам, их отпускали с занятий на сборы и соревнования. В школе постоянно работали секции по легкой атлетике, и вся школа знала наших чемпионов в беге, прыжках, толкании ядра и метании копья. Конечно, грех был не заниматься спортом в наших Сокольниках, где нельзя плюнуть, чтобы не попасть в стадион. На небольшом пространстве рядом с нашей школой размещались целых три стадиона. Зимой там устраивались катки, а уж на лыжах можно было бегать где угодно. Но меня это все не вдохновляло. Я никогда не была особенно подвижным ребенком. Я всегда была «книжной девочкой». Моей самой сладостной мечтой было сидеть в комнате, подобной шатру, затянутой голубым атласом, на низком диване с подушками, под лампой с красным абажуром и читать «Три мушкетера», а на полу чтобы лежала груда апельсинов. Какие уж тут прыжки в длину и высоту!

Наша школа, не имевшая официального статуса спортивной, постепенно превратилась именно в спортивную. А мне хотелось совсем иного: литературного или театрального кружка, углубленного изучения иностранного языка или даже двух. Но у нас это как-то не приживалось: уж очень сильна была спортивная струя. Однажды объявилась у нас одна дама, предложила заниматься художественным чтением и сказала, что знает наизусть всего «Евгения Онегина». Я страшно загорелась этой идеей и тоже решила выучить «Евгения Онегина» наизусть. Однако эта женщина больше не появилась у нас, и никакого кружка не образовалось. Я же фанатично зубрила «Онегина» главу за главой и успела выучить целых шесть глав, потом мне надоело.

Кого и что я любила в школе? Ну, конечно, Светлану Алексеевну и многих из наших мальчиков и девочек, хотя в начальных классах у меня ни одной близкой подружки среди одноклассниц не было. Мне нравилась Люда Кривич, наша староста, нравилась Алла Некрашевич, добрая и милая девочка, мы немного дружили с Таней Сосновиковой, с которой я сидела за одной партой. Мне хотелось быть такой же аккуратной, как Наташа Анисенкова, и иметь такой же красивый почерк, как у нее. Из наших мальчиков мне нравился темноглазый, смуглый и хорошенький Володя Балабан и русский, сероглазый,

тоже хорошенький Сережа Трофимов. С Сережей я одно время сидела нас одной парте, но он постоянно был погружен в созерцание своих собственных ногтей. Мне кажется, я их до сих пор помню и слышу голос Светланы Алексеевны: «Сережа, перестань рассматривать свои ногти! Лучше ответь на мой вопрос». И Сережа, и Володя учились так себе, а вот Валерик Никитенков — это была звезда. Тоненький, высокенький, не такой красавчик, как эти двое, Валерик был способнее, наверное, всех наших мальчиков, вместе взятых.

Из своих школьных подружек я могу, пожалуй, первой назвать Надюшку Ахметову. Мы с ней были почти одного роста, только Надюшка была постройнее. Училась она неплохо, но звезд с неба не хватало. Благодаря своему звонкому голосу Надюшка часто читала стихи на наших утренниках. Я отчетливо помню, как она, в белом фартуке, с огромными белыми бантами в косичках, первой начинает читать наш монтаж, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. В пятом классе к нам пришла новая девочка. Звали ее Надя Лексикова. Вот это была подруга для меня! Умненькая, начитанная, аккуратная и, конечно же, отличница. Внешне мы были полной противоположностью друг другу. Надя была тоненькой, выше меня ростом, ее легкие русые волосы были подстрижены, глаза у нее были голубые с почти незаметными светлыми бровками и ресницами. Я же была вся темная: глаза, волосы, брови и ресницы были темными, а кожа — смуглой. Надя была тоненькой и легенькой, я — приземистой и тяжеловатой. Это была уже третья Надя на моем жизненном пути, и мы почти сразу понравились друг другу. Господи, как же мне было хорошо с ней дружить! Надя была дочерью врачей, ее отец был военным врачом, мама — обычным, гражданским. Нам с Надей было очень интересно друг с другом. Мне давно нужна была такая подруга, и я искала ее. Я всегда была настроена на эту волну поиска друзей — тех, которые были бы мне под стать. К сожалению, мне постоянно как-то не везло. И Валерик Никитенков рано ушел из нашей школы, и Надя Лексикова проучилась у нас только один год. Ее родители получили новую квартиру, и Надя перешла в другую школу.

В Наде Лексиковой я нашла то, что безотчетно искала в других ровесниках: ум, начитанность, интеллигентность, воспитанность. Всю жизнь я благодарна ей за то, что она первая познакомила меня с книгой Александры Яковлевны Бруштейн «Дорога уходит в даль...» Я просто помешалась на этой книжке: я читала ее днем и ночью, во сне и наяву, сидя, лежа и на ходу. Мы с Надей дружно обсуждали и книжки, и все наши школьные события, и одноклассников, и учителей. Ни с кем мне не было так интересно, как с ней, а вот Светлана Алексеевна хотела нас разлучить. Надя, как и Валерик, всегда вела себя спокойно и очень независимо, потому что она была уверена в себе. Однажды Светлана Алексеевна дала нам такое задание: подготовить небольшие докладчики по книжке, посвященной правилам поведения. Я хорошо знала эту книжицу: в ней очень доступно и наглядно объяснялось, почему надо снимать перчатку, когда протягиваешь кому-нибудь руку для рукопожатия, почему надо иметь свою собственную зубную щетку и расческу, почему военные должны идти справа от спутницы, а гражданские слева. Много полезных сведений и советов было в этой книжке. Дело в том, что она была тоже у тети на детскосадской полочке, и летом я ее читала и перечитывала с превеликим удовольствием. Не знаю, хороший ли доклад получился у меня, но я помню, как говорила Надя: спокойно, разумно, не торопясь и не повторяясь. Конечно, нам обеим Света поставила по пятерке.

В пятом классе нам впервые разные предметы стали преподавать разные учителя. Мы выпорхнули из-под теплого крылышка нашей Светланы Алексеевны, и теперь она преподавала нам только русский язык и литературу, хотя и оставалась нашим классным руководителем.

У нас были очень хорошие учителя — знающие, добросовестные, настоящие педагоги. Они изо всех сил старались передать нам свои знания, а чего им это стоило — один Бог ведает. Нас по-прежнему было свыше тридцати — тридцати пяти учеников в классе, и как наши учителя

справлялись с нами — ума не приложу. Правда, мы своих учителей уважали. Первой моей математичкой была Нина Ивановна Воложенина, на вид очень простая русская женщина лет сорока пяти — пятидесяти, невысокого роста, полноватая, темноволосая, гладко причесанная, с ярко-синими глазами и добрым лицом. Я помню ее в неизменной темно-зеленой вязаной кофте, темной юбке и туфлях на низком каблуке. Единственно, что она себе позволяла, — это красить губы довольно яркой помадой. Нина Ивановна была строгой и требовательной, и мы ее побаивались, хотя и чувствовали, что она совсем не злая. Однажды я ощутила это особенно ясно. На перемене мы затеяли возню с кем-то из мальчишек, не помню точно с кем. Он лупил меня по голове учебником алгебры, а я сопротивлялась и старалась вырвать учебник у него из рук. Это один из видов школьного флирта: еще в младших классах Сережка Семенов на переменах постоянно вцеплялся в косы Люде Кривич, которые она укладывала корзиночкой на затылке, а она смеялась и отбивалась, как могла, но не жаловалась. И всем было понятно, что это он от любви. Так вот, увидев эту почти любовную сцену, Нина Ивановна посмотрела на меня, погрозила мне пальцем, вздохнула и сказала: «Ну, девка! Ну, зелье, ох, зелье!» И она так это сказала и так потом улыбнулась, что я поняла: ничего она на нас не сердится, ей только смешно, и она нас любит.

Физику (уже в шестом классе) нам преподавала Лидия Андреевна Орешина, худая, нервная женщина со строгим лицом, в очках. Она очень строжила нас и даже довольно часто на нас кричала. От нее мы слышали, что мы не просто бегаем, а «носимся колбасой по коридору», и что мы должны знать материал так, чтобы «от зубов отлетало». Учила нас она на совесть и была всегда справедлива.

Замечательная была у нас преподавательница истории Ольга Николаевна Воронцова. Высокая, полная, с некрасивым, но очень добрым лицом. Она тоже носила очки и взирала на нас сквозь них с бесконечной снисходительностью. Мы были таким горохом по сравнению с ней! Когда она объясняла нам очередной урок, я так впивалась взглядом в ее лицо и фигуру на фоне светлого окна, что, отведя взгляд, видела ее светлый силуэт на темном фоне — у меня получался негатив. Историю древнего мира и средних веков я любила и любила Ольгу Николаевну. Всяких богов и героев, королей и королев я высыпала перед ней прямо с ходу. Но когда в старших классах мы начали изучать всякие там революции и партийные съезды, я разлюбила историю, сама не понимая почему. Да и сама Ольга Николаевна к этому времени стала более нервной и раздражительной, и она стала чаще болеть. Но мы все равно ее очень любили, а она нас.

И конечно же, мне совершенно необходимо спеть гимн в честь нашей англичанки Лилии Ефимовны Левиной. Подозреваю, она была такая интересная, такая стройная, такая красивая, что ее так и хотелось назвать именем какого-нибудь цветка. У Лилии Ефимовны были хороший рост и хорошая фигура, стройные ноги, темные кудрявые волосы, карие огненные глаза, тонкие черные брови, чудесный румянец и полные яркие губы, обычно плотно сжатые, что придавало некое сумрачное выражение ее лицу. Она редко улыбалась, но, если вдруг ей случалось улыбнуться, ее губы распускались, словно бутон, и можно было увидеть ее прекрасные зубы. Но самое главное, при улыбке ее лицо теряло свою сумрачность и становилось одновременно и счастливым, и смущенным, будто она стыдилась своей радости. Наверное, так могла бы улыбаться царевна Несмеяна.

А какая она была преподавательница? Вот какая: она была вполне традиционной преподавательницей, которая честно делала все так, как ее учили в институте. И она делала все правильно: кто хотел получить у нее знания, тот получал, в тех пределах, разумеется, какие предусматривала школьная программа. И знания эти были базовыми, очень твердыми, на этом фундаменте потом можно было строить все что угодно. К сожалению, ничего сверх этого дать нам Лилия Ефимовна была просто не в состоянии. Никакого деления на группы — сильную, слабую, среднюю — у нас не было, мы и слыхом о таком не слыхали. В классе сорок человек — вот все сорок

и повторяют весь урок «эй, би, си, ди». И так вплоть до окончания школы. Наши двоечники до самого выпуска не могли освоить того, что я давным-давно делала левой пяткой. Однако Лилия Ефимовна была обязана возиться с ними, чтобы они проквакали что-нибудь хоть на троечку, а вот времени на развитие способностей хороших учеников у нее не было. И при всем при этом весь свой первый семестр в институте я проехала на старых школьных знаниях. Так что честь и хвала нашей Лилии Ефимовне и старым традиционным методам обучения!

Как правило, все преподаватели иностранных языков немного отличались своим внешним видом от остальных наших учительниц — кроме немок, пожалуй. Лилия Ефимовна блестяще подтверждала это правило. Она не одевалась роскошно, нет, но она одевалась чуточку элегантнее, чем другие наши учительницы. Там вышитый бисером воротничок черной блузки, здесь зауженная к низу юбка с разрезом, тут жакет цвета брусники — все, ничего больше, но уже что-то особенное, не похожее на остальных. Да и в ее поведении всегда чувствовалась какая-то особая свобода и независимость, словно какие-то обязательные рамки были для нее необязательными. Откуда у нас возникало это ощущение, трудно сказать, но оно было. Проявлялось это в каких-то мелочах. Например, Лилия Ефимовна чаще сидела не за учительским столом, а на первой парте, на свободном месте, если оно было, лицом к классу. Первые парты были очень низкими, а она сидела, положив ногу на ногу, так что нам были видны края ее чулок и даже часть обнаженной ноги. Она прекрасно это понимала, но по всему ее поведению было ясно, что ее это совершенно не смущает. Ей было так удобно, и все тут.

Был еще такой случай. Я училась уже классе в десятом, и у меня не было ничего, кроме школьной формы, одного свитера и домашнего халата. Я носила черные чулки, на другие у меня денег не было. Никто особенно на мои чулки внимания не обращал, хотя в то время их почти не носили. Однажды я попала на глаза Лидии Петровне, нашей физкультурнице. Она начала стыдить меня, говоря, что в черных чулках ходят одни проститутки. Я стояла красная от стыда и чуть не плакала. Мимо проходила Лилия Ефимовна. Она заметила мое состояние и спросила, в чем дело. Лидия Петровна продолжала распекать меня. Лилия Ефимовна послушала ее малость и вдруг решительно вступилась за меня, сказав, что ничего ужасного в черных чулках нет и что они ровным счетом ничего не означают. Лидия Петровна поумерила свой пыл и быстро ретировалась. Тогда Лилия Ефимовна чуть ли не подмигнула мне и сказала: «Носи что хочешь. Ничего плохого в этом нет».

А еще я помню один случай, который до сих пор греет мне душу, как, впрочем, и описанный выше. Наш Толька Дорженок, хамоватый парень, у которого в башке были одни хоккейные шайбы, как-то раз нагрубил Лилии Ефимовне. Она тут же приказала ему выйти за дверь и вышла вслед за ним, держа в руке учебник. И тут же мы услышали отчетливые звуки, похожие на хлопки: это Лилия Ефимовна отходила Тольку по морде английским учебником. Затем они оба вернулись в класс. И ничего: урок продолжался, Толька сидел, как умытый. И никому он не пожаловался, и никаких санкций не последовало.

Ботанику у нас вела Полина Ивановна Тарба — милая, добрая, хорошенькая молодая женщина. Сначала она вела параллельный класс «Г» и приятельствовала с нашей Светланой Алексеевной и с Людмилой Николаевной, хотя была старше их на восемь-девять лет. С пятого класса она стала преподавать нам ботанику, а потом — географию. Она же была моей классной руководительницей с девятого по одиннадцатый класс. Полина Ивановна была всегда намного мягче нашей Светы, и мы частенько пользовались ее добротой.

Владимир Васильевич Максимов, колоритная личность, вел у нас физику в седьмом, восьмом и девятом классе. Такого второго физика нет и не было. Он умел потрясающе объяснять и потрясающе спрашивать. Я никогда не скучала на его уроках, хотя физика совсем не была моим любимым

предметом. Я не понимаю, почему другие преподаватели не перенимали у него его метод преподавания. Его объяснения были всегда интересными и понятными, образными и наглядными. Он сам неплохо рисовал и прямо на доске изображал схемы и приборы, а также очень красиво писал заголовки. Он требовал, чтобы мы вели тетради по физике с цветными рисунками, и ставил за тетради отдельные отметки в журнал. За урок он успевал опросить полкласса и всем поставить оценки. Делал он это очень просто: к доске, разделенной мелом на три части, он вызывал сразу троих учеников и давал им задания, которые они выполняли на этой доске. Два первых длинных стола в кабинете физики он просил не занимать, так как он сажал туда шесть учеников, которые выполняли письменные задания по бумажкам из спецзапасов Владимира Васильевича. Пока эти девять учеников занимались своим делом, Владимир Васильевич вызывал еще одного-двоих для устного ответа. Итого, уже 10—11 человек оказывались опрошенными. После этого Владимир Васильевич начинал задавать вопросы классу и тем, кто принимал активное участие в опросе, тоже ставил оценки. Все мы знали, что к доске он вызывает учеников через три урока на четвертый, и готовились к этому, но, если очень хотели, могли заработать хорошие оценки во время таких опросов. Короче говоря, Владимир Васильевич был асом в своем деле. Правда, пару раз он пришел на урок слегка «подшофе». Помню, в один из таких разов он уселся на стул прямо перед классом, а не на кафедре, и сидел там, немного развалясь, в то время как Витька Абрамов, заикаясь и спотыкаясь, плел ему что-то про точку кипения или замерзания. Владимир Васильевич покачивал головой, а потом вдруг сказал: «Что это ты такое мне сочиняешь? Какой там минус? Откуда минус?» Витька оторопел, но нашел силы возразить: «Я же про замерзание рассказываю, а не про кипение!» Владимир Васильевич повернулся к нам, подмигнул и сказал лукаво: «Смотри-ка ты, знает!» Мы чуть не померли со смеху. После этого он пошел к доске, но по дороге споткнулся. Мы еще больше развеселились. Владимир Васильевич царственным движением руки сместил Витьку и сказал: «А теперь — новая тема. Заг-ик! — головок». И своим очень красивым почерком вывел название темы.

Конечно, его уровень преподавания был намного выше обычного школьного. Ему давно следовало преподавать в высшем учебном заведении, вот он и ушел от нас преподавать в какой-то институт. Мы все ужасно жалели об этом.

Вместо Владимира Васильевича к нам пришел довольно пожилой мужчина, которого звали Иван Васильевич Трошин. Он велел нам запомнить его инициалы по формуле IVT (кажется, формула силы). Иван Васильевич был неплохим преподавателем, но у него вскоре обнаружилась слабость, и звали эту слабость Таня Мазина. Она решительно ничем не выделялась — ни умом, ни способностями, ни внешностью. В то время я никак не могла понять, что наш новый физик нашел в Таньке, но сейчас думаю, что она, несмотря на всю свою невзрачность, была очень сексапильна и сама хорошо это ощущала. Иван Васильевич обладал своеобразным чувством юмора и умел одной-двумя фразами довести ученика до бешенства. Например, он мог неожиданно прервать свои объяснения и спросить у нашего Вадика Сушкова, вечного двоечника и хулигана, самым ласковым и вкрадчивым тоном: «Сушков, скажи мне, пожалуйста, почему ты такой злодей?» Сусик тут же взвизвал: «Злодей, злодей, чего злодей?!» — «Разве ты не злодей? А зачем ты тогда дерматин от стола отрываешь и в карманы прячешь?» Весь класс просто взрывался от хохота, а Сусик, весь багровый от злости, сидел, упершись взглядом в испорченный им стол, и втихаря посылал Ивана Васильевича ко всем чертям.

Наша единственная химичка Евгения Андреевна, которая была нашим классным руководителем в восьмом «А», преподавала нам химию все четыре года — с седьмого по одиннадцатый класс. Сама-то она свою химию знала, но объяснить нам ее не очень умела, тем не менее мы что-то знали и понимали. Мне эта химия была ни с какого боку, я ее терпеть не могла, однако моих знаний по химии до сих пор хватает для решения кроссвордов.

Сама Евгеша, как мы ее ласково называли, была женщиной доброй и к нам относилась очень по-хорошему. Правда, иногда мальчишкам доставалось от нее указкой по спине, но они не обижались на нее. Могу еще раз повторить: почему-то наши учителя нас любили, просто так, ни за что, только потому, что мы были их учениками. И Евгения Андреевна нас любила.

А еще она разрешала нам прятаться в ее кабинете или в лаборатории, если мы сбегали с уроков физкультуры. Иногда мы помогали ей мыть колбы и пробирки, иногда просто сидели, готовясь к следующему уроку.

В старших классах литературу и русский язык нам преподавала Дина Андреевна Обухова (ударение на первом слоге, о чем она сама весьма сожалела). Нрав у Дины Андреевны был далеко не слабенький, характер решительный. Все идилические побрякушки и проявления самодеятельности она категорически пресекала. У нее была одна цель: подготовить нас к выпускному экзамену так, чтобы написали наши сочинения в соответствии со всеми требуемыми стандартами. Она сама составляла планы сочинений и требовала, чтобы мы писали их по ее планам. Надо сказать, что ее требования были вполне ясными и разумными. Для тех, кто просто хотел успешно преодолеть экзамен, этого было вполне достаточно, но мне в ее рамках было тесновато.

Выпускные экзамены, как и полагается, начались первого июня. Вскрыли пакеты, пришедшие из РОНО или ГОРОНО, и оказалось, что нам предлагаются такие темы: лирика Лермонтова, образы молодежи в романе «Молодая гвардия» и какая-то свободная тема, сейчас не вспомню.

Разумеется, я выбрала лирику Лермонтова. Кроме меня, эту тему выбрали только две девочки. Большинство писали сочинение по «Молодой гвардии». Одной девочке, претендентке на золотую медаль, выбравшей свободную тему, Дина Андреевна сказала прямым текстом, что выше тройки она у нее не получит, велела отставить эту муру и писать сочинение по Фадееву. Мой выбор она одобрила.

В результате в нашем выпуске оказались две золотые медалистки (обе — дочки наших преподавателей по труду и домоводству, очень умненькие и старательные девочки) и четыре серебряных: Лена Баранова (одна из хорошеньких писклей), Лена Богатикова, очень умная и очень некрасивая девочка, которая перешла в нашу школу уже в седьмом классе, и мы с Наташей Бородиновой. Умница и аккуратистка Наташа чуть не дотянула до золотой медали: по русскому языку у нее была четверка.

Но мы не расстраивались: условия приема в институт и для золотых, и для серебряных медалистов были одинаковыми. Надо было сдать первый экзамен на пятерку, вот и все. Ну, а если на четверку и ниже, то надо было сдавать экзамен на общих основаниях.

Наконец настал этот великий день, когда нам вручили наши аттестаты зрелости, а потом начался собственно выпускной вечер. Все девочки пришли на этот вечер невообразимо красиво и нарядно одетые и причесанные, с подведенными глазками и припудренными носиками. Все они сразу стали выглядеть старше: это были уже не девочки, а вполне взрослые барышни. Все мы надели туфельки на высоких тонких каблуках, даже я. У меня были не туфли, а красивые босоножки, но они были открытыми только сзади и выглядели, как туфельки.

Конечно, это был волнующий момент, когда меня вызвали на сцену и вручили мне мой серебряный аттестат. Я была счастлива.

На наш выпускной вечер пришла и Светлана Алексеевна. Она приходила к нам и на наш «последний звонок» в конце мая. Помню, я произнесла в актовом зале небольшую речь, посвященную нашим учителям, и была ужасно рада, что Светлана Алексеевна находится среди них.

Геннадий Банников. Шашки наголо!

1 сентября 1959 года очень меня огорчила первая учительница в моем первом классе средней школы села Шевченково, Звенигородского района, Черкасской области, где я потом проучился 1960—1969 годы. Я думаю, все понимают, что это должна была быть молодая, стройная, обаятельная женщина, а-ля Тамара Макарова из кинофильма про первоклассницу. И вдруг к нам выходит толстая некрасивая тетка, да еще и с именем Текля Калениковна. Пусть бы она была обыкновенной Верой Ивановной или на худой конец Параской Никаноровной! Но Текля Калениковна?! Крупными буквами передо мной тогда стоял вопрос: за что?

Всякое было между нами за время учебы, поскольку мальчик я оказался более чем живой, но особенно запомнилось вот это: «Шо тобою мордуе?» и «Кэ упэртэ!» — эти сочные украинские фразы про мое необъяснимое упрямство на русский можно перевести приблизительно так: «Что тебя так крючит?» и «Упрямый козел!» Но вы не поверите: уже учась в университете, я специально приехал к своей первой учительнице, к тому времени уже серьезно больной, чтобы поклониться ей в ноженьки. Она стояла в своем огороде с лопатой, такая же грузная, неуклюжая, как и раньше, и плакала от счастья...

К нам в село постоянно приезжали выдающиеся люди: писатели, артисты, космонавты, военачальники. Бывало, даже иностранцы заглядывали — просто как жители Марса. Одному из них я пытался подарить свою коллекцию спичечных наклеек — он растроганно сгреб меня в охапку, поцеловал. Я еле вырвался, честное слово — вот еще, телячьи нежности!

Первые классы пролетели как-то незаметно, я едва успел переключиться с собирания спичечных наклеек на более благородное филателистическое направление, а потом и нумизматическое. Все село помогало мне в этих увлечениях, в загашниках у сельчан нашлось немало этого добра. А тех, кто не хотел расставаться с накопленным, я бесовестным образом обворовывал, особенно если обладатель коллекции был младше меня. Чистая наркомания эти коллекционерские страсти. Могу вас успокоить: воровские навыки впоследствии мне развить так и не довелось.

Кажется, в третьем классе я начал курить, что было волнительно и, как говорят нынче, круто. Помните эти завораживающие названия: «Казбек», «Беломорканал», «Ароматические»? Но моему папе кто-то из добрых сельчан настучал, и он вынужден был принять меры. Папе очень не хотелось этого делать: он сам курил, как паровоз, но положение родителя обязывало. Все в итоге свелось к одной фразе: сынок, а курить-то нехорошо. Слезы градом текли по щекам, но я смог-таки выдать из себя обещание больше этого не делать. И вы знаете, я свое слово держу: до сих пор к куреву не прикасаюсь! Впрочем, выполнять это обещание мне не составляет труда — это же хоть и круто, но совершенно не вкусно!

В 1961 году в космос полетел Гагарин. Не было ни малейшего сомнения, что он мог вылететь только из нашей страны — самой лучшей на всем белом свете! Зря мы, что ли, били в барабаны и дудели в пионерские горны? Это была какая-то шальная космическая радость — совершенно незабываемая!

За годы начальной школы я наострил себя неплохо играть в футбол, который любил больше всего на свете, и учителя удивлялись: целыми днями и вечерами этот оболтус гоняет мяч, но на уроке спросишь — все знает! А я и не учил ничего дома. Письменные уроки выполнялись влет, пока учитель записывал задание на доске. А устные задания просто считывались из учебника на перемене перед уроком. Позже меня удивляло, что у моих детей были странные проблемы со школьной математикой.

При всей тотальной увлеченности футболом находилось время и для других занятий. У нас в школе был учитель Мыкола Пантелеймонович, он играл на скрипке и рисовал картины. Наш сельский хор дюряк ему удалось вывести в народные капеллы Украины, и в школе он организовал хор мальчииков. Однажды мы вышли на сцену, где я должен был запевать один, но мой закадычный дружок Вова Тищенко тоже вдруг заголосил запев этой песни! Я стал его дергать за рукав, чтобы он заткнулся, — вы можете сейчас представить, как это смотрелось из зала. Вовка потом плакал за кулисами, а я, будучи тогда возмущенным до предела, всю оставшуюся жизнь сгораю от стыда.

На уроках пения я сидел на первой парте, и вот однажды, когда меня в ухо укусила пчела, я был особенно вертляв. Это не укрылось от внимания педагога, который, кроме скрипки, имел еще и смычок... Мое правое ухо до сих пор трепещет, как крыло мотылька. Случай со смычком меня нисколько не смутил, и сейчас вы поймете почему.

Был у нас еще один учитель, Виктор, с уже знакомым вам отчеством Каленикович. Вел географию, хотя по природе своей он был кавалерист, еще с гражданской. Вместо шашки у Виктора Калениковича была буковая указка, которой он очень гордился. Дети — существа непоседливые, а на уроках Виктора Калениковича это особенно сказывалось. Учителю такое поведение класса, естественно, нравиться не могло. И тогда он выхватывал свою буковую шашку и начинал рубить направо и налево. В основном — не волнуйтесь! — мы уворачивались. И вот однажды случилось страшное: кто-то из учеников все-таки уллучил момент и сломал необычайной прочности буковую указку, хотя учитель с ней не расставался, кажется, даже ночью. Лицо бывшего кавалериста даже сегодня описать невозможно. А ведь я еще раз виноват перед ним, когда отстал от автобуса в районном центре, куда мы поехали на олимпиаду по географии. Виктору Калениковичу потом за это влетело. Мне же ночью восемнадцать километров обратно пришлось идти пешком: темень была кромешная, да и дорога далеко не асфальт.

А вот сейчас вспоминаешь обо всем этом: и как мы злили учителей, и сколько они в нас умудрялись вложить, — и на душе тепло делается. Память — великая сила! Вроде как и они до сих пор там, в нашей старой сельской школе...

Нина Якимова. Игрушка для зайчика

Мне было шесть (а было в, страшно подумать, — 1959-м!), когда старшие сестры впервые взяли меня с собой в школу на новогоднюю елку. Самая веселая тетенька (ею оказалась старшая пионервожатая Зоя Захаровна Елизарова) подвела меня, пушистого Зайчика, сначала к Деду Морозу, а потом, когда я очень выразительно рассказала стихотворение, — к елке и сказала: «Выбирай приз!» Мне больше всего понравилась клубничка. Игрушку сняли с ветки, и вот уже более пятидесяти лет она украшает мою новогоднюю елку, напоминая о школе.

Когда думаю о школе, как в кино мелькают кадры из прошлого: вот мы сажаем деревья, из-за которых теперь и школу не видно; а вот участники игры «Зарница» берут штурмом крепость и с криками «ура!» срывают с «противников» погоны; а это мы с Костей Елизаровым на городском смотре художественной самодеятельности исполняем «Танец петухов», сбиваемся, но публика спасает нас от провала шквалом аплодисментов...

Чего только в нашей школе ни придумывали! В год юбилея СССР — кто не знает, было это в 1967-м — каждый класс стал одной из республик Советского Союза: мы изучали национальные танцы, песни, шили костюмы, готовили национальные блюда. Я, например, до сих пор храню грамоту

«Лучшей разведчице Белоруссии», честно заслуженную во время «Зарницы».

А в годовщину Октября наша пионерская дружина превратилась в революционный полк, и все отряды активно включились в борьбу за присвоение им имен Щорса, Буденного и других героев революции. Наш класс выбрал Чапаева. Тогда еще не было анекдотов про Василия Ивановича, и мы совершенно искренне стремились получить право называться чапаевцами. Для этого надо было учиться без троек и принимать активное участие в общественной жизни. Ребята изменились на глазах! Мы были единой командой, и нам не только присвоили легендарное имя, но и сделали подарок: в классе на стене художница нарисовала скачущего на коне Чапая!

Генератором всех этих грандиозных идей была неугомонная Зоя Захаровна Елизарова, старшая пионервожатая. Во многом благодаря именно ей слава о нашей школе № 27 шла «по всей Руси великой». В Серове во время демонстраций на нас ходили смотреть, как на артистов. И мы оправдывали надежды земляков: наши колонны всегда были самые стройные, оригинальные и зрелищные — результат многомесячной подготовки и совместного участия учеников и педагогов.

Большая гордость школы — музей В. И. Ленина. Его с любовью создали ребята из выпуска моей старшей сестры Лиды Якимовой. Мы пришли, как говорится, на готовое, но очень бережно относились к каждому экспонату и продолжали поиск новых, вели переписку с другими музеями. Я горжусь, что мне довелось быть экскурсоводом музея. Посетителей было много, особенно в дни проведения выборов, когда в школе открывался избирательный участок: все, кто приходил голосовать, обязательно заглядывали к нам, в Ленинский музей.

Начинаешь вспоминать и диву даешься: сколько же времени учителя проводили с нами помимо уроков! Вместе выпускали стенгазеты, ходили в походы, выезжали к подшефным. Помню, как с Розой Геннадьевной Жемалутдиновой наша агитбригада ездила в Романово: мы отвезли в интернат книги и выступили с концертом в сельском клубе. Из-за гололеда на железнодорожную станцию пришлось идти пешком. Растянулись цепочкой и шли по лесу, подшучивая друг над другом или затягивая песни. Потом проголодались, у кого-то нашлась булка хлеба, и мы передавали ее, как эстафетную палочку, из рук в руки, отламывая по кусочку. Хлеб на морозе — вкуснотища! А потом мы ехали почему-то на платформе с углем и в город вернулись чумазые, как трубочисты. Разве такое забудешь?!

На фоне таких ярких, теплых воспоминаний сегодняшние дискуссии, чем должна заниматься школа: обучением или воспитанием, — теряют всякий смысл. В наше время об этом не спорили, все было тесно взаимосвязано. Не существовало границ между учебными занятиями и воспитательной работой.

Уроки у большинства учителей были похожи на спектакли. Та же «англичанка» Роза Геннадьевна Жемалутдинова разыгрывала с нами сценки на английском языке, мы переводили и пели модные песни популярного тогда американского певца Дина Рида, а однажды поставили спектакль на английском языке «Синдерелла» («Золушка»). У нас и костюмы были настоящие, из театра! Естественно, что язык большинство из нас знали хорошо — лично я свободно, без словаря читала «Moskow news», а позднее даже после четырехлетнего перерыва сдавала английский в университете «автоматом».

Увлекательно вводила нас в мир путешествий учитель географии Людмила Владимировна Тайболина. Рассказывала так, как будто сама побывала в каждом уголке земли.

Фундаментально преподавала историю Людмила Петровна Матафонова, все раскладывала «по полочкам» — от предпосылок того или иного исторического события до его итогов и значения.

Не могу не вспомнить замечательные уроки русского языка Веры Михайловны Константиновой, у которой правила рифмовались и легко заучивались с помощью различных карточек или игры. Именно ей я обязана грамотностью, которая сегодня многим кажется природной — ничего подобного! Основы знаний закладывает школа, и наша, 27-я, делала это на пять с плюсом.

Никто не советовал родителям нанять репетиторов, как это рекомендуется сегодня почти повсеместно; учителя сами, терпеливо и доходчиво, объясняли ребятам изучаемый материал до тех пор, пока все до единого не поймут, о чем идет речь. Как сейчас вижу: наша любимая «физичка» Нина Николаевна Видякина в сто пятый раз объясняет движение и силу тока в цепи — тщето. В качестве последнего аргумента она проводит аналогию со зрительным залом: что, говорит, произойдет, если из кинотеатра публика будет выходить не в обе двери, а в одну? Кто-то с «камчатки» тут же обиженно выпалил: «Ну, так бы сразу и сказали!»

На химии нас ждали новые роли — например, электронов, бегающих вокруг ядра атома. Однажды Нина Григорьевна Горлаева в запале даже пуговицу оторвала от своего костюма, чтобы объяснить реакцию окисления. Зато всем стало ясно, что если пуговицу обратно пришить, произойдет реакция восстановления.

К слову, на уроке химии Нина Григорьевна могла спросить заодно правила русского языка или что-нибудь из биографии ученого. Наш директор была образцом во всем: и в преподавании предмета, и в манере общения, и во внешнем облике — высокая, красивая, одетая строго и со вкусом.

В нас воспитывали гражданственность, приучали к самостоятельности и ответственности за свои действия. Помню, когда меня выбрали секретарем комитета комсомола школы, я пошла к Нине Григорьевне и попросила комнату для ребят. Свободных помещений в здании не было, кроме... закрытого туалета на третьем этаже. Он ни разу не использовался по прямому назначению, там просто что-то хранили. К удивлению директора, я согласилась на такой вариант. Нам самим было предложено привести комнату в порядок. Сколько же субботников мы провели, чтобы убрать строительный мусор после перепланировки туалета!

Не знаю, что сейчас там находится, но при нас это было место встречи комсомольцев, где мы не только проводили заседания комитета ВЛКСМ, но и просто общались, спорили, писали сценарии вечеров, оформляли «Комсомольский прожектор», да и просто секретничали. Главное — нам было куда прийти со своими проблемами!

Нас уважали, с нами считались. И доверяли. Помню, в классе девятом, наверное, мы решили провести вечер Есенина. Попросили у Нины Григорьевны разрешения сделать это в самом уютном кабинете — биологии, утопающем в зелени. Она разрешила. Как раз был какой-то большой праздник, потому что на здании школы висел портрет Ленина, обрамленный разноцветными лампочками. Мы общий свет выключили, и получился полумрак, располагающий к откровениям. Весь вечер читали стихи, танцевали, пили чай. Никто нам не мешал, не проверял, не выпиваем ли мы там спиртное, — верили на слово.

Уверена, что у каждого нашего выпускника есть немало воспоминаний, которые до сих пор греют душу. Ведь школа для нас была вторым домом. Спасибо вам за это, дорогие учителя!

...В Новый год я опять повесила на елку любимую игрушку из далекого детства.

Людмила Соколова. Не химик и не физик

Во времена моего детства не принято было говорить «элитная школа», а «лучшая в городе» — да. Такой и была моя «первая школа» — вернее, средняя школа № 1 им. Татьяны Соломахи. Это имя вряд ли что скажет современному читателю, да и в шестидесятые его знали немногие. А мы знали. Потому что Татьяна училась в нашей школе, которая раньше была женской гимназией. Потом стала революционеркой, большевичкой и была зверски замучена белогвардейцами (так, во всяком случае, было написано на памятной доске).

Но для этой истории не так уж важно, именем кого называлась моя школа, как то, где она располагалась. Толстые стены из красного кирпича, необычная (для школ) архитектура, потолки под четыре метра и высокие окна — такая в городе Армавире она была одна. И что бы там ни говорили скептики, атмосфера в нашей школе была особая — возможно, благодаря этим старым, много чего повидавшим стенам, возможно, из-за учительского коллектива, что собрал под этой крышей директор Василий Степанович Яровой. Во всяком случае, некоторые преподаватели называли нас на «вы» и почти все относились как к личностям. Хотя и доставалось порой нашему «А» классу, первому по успеваемости и далеко не первому по поведению!

В кабинете химии мы все — и отличники, и безнадежные троечники — чувствовали себя маленькими и потерянными... А царила в этой строго организованной и четкой движущейся по своей орбите мини-вселенной химических таблиц, пробирок, колб и застывшего времени Лина Савельевна Халина. Высокая, худая, в неизменных черных костюмах с белоснежными блузами, она не кричала, не грозила нам карами небесными — только глянет на тебя пристально, сдвинув брови, и душа шлепалась прямиком в пятки.

Правда, все самое интересное, что происходило в мире, как эту химию неорганическую и органическую, которые она преподавала, можно применять в быту, почему девочкам полезно мыть пол не шваброй, а руками (а вот догадайтесь-ка!), — и прочую полезную информацию мы узнавали именно от нее.

И стишок я этот помню до сих пор:

*Сера, сера — буква S,
32 — атомный вес.
Сера в воздухе горит,
Получаем ангидрид.
Ангидрид плюс вода —
Это будет кислота.*

Тишина на ее у роках была!.. Скрип стула — как взрыв.

И взрывы, хоть и редко, но тоже были. Правда, слабенькие, так сказать локальные, — это уж когда совсем не то, что надо, не с тем, чем надо, сольешь. Но не это приводило ее в тихое бешенство. Человек педантичный и перфекционист (тогда мы слова этого не знали, но сейчас, вслушиваясь в его угрожающее звучание, понимаю, что это о ней, Лине Савельевне!), она любила, чтоб все было красиво, четко, по этому не дай бог тебе залить реактивами аккуратные наклейки на пробирках! Тут же в тишине раздавался ее крик:

— Этикеткой вверх!

Когда мы после выпуска собирались компанией, и кто-то из ребят начинал разливать вино, все

дружно вопили:

— Этикеткой вверх!

Наливающий (ну, чтоб сказать короче!) с деланным страхом на лице нервно поворачивал бутылку этикеткой вверх, и за этим следовал всеобщий вздох и истерический хохот! Постороннему не понять, что тут такого смешного, а для нас, переживших уроки химии, это была фишка.

Но если вы решили, что наша Лина Савельевна была страшным тираном, — ошибаетесь! Мы помним ее с теплотой. Кстати, и из химии много чего.

* * *

Конечно же, прозвища у нас в классе были, и учителям мы их тоже давали. Но они не были злобными, — чаще всего от имени или от фамилии. Один учитель был «Квадратом» — потому что звали его Иван Иванович. Вот фамилия слегка подгуляла, до «Куба» не дотянула: Сидоров.

Всегда подтянутый, с серебристой седой головой, он был еще не старым (на взгляд наших девчонок) и красивым. А от его фотографии в форме морского офицера, что висела на стенде «Наши учителя — участники Великой Отечественной войны», и вовсе глаз нельзя было оторвать!

Правда, у нас в классе он кроме скучнейшей астрономии ничего не должен был преподавать. Но наш десятый «А» вечно путал планы дирекции.

Вот, к примеру, прислали нам 1 сентября новую физичку. Как зовут — не помню, а вот ее грохочущий мотоцикл «Урал» с коляской, на котором она лихо подкатывала к школе — еще как! Выглядела она — не дай тебе боже!.. Я сама несколько лет проработала в школе, но и до этого четко усвоила, что встречают ученики по внешнему виду, и эта первая встреча закрепляется в их сознании... А физичка — по всему было видно — плевать хотела на свою внешность! Чего стоила прозрачная белая блузка с темно-вишневой «комбинашкой» под ней! И вечно мятая юбка в бантовку (с такими мягкими, бантовыми складками). И шлепанцы — тогда их называли пантолеты. Да ладно бы они, а если на грязные ноги с растрескавшимися пятками?! В общем, вы поняли, что то чувство неприязни, что мы к ней дружно испытывали, я пронесла через эти годы нерасплесканным.

Только не делайте скороспелых выводов, что мы встречали по одежке и... всё. Нет, провозжать ее по уму тоже как-то не получилось. Приученные предыдущей физичкой все записывать в тетрадь, мы дружно заполняли страницы формулами. А вот дома, готовясь к уроку, я была неприятно удивлена: мои записи сильно расходились с учебником. На следующий день мы обменялись информацией, и выяснилось, что это не я напутала — уф! — а весь класс добросовестно зафиксировал то, что напутала наша учительница.

Тут же мы отрядили к директору делегацию с протестом. Я всегда почему-то в нее попадала... И всегда повторялась одна и та же история: на суровый вопрос директора: «Что опять в десятом “А” случилось?» — все скромно молчали и толкали меня в бок. Василий Степанович поворачивался ко мне: «Ну, Соколова?..» И мне приходилось соло передавать наши общие требования.

Так было и в тот раз. Только в ту минуту в кабинет директора зашел завуч, Борис Антонович, которого все боялись просто до дрожи в коленках. Директор кивнул ему:

— Разберитесь.

И тот пошел с нами на урок разбираться. Нам от его присутствия было плоховато, а вот что чувствовала физичка-мотоциклистка, можно себе представить: под пристальным взглядом завуча она краснела, бледнела, запинаясь на каждом слове, а в каждой формуле делала ошибки... Нам даже жалко ее стало. Особенно когда в конце урока Борис Антонович глубоко вздохнул и сказал:

— Ну, ребята, а теперь попрощайтесь с учителем. Навсегда.

И физичка, взревев мотором, исчезла из нашей жизни.

Физику вести у нас стал Иван Иванович. Его никто не боялся, и я не боялась. Но физику как предмет продолжала ненавидеть. Она платила мне взаимностью... Когда на очередной контрольной я от страха выстукивала зубами «SOS», «Квадрат» подошел, заглянул в мою тетрадь, ткнул пальцем:

— Здесь — правильно. А это исправь...

И тихонько подсказал решение. Но даже тогда я умудрилась напутать и получила... четверку! Моему счастью не было предела, а Иван Иванович, раздавая листки, укоризненно покачал головой:

— Ах, соколики-соколики, — почему-то именно так, во множественном числе, — такой симпатичный человек и так несимпатично написала...

Класс дружно грохнул от смеха. С той поры я так и осталась «соколики», и за мной закрепился «титул» его симпатии.

Меня всегда интересовало: знают ли учителя свои клички? Ну, Иван Иванович уж точно знал. К этому и я приложила руку.

Дело было в мае: настроение, несмотря на скорые экзамены, отличное. Мы горячо что-то обсуждали, вероятно, связанное с физикой, потому что я сказала:

— И тут «Квадрат»... — повернула голову и в большом зеркале, что стояло у нас в холле, увидела отражение Ивана Ивановича, который внимательно прислушивался к нашему разговору...

Я на полуслове захлопнула рот и опустила на скамейку, а учитель молча проследовал дальше. Девчонки повалились от смеха. Тут подошли другие одноклассники и потребовали рассказать, о чем, собственно, смех. Ну, и я восстанавливаю мизансцену:

— Я говорю: «Тут “Квадрат”», поворачиваюсь к зеркалу и...

Да, я поворачиваюсь к зеркалу и... опять вижу в нем отражение Ивана Ивановича! Все на минуту замерли, а потом был такой хохот, что из учительской выбежали разбираться. Но нас уже и след простыл!

О физике я до сих пор вспоминаю с ужасом, а о нашем «Квадрате» — с теплотой! Нет-нет да и отзовется из прошлого звонок:

— Ну, соколики, как дела?..

Ирина Одинцова. «Кто там шагает правой?..»

Наш класс усиленно накачивали по патриотической и пионерской линии. Почему именно нам так «повезло»? Дело в том, что в 1961—1965 годах в московской школе № 19 — ныне им. В. Г. Белинского — нашим классным руководителем была Антонина Алексеевна Хохрякова (именуемая учениками «Двааха») — парторг школы и учитель русского языка и литературы.

А еще в нашем классе училась милая девочка по имени Мила — дочь старшего пионервожатого нашей школы. Поэтому градус советско-патриотического воспитания в нашем классе был более высоким, чем в других.

В шестом классе мы боролись за звание лучшего пионерского отряда Москвы и заняли второе место. Подведение итогов этого конкурса происходило в мае. Надо ли говорить, что все второе полугодие нас нещадно муштровали. Когда я читала повесть Куприна «Поединок», на меня нахлынули воспоминания о подготовке к нашему конкурсу. На каком-то этапе претенденты должны были промаршировать по Красной площади. А меня в это время одолевали подростковые фурункулы, поэтому на шее красовалась марлевая повязка. Кто-то из организаторов, увидев это, велел: «Немедленно снять с нее эту повязку!!!» Но я не далась и так и осталась при своей повязке.

У меня не осталось воспоминаний о каких-то случаях, происшествиях из ряда вон выходящих. У нас работали знающие учителя-предметники, оставившие о себе добрую память. Преподавал в нашей школе и знаменитый на всю Москву учитель литературы Д. Я. Райхин. Только нам не повезло с этим предметом, зато пионерско-патриотического угара было с избытком, настолько, что я твердо решила не вступать в комсомол и после восьмого класса перешла в другую школу.

С преподаванием русского языка наша «Двааха» кое-как справлялась. Но как только начиналась литература, меня одолевали уныние и тихая ярость, так как при мне издевались над классиками. Впрочем, примерно треть урока наша классная объясняла, что нам «нужно наклеить» для классной комнаты, или домашнего задания, или еще для чего-то. Значительная часть заданий по литературе состояла из каких-то поделок. Не радовало, что опять надо будет дома откуда-то вырезать и калечить какие-то издания, что-то клеить. Но немного грела мысль, на какое-то время наша учительница оставит в покое беззащитных классиков.

Объясню, что подразумеваю под издевательствами. Сначала мы услышали о Пушкине следующее: «Пушкин — складный писатель, толковый. Абсолютно чудное произведение создал». Когда изучали других поэтов и писателей, то их фамилии оказывались все в той же фразе на месте, где раньше стоял Пушкин. Таким образом, все русские классики оказались «складными» и «толковыми».

В шестом классе читали «Дубровского». Из-за болезни я не присутствовала на первых уроках, посвященных этой повести. «Двааха» в начале урока сказала: «Ребята, продолжим нашу работу». Сосед по парте разъяснил, что надо писать планы к главам «Дубровского». Пол-урока не могла свыкнуться с мыслью, что Пушкин без наших планов написал повесть, зачем же нам этим заниматься. Но спорить с «Дваахой» было себе дороже. Планы надо было нарисовать к главам XV—XVII, первые две — на страничку, последняя — чуть длиннее. Кое-как выдавила из себя три-четыре односложных пункта к каждой главе. На стене над столом учителя висел портрет Пушкина, и, как мне показалось, «Наше всё» вращал черными глазами и предпринимал другие отчаянные усилия, чтобы вместе с тяжелой рамой свалиться на голову нашей учительницы.

В конце урока «Двааха» призвала нас для проверки работ к учительскому столу. Стоя в этой унылой очереди, я поглядывала в тетрадки одноклассников и удивлялась, что у них по двадцать пять

— тридцать пунктов к каждой главе. У классика в этих главах предложений меньше, чем они насочиняли пунктов. Их классная хвалила, в мой же адрес прозвучало наставление: «Ты плохо поработала, надо писать пункты развернуто. Например: “Встреча Маши и Дубровского” с уточнением места и времени». Но я ничего переписывать не стала.

В седьмом классе разбирали «Мцыри». Прозвучал вопрос: «Добрался бы Мцыри до родины, если бы он не заблудился и не встретил барса?» Этот вопрос, думаю, поставил бы в тупик даже обладателей ученой степени в области литературы и исследователей творчества Лермонтова. Оказывается, правильный ответ: «Нет! Так как он не поднял монахов в монастыре на революцию».

Как-то по программе нам надлежало познакомиться с картиной «Бурлаки на Волге». Причем каждому — обязательно! — надо было иметь репродукцию картины. И в течение недели надо было ее где-то раздобыть. Мне кажется, если бы какой-то предприимчивый ученик позаимствовал картину из Русского музея Санкт-Петербурга, то «Двааха» не сочла бы это большим грехом, а даже похвалила за предприимчивость. И вот наступил долгожданный урок. Все понуро глядят на репродукции на своих партах, а на доске тоже висит картина внушительных размеров. Но смотреть на нее уже не хочется, — да простит нас Илья Ефимович Репин! — потому что все еще помнят, как сбились с ног в поисках. Учительница приняла величественную позу и произнесла: «Бурлаки тянут по Волге судно». В полной тишине раздался едва уловимый ухом смех «внутри себя» — мои одноклассники научились так смеяться.

Но это еще что?! К примеру, учительница литературы моего мужа тупо вызубривала текст учебника литературы и все это выдавала в классе, а неблагодарные ученики отслеживали это по книге и нагло подсказывали. А другая ее коллега при изучении «Войны и мира» внушала своим ученикам: «Ребята, Андрей, Наташа и Пьер должны вызывать у вас чувство умиления!»

Только почему-то умиляться категорически не хотелось...

Конечно, учитель литературы — многотрудная профессия. Низкий поклон тем из них, кто умеет увлечь своих учеников, ненавязчиво привить им любовь к чтению и — главное! — научить мыслить. Ну, и конечно же, — «сеять разумное, доброе, вечное».

Ольга Вельчинская. Встреча в метро

Кое-кто не любит московское метро. Дескать, духота, давка, миазмы, того гляди, с ног собьют... Короче, преисподняя. А для меня метро — увлекательная и плодотворная среда обитания. Где еще увидишь такие самозабвенные дуэты, такие замысловатые многофигурные композиции? Они возникают, клубятся и распадаются только в калейдоскопах эскалаторов, вагонов и переходов. Есть ли еще место на земле (или под землей), где среди человеческого множества можно так глубоко задуматься, так доверчиво уснуть, так сладко помедитировать? Личности подземных спутников интригуют, завораживают их лица, повадки и одеяния!

Бывает, оглушенная метросимфонией, утомленная напряженным ее звучанием, упрощаю созерцательную задачу — сосредотачиваюсь на одних только носках, ушах или шляпах пассажиров. В такую вот дыхательную паузу, посвященную ногам сидящих напротив граждан, наткнулась я взглядом на скрещенные, простодушно открытые взорам попутчиков женские ноги в туфлях на низком каблуке. Замечательные ноги, без варикозных вен, подагрических шишек и пигментных пятен. И хотя лично мне по душе ноги иной конфигурации, с более выразительным перепадом между икрой и

щиколоткой (только без излишней вычурности), а те, что напротив, огорчали излишней равномерностью по всей немалой своей длине, все же это были неплохие, уверенные в себе ноги. Они-то, качественные ноги визави, и заставили селезенку мою екнуть.

Бледнолицая, с круглыми темными глазами на плосковатой скуластой физиономии, юная женщина в синем тренировочном костюме, отнюдь не дурнушка, вошла в наш 2-й класс «В» в сентябре 1956 года. Обыкновенная на первый взгляд девушка с толстой косой, питоном свернувшейся на темени. Зловещий питон не насторожил нас. Не встревожило и многообещающее имя-отчество — Жанна Феликсовна. Нам было по восемь лет, младенческая интуиция уже не срабатывала, а та, что приходит с опытом, еще не явилась. Мы восхитились молодостью новой учительницы, спортивными ее разрядами, чудесной косой. Не подозревая о предстоящем ужасе, умилились обслонявленному младенцу на фото — крошечной учительской дочке. Но с первого же урока «физ-ры», происходившего по причине нашей незначительности не в спортивном зале, а в коридоре четвертого этажа, того самого, украшенного живописными сценами из жизни товарища Сталина, стало ясно: мы влипли, попали в переплет.

Полная сил и молодой ярости, Жанна Феликсовна сразу же принялась обучать нас ориентироваться в пространстве. Помнится, что и до встречи с Жанной Феликсовной я различала «право» и «лево». Но если раньше различала, то теперь различать перестала. Все первое полугодие, в бешеном темпе, под истошные вопли: «Направо! Налево! Налево! Направо!» — сорок пять кроликов, очумев от ужаса и ничего не соображая, крутились под питоньим оком громкоголосой фурии. На выполнение команды отпускалась доля секунды, но от страха она исполнялась с точностью до наоборот. Учительница не деликатничала, самолюбий не щадила, ярилась, а безнадежных тупиц безжалостно вышвыривала из рядов. А я как раз и была тупицей!

Мы не были безразличны нашей учительнице или противны ей. Жанна Феликсовна не скучала с нами. Адреналин обильно сочился из молодых ее пор, а временами вскипал и бил фонтаном. К несчастью, я оказалась среди тех, кто способствовал особенно бурному выделению этого судьбоносного вещества — путала «право» и «лево», смехотворно медленно бегала, прыгала безобразно близко и низко, промахивалась, пытаясь ударить по мячу. Кроме спортивной несостоятельности имелось во мне еще нечто, что с первого же взгляда вызвало у Жанны Феликсовны устойчивую идиосинкразию. Может быть, во всем виноваты очки? И сами по себе во времена моего детства очкарики не вызывали у окружающих большой симпатии, а уж в таких очках, как у меня, и подавно.

Очки и вправду были необыкновенные, точь-в-точь как у Александра Сергеевича Грибоедова, автора бессмертной комедии в четырех действиях. Еще в первом классе я то и дело жаловалась на головную боль, а Тамара Ивановна, строгая наша учительница со славным чекистским прошлым, ничего не принимала на веру и заподозрила меня в симуляции. «Доверяй, но проверяй!» — основополагающий лозунг школьного детства. Отправились к врачам, добрались до окулиста, и что же? Диагноз — дальновзоркость и астигматизм!

Мама пришла в восторг. Оказывается, с детства она мечтала о таких очках, как у Грибоедова, — кругленьких, в тоненькой золотой оправе. Самой маме не повезло, у нее было хорошее зрение, но появилась возможность нацепить грибоедовские очки на собственную дочь! Радостное известие взбудрило вымотанную за день маму, мы ринулись на Арбат к знакомому оптику Беркину и вслед за снежной поземкой завихрились в подворотню того самого, еще не знаменитого двора, где тогда уже жил мало кому известный Булат Окуджава.

Скорее всего, Беркин и Окуджава сталкивались в своей подворотне, а может быть, и

раскланивались. Вполне вероятно, что Беркин помнил Окуджаву маленьким мальчиком, а Окуджаву Беркина — не старым еще человеком. Как бы то ни было, но в тот вечер из подворотни со знаменитым будущим мы свернули направо, спустились в полуподвал и очутились в небольшой золотистой комнате. Оптик Беркин оказался строгим старичком с венчиком седых волос и в очках с почти шарообразными стеклами. То есть «сапожник без сапог» сказано не про нашего старичка-оптика. У нашего оптика были великолепные очки!

Посреди комнаты на круглом столе под золотистым низко свисавшим абажуром с густой бахромой обнаружилась обувная коробка, полная разнообразнейших оправ без стекол: роговых, железных, пластмассовых. Мама отвергла все и твердо объяснила, какая именно нужна нам. Старичок призадумался, но пообещал изготовить то, что нужно. И действительно, через два дня у меня появились уморительные очки — маленькие, кругленькие, в железной оправе золотого цвета, с тоненькими дужками. Одним словом, они явились на свет одновременно и по соседству — ранние песни Окуджавы и мои первые грибоедовские очки. Первые потому, что были и вторые, и третьи, и четвертые. Я росла, и вместе со мной подрастала моя голова. Расширялись скулы, утолщалась переносица, что-то происходило с ушами, удлинялся, ко всеобщему огорчению, нос. И хотя глаза по-прежнему оставались маленькими, раз в год приходилось заказывать новые очки.

Наступала очередная зима, и теперь уже с папой мы сворачивали в арбатскую подворотню и спускались в полуподвал оптика. Старичок Беркин твердо усвоил мамины требования, модель очков оставалась прежней, грибоедовской. В домашней кунсткамере хранится несколько пар грибоедовских очков, от крошечных до почти взрослых, совсем как в анекдоте про скелет Чапаева в детстве. Удивительные цепочки умудряется выстраивать жизнь — ничтожная детская дальноркость посредством арбатской подворотни оказывается связанной с октаэдрическим алмазом «Шах» весом в 87 карат, поднесенным императору Николаю в 1829 году персидским принцем Хозроем в качестве контрибуции за растерзанного российского посла... и за растоптанные его очки.

Итак, очки. Увы, но о главном изъяне нашей семьи я знала с глубоко дошкольных времен. И родители мои, и бабушка с дедушкой, и тетушка были самой настоящей «интелехенцией». А вся «интелехенция» поголовно носила разные виды очков, и за это ее, «интелехенцию» эту, в нашем дворе откровенно презирали. Тетушка моя, например, носила круглые очки в толстой роговой оправе. Бабушка с дедушкой — пенсне, овальные стеклышки без оправы и дужек, нервно подрагивающие, но чудом удерживающиеся на переносице с помощью какой-то эфемерной прищепки. У родителей же очков по молодости лет не было, а значит, и у меня оставался шанс сойти во дворе за свою. Нацепив грибоедовские очки, я раз и навсегда рассталась с иллюзиями и принялась нести свой собственный «интелехенский» крест. Действительно ли социально я была так далека от учительницы физкультуры, или причины злокачественной идиосинкразии в ином?

Однажды случилось непоправимое: я забыла дома наиважнейший элемент физкультурной формы — плоские кожаные тапочки со шнурками. Не искушенная в уловках, тупо соврала, будто плохо себя чувствую.

— В медпункт! Без справки не возвращаться! — проорала Жанна Феликсовна (учительница наша не говорила — она орала и вопила жестяным голосом). Четырехэтажный спуск в медпункт я бы охотно сравнила с подъемом на Голгофу, если бы в ту пору подозревала об этом маршруте. Однако доплелась кое-как, поскреблась в дверь и она сразу же открылась.

Врата отворила женщина в белом одеянии, гладко-темноволосая, с пучком, смугло-румяная и приветливая. Дрожащим голосом я невнятно пробормотала имя Жанны Феликсовны, и в глазах женщины-ангела сверкнула молния. Сезам открылся, меня усадили на топчан, обласкали, утешили и

отпустили со спасительной справкой в кулаке, предписывавшей немедленно отпустить ребенка домой. Никакой температуры у меня не было и в помине, просто женщина-ангел знала о незаурядных возможностях Жанны Феликсовны и спасла меня от расправы.

Прошло не более пятнадцати лет, и я явилась на свадьбу подруги Иры. Позвонила в дверь квартиры юго-западной пятиэтажки, и точно так же, как это уже произошло однажды, дверь отворилась, а за нею обнаружилась давняя моя спасительница, в новой реальности оказавшаяся Ириной свекровью.

В те годы, когда Жанна Феликсовна преподавала нам физкультуру, высочайшего качества ее ноги оценить не могли. В те далекие времена она носила синие тренировочные штаны, довольно складные, даже щегольские, на коленях почти не вытянутые. Между тем, окончив четвертый класс, лето, отделявшее нас от пятого, мы провели в эйфории, уверенные, что расстались с Жанной Феликсовной навсегда, навеки оставили ее в начальной школе. Ужас обуял нас, когда на первом же уроке ботаники уверенным спортивным шагом в класс вошла Жанна Феликсовна, теперь уже не в штанах, а в юбке. Кстати говоря, в максимально короткой по тем пуританским временам юбке. Вот при каких обстоятельствах встретилась я лицом к лицу с этими самыми ногами во всей их красе. А встретившись раз, посмотрелась вдоволь. Опасаясь питоньего взора учительницы, годами смотрела на ее ноги.

Оказалось, что пока мы получали начальное образование, Жанна Феликсовна приобретала высшее и теперь выступала в новом качестве. За ботаникой последовала зоология, за зоологией биология. Но и биологического диплома способной женщине показалось мало, диапазон ее знаний продолжал расширяться, и, когда к прочим предметам добавилась химия, она взялась преподавать и ее. Одним словом, у явления под названием «Жанна Феликсовна» не оказалось ни конца, ни края. На нескончаемом совместном пути учительница наша ни разу не проявила слабости, во всех ситуациях была ровно беспощадна, в каждом провидела и разоблачала мерзостное, такое, о чем сами мы и не догадывались. В итоге ледящее дыхание педагога-универсала навсегда отвратило меня от спорта, подморозило множество встреченных в жизни тычинок, пестиков и семядолей, коснулось простейших и пресмыкающихся, внушило стойкий негатив к отдельным неорганическим соединениям и к большинству органических структур.

Добрый Хрущев оживил свою эпоху заманчивым обещанием: дескать, нынешнее поколение советских людей так будет жить при коммунизме. Назначены были сроки, и солнечным днем ранней осени в разлинованном классиками школьном дворе мы высчитывали, сколько же лет нам стукнет, когда придет это потрясающее время. Картина складывалась неутешительная: выходило, что к моменту наступления райской жизни мы станем тридцати-с-чем-то-летними старушками и старичками, а в таком возрасте нам вряд ли понадобятся обещанные блага. Какие уж там потребности в тридцать-то с чем-то лет! И всё же коммунистические перспективы приятно возбуждали. Но как же я растерялась, когда в один прекрасный день Жанна Феликсовна величественно простерла длань и, указав на меня перстом (а персты тоже были отменные, качеством и прямым ногам не уступавшие), произнесла с пафосом, как проклинала:

— А вот ее мы в коммунизм не возьмем!

Не такая я была дура и понимала, что технически не взять меня в коммунизм будет не так-то просто, но все равно ощутила себя отщепенцем, изгоем. Перспектива оставить меня за бортом грядущего коммунизма показалась Жанне Феликсовне чересчур отдаленной, ей захотелось немедленной расправы, и она выставила меня из класса, запретив впредь переступать его порог. В чем состояла моя провинность, не помню, ведь я не была ни хулиганкой, ни двоечницей, а в те времена —

даже прогульщицей. Бедному папе пришлось идти на поклон к яростной женщине, вымалывать прощение.

Отвлечься от этого ужаса, отогреться душой удавалось на уроке домоводства под крылом доброй Веры Петровны. Прежде приходилось напяливать черные сатиновые халаты и в мрачноватом полуподвальном помещении, склонившись над тисками, выпиливать ножовками лопатки для неведомого детдома и крюки непонятого назначения. Уроки домоводства сменили слесарное дело, и мы принялись усваивать полезные для будущей женской жизни знания: учились заваривать чай, сооружали подобие торта из смазанного вареной сгущенкой магазинного печенья, кроили по косой бейку, обтачивали проймы, изучали тамбурный шов и манипулировали с вытачками разнообразных конфигураций. По ходу дела Вера Петровна пыталась дать нам хоть какое-то представление о цивилизованной жизни и приличных манерах, скорректировать дикарское наше воспитание. С помощью этой рыхлой, дряхлеющей, но элегантно дамы, принадлежавшей к неведомым нам кругам впавшего в упадок бомонда, мы оказывались в ином измерении.

Вера Петровна не укоряла нас убиенными пионерами-героями, которых мы и так любили без памяти, не сулила светлого будущего. На ее уроках мы жили сегодняшним днем и обсуждали сюжеты позабавнее. Для наглядности Вера Петровна выбрала конкретную фигуру. В центре постоянного и пристального внимания оказалась девочка, наша ровесница — принцесса княжества Монако. Вера Петровна приносила в класс невиданные журналы, и из-под чуть-чуть приподнявшегося железного занавеса мы рассматривали принцессу, удивлялись веселой ее мордашке, приветливой улыбке, красивым принцессиным платьям, купальникам и шляпкам.

Мы и раньше догадывались о существовании иной жизни, более того, подглядывали за ней, ибо многочисленные школьные окна, выходящие в переулок, смотрели в одно-единственное, но гигантское окно иностранного посольства, занимавшего небывалой красоты особняк, выстроенный архитектором Шехтелем на пике русского модерна. Мы учились во вторую смену и вечерами, с четвертого школьного этажа, из унылого актового зала, окруженного по периметру заборчиком заклинаний, выписанных по кумачу аккуратными белыми буквами, в огромном, высотой с дом, окне особняка напротив видели другую залу — с камином, сияющей люстрой и зеркальным паркетом. Девочка нашего возраста в белой пачке отражалась в сверкающем паркете и под присмотром тонкой женщины в черном бесконечно повторяла балетные па.

Иностранная девочка училась танцевать, а мы с туповатым любопытством пялились на чужую, похожую на мираж жизнь. Ну а Вера Петровна взяла да и приблизила невероятную эту жизнь, остроумно вплела в учебный процесс не сказочную, а всамделишную, современную принцессу. Вера Петровна не развивала в нас комплекса Элочки Щукиной, мы не завидовали принцессе, а изучали фасоны ее платьев и пытались сшить себе похожие. Плели из скрученной в жгуты гофрированной бумаги точно такие же шляпки, как у принцессы, а для прочности и нарядного блеска покрывали их канцелярским клеем. На пляжных фотографиях детскую грудь принцессы Монако прикрывала узенькая полоска на бретельках, и мы загорелись идеей соорудить к лету такой же предмет туалета. На своих уроках Вера Петровна делилась с нами незатейливыми, но полезными житейскими сведениями, о которых позабыли и мамы наши, и бабушки, у кого они были.

Увлеченно следя за жизнью принцессы, внимательно выслушивая наставления Веры Петровны, я ни на минуту не забывала о семейной точке зрения, с которой воспринимались подобные занимательные сюжеты у нас дома. Дома высмеивали пошлость и презирали мещанство. А как еще назвать все эти женские секретки и уловки, если не пошлостью и мещанством? Рассказами из репертуара Веры Петровны я так успешно смешила домашних, что тетушкина подружка Наташа,

писавшая уморительные пародии и осваивавшая в те времена плодородную тему советской школы, чрезвычайно ими заинтересовалась и раззадорилась побеседовать с Верой Петровной, намереваясь высмеять по-доброму мещанские грезы и дурацкие бредни — весь этот slashавый ливер, которым добрая женщина фаршировала податливые наши мозги.

А надо сказать, что Наташа, блистательно боровшаяся с вездесущим мещанством и повсеместным засильем воинствующей пошлости, была человеком особенной судьбы. Ребенком она очутилась в Харбине, там же окончила гимназию, из Харбина перебралась в Шанхай, занялась журналистикой, а в конце 40-х возвратилась в СССР. Поначалу Наташа попала в Казань, но вскоре поступила в Литературный институт имени А. И. Герцена на Тверском бульваре в Москве и принялась мыкаться по столичным углам и подвалам. Но без московской прописки и по подвалам не помыкаешься, поэтому тетушка моя, горячо подружившаяся с Наташей, прописала ее в своей комнате. В те времена Наташа писала не только пародии и фельетоны, но еще и длинный автобиографический роман. А потом вышла замуж за своего профессора — известного ученого, интеллектуала и остролова, — купила жилье в писательском доме и жизнь свою стабилизировала.

Итак, заинтересовавшись преподаванием домоводства в советской школе вообще и ролью принцессы Монако в этом процессе в частности, Наташа решила посадить меня в свою «Волгу» и покатать по Москве. Предполагалось, что в непринужденной дорожной атмосфере мы поболтаем, Наташа соберет материал, углубит его и разовьет и в результате автомобильной прогулки родится новая блистательная пародия.

Мне уже приходилось ездить в Наташиной серо-голубой «Волге». Дело в том, что Наташа была из тех, кто состоял при Анне Андреевне Ахматовой, в команде ее фанатов. И помимо прочих обязанностей выполняла еще и шоферские. Собственных машин в те времена не было почти ни у кого, и Наташа возила Анну Андреевну в гости и на прогулки. Раза два или три в загородные поездки с поэтом брали и меня. Заманчиво поделиться впечатлениями от встреч с великой современницей, но, будучи подростком стеснительным, я глаза поднять боялась, а не то чтобы взглянуть в лицо Ахматовой. И даже букетик белых весенних цветочков, собранный по тетушкиному наущению на лесной архангельской обочине, помнится, протянула Анне Андреевне набычившись, насупившись, полуотвернувшись. Сидя на заднем сиденье Наташиной «Волги», плетясь в арьергарде по мартовскому Коломенскому или майскому Архангельскому, рассматривала затылок поэта, серебряные волосы, массивную фигуру (вид сзади). А когда Ахматова величаво поворачивала голову к собеседнице, мне удавалось разглядеть ухо, щеку, веко, а иногда и знаменитый профиль целиком. Увы, я не запомнила ни одного слова из тех, что произносила Анна Андреевна на прогулке и в машине, по пути туда и обратно. Слова Ахматовой меня, малолетнюю дуру, интересовали меньше Наташиных острот, действительно отменных. Только однажды увидела я поэта анфас, да и то против света. 20 марта 1960 года (дата установлена по тетушкиному дневнику) Анна Андреевна побывала у нас и в тот момент, когда я вошла в комнату, стояла спиной к окну. В тот раз я увидела Ахматову точно такой, какой вижу вот уже много лет на подаренной мне фотографии. Фотография смутная, рука придерживает у горла вязаную шаль, лицо изначально отдалено во времени, смягчено и размыто в пространстве. Будто человек смотрит не из сегодняшнего (тогдашнего) дня и не из вчерашнего, а из будущего и знает обо всем, чему предстоит случиться.

А на фото, сделанном 17 мая 1957 года в фонетической лаборатории МГУ, присутствуют трое: профессор с запутавшейся в бороде растроганной полуулыбкой, умиленная Наташа и Ахматова с лицом, в противоположность слушателям, строгим, даже надменным, с головою, едва повернутой к фотографу. Отчего веки Анны Андреевны так скорбно прикрыты, почему вокруг носа ее и губ такие суровые складки, во что так проникновенно и ласково вслушиваются Наташа с профессором? Не узнать никогда.

Из-за подростковой застенчивости не разглядела я как следует лица живого поэта. А 5 марта 1966 года Ахматова скончалась, и в одно из промозглых утр вместо школы я отправилась на гражданскую панихиду в морг Института имени Склифосовского. Долго искала калитку в бетонном заборе, нашла наконец, поднялась по лестнице и вошла в длинное помещение. И в дальнем его торце, ближе к мутному окну, увидела стол. А на столе — Анну Ахматову. В эту раннюю минуту в помещении было пустынно, чьи-то бесплотные силуэты почти сливались со стенами. Я смутилась и спустилась во двор, усыпанный колючим ледяным крошевом. Минут через двадцать потянулся народ, и с этим потоком я снова вошла внутрь. Людей становилось все больше, а уходить не хотелось. И чтобы не мешать человеческому коловращению, я поступила так же, как седая стриженная женщина рядом, — влезла на скамью у стены. Поток вливался в дверной проем, обтекал гроб и вытекал из помещения. Некоторые проходили круг не по одному разу, кое-кто принес вербы. Я никого не знала в лицо и из человеческого множества идентифицировала только Евтушенко, с любопытством Буратино вертевшего головкой на петушьей шее, и многозначительную, закутанную в шарфы чету Слуцких. Возле стола колыхалась прозрачная Аня Каминская — девушка-анемон. И вдове выражение ее лица, и скорбная поза, и лишние хлопотливые движения до чрезмерности соответствовали моменту. В серебристом вербном оперении, в чем-то сиреневом, лежала на белом столе Анна Ахматова, люди вращались вокруг нее, и со скамеечной высоты происходившее казалось (и оказалось!) воронкой, втягивавшей прощавшихся в свой водоворот.

На скамейке я простояла до конца скорбной церемонии. Потом все столпились во дворе, кем-то было сказано что-то, и пока выносили гроб и втискивали его в автобус, Виктор Ефимович Ардов — пожилой господин с тростью, приземистый Мефистофель в пальто песочного цвета, со ступеней морга строго scomандовал всем расходиться. Гроб с телом поэта отправился в аэропорт, оттуда в Ленинград, в Никольский собор, в Комарово, а я села в троллейбус «Б» и поехала в школу. Успела к пятому уроку, к химии. В классе сказала, что была на похоронах родственницы. Мне и в голову не пришло назвать имени Ахматовой, я точно знала, что никто из моих одноклассников ни разу его не слышал.

Возвращаясь к Наташе и к нашей заранее запланированной поездке. Высоченная и длинноногая, обладавшая внешностью из разряда «на грани прекрасного и ужасного», Наташа размашисто двигалась, оживленно реагировала на окружающую жизнь, носила свободные пальто верблюжьего цвета, удобные туфли на низком каблучке и мягкие клетчатые шарфы. То есть отличалась ненашенской элегантностью. А как Наташа курила! Как эффектно держала папиросу, как шикарно ею затягивалась, какой роскошный дым выпускала из ноздрей! Наташа и без того здорово смахивала на лошадь, а с дымом из ноздрей — на Сивку-бурку вещую Каурку.

Прежде чем отправиться в путь, Наташа совершила ритуал, странноватый с точки зрения человека 90-х годов текущего (вытекающего) столетия. Привычным жестом Наташа достала из кожаной сумки небольшого блестящего оленя и водрузила его на капот автомобиля. Дело в том, что статуэтки оленей, выполненные из хромированной стали, украшали первые выпуски автомобиля «Волга». Оленю полагалось создавать поэтический образ — лететь впереди авто и будто бы влечь его за собою. Но стоило только оленям появиться на московских улицах, как на них началась охота. Вандалы безжалостно отламывали оленей, и пришлось усовершенствовать конструкцию — сделать животных съёмными. Выходя из машины, Наташа снимала оленя со штыря и помещала его в сумку, а отправляясь в путь, из сумки вытаскивала и на штырь насаживала. Застыв в хромированном экстазе, олень тем не менее вел подвижный образ жизни: вместе с Наташей посещал редакцию сатирического журнала и множество московских домов (в том числе и «легендарную Ордынку»).

Вместе с оленем в недрах иноземной Наташиной сумки путешествовали другие замечательные предметы: кожаный блокнот, самопишущая ручка «Паркер», не виданная в наших широтах зажигалка.

Из тех же глубин Наташа извлекала большую круглую пудреницу, шикарным жестом раскрывала ее, откидывала голову и, победоносно глядя в зеркальце, размашисто пудрилась пуховкой. Наташа заботилась о сохранности слоя и то и дело, не жеманясь, публично поправляла лицо. Манипуляция с пудреницей была фирменным Наташиным жестом, чередой жестов, а облачко пудры то и дело клубилось вокруг вздернутого Наташиного носа. Разумеется, яркая, почти экзотическая в тогдашней московской жизни Наташа не могла не стать героиней эффектных городских легенд. Один из апокрифов родился благодаря этой самой круглой пудренице, многолетней спутнице и соседке упоминавшегося выше хромированного оленя.

Итак, легенда гласит, что в одном достойнейшем доме происходило застолье, и гости тоже были найдостойнейшие, под стать дому. Велись разговоры, и Наташа по своему обыкновению то и дело доставала из сумки пудреницу и пудрилась. К тому, что пудреница всегда у Наташи под рукой, все давно привыкли. Одним словом, народ беседовал, а Наташа пудрилась и пудрилась. Внезапно хозяин дома, профессиональный сатирик и один из остроумнейших людей своей эпохи (а статус этот предполагает быстроту реакции), как бы нечаянно выбил из Наташиных рук раскрытую пудреницу. Немыслимый поступок и невероятный результат — пудреница упала, пудра рассыпалась, а под ее слоем обнаружился крошечный магнитофончик!

Вроде бы неслучайно хозяин дома проявил в тот вечер такую расторопность. Будто бы был он незадолго до того вызван в соответствующее учреждение, где ему предъявили текст, произнесенный в его доме лишь однажды в присутствии некоторого количества гостей. Тех же гостей, в том же составе, собрали снова, но теперь хозяин был настороже. То есть устроил ловушку, в которую и угодила писательница. В конце сюжета сатирик-хозяин якобы спустил сатирика-гостью с лестницы. Как это произошло технически — неясно, Наташа была крупной спортивной женщиной.

Кое-кого убеждала в достоверности происшествия именно эта опознавательная деталь — вечные Наташины манипуляции с пудреницей. Судя по всему, это действительно легенда, потому что остракизму Наташа не подверглась, продолжала водиться с достойными людьми (а достойные люди охотно водились с нею, высоко ценили блистательный Наташин юмор и незаурядное ее обаяние) и в 80-е годы издала книгу воспоминаний о своей жизни, об Ахматовой и о ее окружении.

К предстоящей поездке в Наташиной «Волге» я подготовилась, запасла множество уморительных рассказиков, собиралась блеснуть остроумием и от нетерпения ерзала на кожаном сиденье. Как вдруг, глядя сквозь ветровое стекло на то, как Наташа насаживает на штырь оленя, сообразила, что точно так же собираюсь поступить с Верой Петровной: хочу выставить на осмеяние добрую, страдающую астмой женщину, с самыми лучшими намерениями делившуюся со мной уютными своими знаниями. Представив, какой деликатес изготавит из моих рассказиков Наташа, что за форшмак получится из Веры Петровны и принцессы Монако, из всех наших вытачек и пройм, бретелек и славных разговоров, я ужаснулась и сникла. К счастью, прозрение пришло вовремя, в потасовке совести с синдромом «ради красного словца не пожалею родного отца» в тот раз победила совесть, подсказала выход, и вместо отрететированных хлестких рассказиков я пробубнила нечто скучновато-невнятное, истинные перлы утаив. Наташа заподозрила неладное, попыталась меня разговорить, но безуспешно, и, поколесив минут двадцать по центру, вернула домой. Наташу я разочаровала, но зато по-прежнему дважды в неделю в нелегкой школьной жизни наступала успокоительная пауза и под крылом доброй женщины мы укрывались от жаждущего свежей крови педагога-вурдалака.

С годами «ндрав» Жанны Феликсовны не смягчался. Манией величия я не страдала и не считала, что меня ненавидят больше остального школьного поголовья. Однако сознавала, что в этом ряду я не

из последних. А вот с клиническими хулиганами Жанна Феликсовна жила душа в душу, с ними была участлива и дружелюбна. Одни только настоящие и будущие уголовники, непосредственно из школы попадавшие в колонии, не боялись ярости нашей учительницы.

Остальные, ярости боявшиеся, учили химию не по обычным школьным учебникам, а по толстому Некрасову для студентов химических вузов. Времена стояли хрущевские, лозунг «коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны» позиции Жанны Феликсовны укреплял, от страха мы выучивали химию назубок и невольно втягивались в предмет. Выбора не оставалось — народ брел по химической стезе, а педагогические методы Жанны Феликсовны подтверждали право на существование. Только за большие деньги можно было подготовить на химфак так же успешно, как это делала «за бесплатно» Жанна Феликсовна. Из года в год лоно недюжинного педагога исторгало полчища химиков, матерью которых была сама Жанна Феликсовна, а отцом этих легионов — Ужас, ею же рожденный. То есть ситуация складывалась однозначно кровосмесительная, инцест в квадрате.

Но однажды случилось невероятное — мы с Жанной Феликсовной оказались по одну сторону баррикады. Дело в том, что молодому Острову Свободы с его неокрепшей независимостью понадобилась наша с Жанной Феликсовной солидарность. А мыто готовы были наизнанку вывернуться, лишь бы угодить бородатому душе Фиделю, бившемуся в бухте Кочинос с американскими злыднями. Дело в том, что учащиеся нашей школы и весь его педагогический коллектив любили Остров Свободы с особенной страстью. В отличие от других приверженцев героического острова нас отделял от него не здоровенный кусок материка и огромный океанище, а всего лишь неширокий переулочек, ибо посольство Кубы располагалось наискосок от школы и занимало нарядный особнячок с садом за высокой каменной оградой. И если посольская домина того же архитектурного стиля, но по другую сторону от школы, была бесконечно чужда нам, то кубинский домишко казался близким и родным.

Само собой, стоило только агрессорам посягнуть на независимость соседей, как уроки отменили, и мы наполнили узенький переулочек громокипящей своей солидарностью.

— Куба си! Янки но! — скандировали мы, обезумев от сопереживания. Сбе́г али домой, похлебали холодного супа из алюминиевых кастрюлек, вернулись обратно и до позднего вечера поддерживали страдальцев. Удивляло только, что сами кубинцы не выглядели обеспокоенными. Усатые молодцы в вельветовых пиджаках, развалившись в оконных проемах и свесив наружу огромные ножищи в ярких носках и замшевых штиблетах, зубасто хохотали и поощрительно помахивали загорелыми ручищами с браслетами на волосатых запястьях. Легко представить, как выглядела из их окон, с высоты куриного полета, наша обтерханная, заполошно голосящая солидарная масса. Но Жанна Феликсовна была рядом с нами, она пылала тем же гневом, что и мы, и возникало чудесное ощущение: в главном мы заодно!

Время шло, и Жанна Феликсовна помягчала ко мне. Обнаружилось, что я могу изготавливать химические стенгазеты со смешными рисунками, и их не стыдно выставить на конкурс. А конкурсы и олимпиады Жанна Феликсовна обожала. Тем более что недостатка в новых жертвах не ощущалось, каждый учебный год поставлял педагогу парные (в смысле свеженькие). Концентрации ответной нелюбви Жанна Феликсовна не замечала и свою подростковую, до оторопи похожую на маму дочь бесстрашно определила в нашу школу.

Коллективная ненависть рождала легенды. Якобы однажды окончился педсовет, и из учительской вывалилась гурьба педагогов. Прижимая к грудям и подмышкам классные журналы, учительницы заспешили по своим делам. А навстречу им — прошлогодние выпускники, то ли просто

так зашедшие в школу, то ли по делу. И среди них — белокурая Лена Киреева, девушка-лидер, вдоволь натерпевшаяся от Жанны Феликсовны и угодившая таки в расположенный неподалеку от школы Институт тонкой химической технологии. Завидев Лену, не помнящая собственного зла Жанна Феликсовна разулыбалась, раскрыла объятия, воскликнула нечто радостное. Но вместо встречных объятий Лена притормозила, взглянула исподлобья на мучительницу, набычилась, да и плюнула ей под ноги (свидетели уверяли, харкнула). Скорее всего, случая этого не было, а была стремившаяся к материализации мечты, навязавшая Лене роль школьного Робин Гуда.

Однако пора возвращаться во взрослую жизнь, в вагон метро. И так, гляжу я на знакомые до боли ноги визави и думаю: да может ли быть, чтобы по прошествии стольких лет они ничуть не изменились? Рассуждаю вот так, а глаза поднять по школьному обыкновению побаиваюсь. Поборолась сама с собой, да и переборола первобытный ужас. Так и есть, прямо из детства на меня смотрели в упор те самые, питоньи, черные глаза без блеска, глаза Жанны Феликсовны. Насмешливо глядели, пристально, выжидающе. Видно, не впервой им было испытывать свою власть на повзрослевших, постаревших, но все еще трепещущих бывших жертвах. Да и бывших ли, если лет двадцать после нашего расставания Жанна Феликсовна все еще являлась мне в ночных кошмарах?

В бледном плосковатом лице педагога изменений оказалось побольше, чем в неподвластных времени ногах. Но это была она, наша учительница, отравившая десяток лет из нескольких отпущенных на жизнь десятилетий. Я не успела сообразить, как следует поступить: изумиться ли встрече, поинтересоваться ли жизнью, предаться ли воспоминаниям? Мне было не до размышлений — к горлу подступил комок, и я едва успела выскочить из вагона. Желудочный (или мозговой?) спазм, по счастью, совпал с остановкой. А что следовало сделать, если б организм среагировал помягче? Может, тоже плюнуть под ноги?

Загадочную концовку школьного мемуара подбросила сама жизнь. В прошлом году дядюшка мой, кандидат химических наук и глубокий пенсионер, в поисках приработка набрел на мою родную школу. Предшественница его, целую вечность преподававшая здесь химию (по контексту легко догадаться, как звали эту отличницу народного образования), вышла на пенсию, и место оказалось вакантным. Дядюшке понравилась и сама школа, и прекрасно оборудованный химический кабинет. Из личных вещей прежнего педагога остался в лаборантской один-единственный неожиданный предмет — плетеный кожаный хлыстик. То ли учительница наша увлеклась с годами верховой ездой, то ли какое-то иное назначение было у хлыстика... Все-таки интересно, как использовалась плеточка до того, как оказалась в руках двоюродного моего дядюшки?

Наталья Вартанян. Разноцветный бублик времени...

Если закрыть глаза и настроиться на программу «дорога в школу», тело тут же послушно реагирует. Как ни странно, оно за эти десятки прошедших лет ничего не забыло и, отзываясь на пароль, как на машине времени, запросто переносит меня в ту давнишнюю реальность. Вот я в своем родном Павловске привычным движением открываю дверь, выхожу на лестничную площадку, вот поворачиваю направо и сбегаю вниз по лестнице. Мои ноги «на ощупь» помнят все ступеньки, под рукой скользят деревянные перила. Раз, два, три лестничных марша. Внизу слева — почтовый ящик с дырочками, из которого на обратном пути привычно выковыриваю газеты и журналы. Потом выхожу на улицу. Я помню, под каким углом надо повернуть на тропинку, ведущую к школе. Все изгибы маршрута помню не головой, а всей собой; так, наверное, запоминают свой маршрут перелетные птицы.

В школу и из школы, в которой я проучилась все десять лет начиная с 1964 года, я чаще всего носилась очень быстро. Утром — потому что любила поспать, а днем — из-за Марины Ивановны.

Судьба определила Марину Ивановну учить детей русскому языку и литературе, хотя по ее темпераменту и размаху натуры ей бы куда-нибудь на баррикады. Учителя литературы и русского языка — это вообще особое племя неистовых и одержимых маньяков, разной степени и свойств «маньячности». Видимо, таково неизбежное влияние густого концентрата энергий, заключенного в русской классике. Вот и наша Марина Ивановна не была исключением. Больше всего она напоминала мне Фиделя Кастро — своим горящим взором, мощным раскатистым низким голосом и поразительной способностью без малейших признаков усталости часами произносить пламенные речи невнятного содержания.

Однажды, когда я училась классе в шестом или седьмом, папа — уж и не помню, как это чудо приключилось, — оказался на каком-то важном родительском собрании, в самом расцвете классного руководства Марины Ивановны. Потом мама, которая тоже там была, хихикая, рассказывала. Все происходило как обычно. Марина Ивановна вошла в класс, твердо установила свое коренастое плотное тело в центре возвышения перед доской, прожгла взглядом замершую аудиторию, после чего взревела, как лайнер на взлетной полосе, и без запинок и пауз запустила плотный поток информации часа на два.

«И вместо того чтобы учить немецкий язык и читать Гете в подлиннике, они...» — неслось басом фортиссимо по школьным коридорам.

Папа, сам человек весьма и весьма неслабый, был мгновенно сбит эмоционально-звуковой волной, смят, подавлен и как только представилась малейшая возможность, позорно бежал. Дома долго приходил в себя и маме потом выговаривал: «Что вы там у себя, — а мама работала в той же школе, — совсем уже всякую меру потеряли? Это ж надо так...» И болезненно морщился. На меня смотрел с сочувствием. Видимо, за годы учебы в военно-морской медицинской академии и десять лет службы в армии он такого не встречал. А нам что, нам деваться некуда, мы привыкли.

Марина Ивановна была неукротима, ее, как и Фиделя, ничто не могло испугать и заставить свернуть с намеченного пути. Ни увещевания коллег, ни ругань родителей ничего не меняли в нашей жизни, так что после уроков все школьники отправлялись по домам, а мы возвращались в класс. И начиналось ежедневное многочасовое послеурочное сидение под неумолкаемый грохот «вечного двигателя» — Марины Ивановны. Сначала мы дописывали то, что не успели на уроке русского, потом домусоливали литературу. Потом, на закуску, проверяли, что задано на дом на завтра. Ну а если случался классный час... В общем, когда удавалось наконец вырваться из школы, я уже везде опаздывала и неслась домой на всех парах, чтобы схватить папку с нотами и нестись дальше в Пушкин в музыкальную школу.

Кстати о Пушкине. До сих пор помню, как Марина Ивановна вошла в класс и объявила, что мы начинаем изучать А. С. Пушкина. Небеса содрогнулись, а мы сразу поняли, что это великий поэт — таким энергетическим зарядом всехшибануло. Сам Александр Сергеевич в своих заоблачных высях тоже небось вздохнул: «Опять Марина Ивановна меня проходит...»

Все-таки от гуманитарных наук мозги сильно воспаляются: слишком много там жарких эмоций и мало охлаждающего влияния логики и отрезвляющего действия эксперимента. Зато когда в девятом классе нашим классным руководителем вместо русички Марины Ивановны стала физичка Нина Михайловна, жизнь существенно улучшилась. Слава естественным наукам!

Но больше всего у нас в классе, как ни странно, любили уроки математики, причем совершенно независимо от собственных успехов по этому предмету. Потому что любили математика — Лелика, Леонида Михайловича Гурбо. У меня вообще получилось интересно. Моя мама училась у его отца, сам Лелик учился у моей мамы, а я — опять же у Лелика. Такая цепочка. Так вот, среди напряженного и суматошного школьного дня у нас всегда были отдушины — уроки математики, где никогда не было тягостной атмосферы страха или скуки, а, напротив, было весело, легко и свободно. Когда планируем с одноклассниками вечера встреч и думаем, кого звать, все тут же дружно вопят: «Ле-е-лика!!» Потому что помним его и любим. Все-таки самое главное в школе — это личность учителя. И если есть среди школьных учителей хотя бы один-два действительно светлых человека — считайте, что вам повезло.

А вообще-то школа напоминает мне тесный ботинок. Как получается: вот ты прогуливаешься босиком по травке, шлепаешь по лужам, пребывая в счастливом дошкольном домашнем детстве, потом в первом классе на тебе зашнуровывают жесткие башмаки не по размеру и начинают дрессировать, то есть учить жизни. И что мы видим: пятки стерты в кровь, пальцы мучительно подогнуты, ты уже не весело порхаешь, а понуро хромаешь. Потом, к старшей школе, становится немного легче — где-то на ногах нарастают плотные мозоли, а где-то в башмаках образуются прорехи, и через них можно время от времени пошевеливать пальцами, почувывшими свободу.

Память прокручивает ленту воспоминаний, и можно нырнуть в самое начало школы. Там всё по-прежнему: громоздкие зеленые парты с щелкающими тяжелыми крышками тремя длинными рядами выстраиваются в просторной классной комнате, белые двери и окна вытягиваются к потолку, а сам потолок отодвигается куда-то далеко-далеко, к небу.

Я сижу на первой парте, передо мной — Полина Александровна, наша учительница. Она немолодая, сухощавая, строгая и четкая. Главное в классе — порядок. Всё по правилам, по ранжиру, всё на своих местах. Ученики тоже рассортированы: у окна — колонка «умных» отличников-хорошистов, в центре — середнячки, у двери — «худая» колонка для хулиганов и двоечников. Учиться не трудно, а вот все остальное — очень трудно. Здесь, в школе, все становится как-то неловко, неуклюже, незнакомо, форма неудобная, ранец большой. А главное — время становится вязким, медленным и долгим. Четыре урока — это очень большой школьный день, неделя от понедельника до субботы — огромное пространство, наполненное переживаниями, тревогами, домашними заданиями, контрольными работами, диктантами.

Самый любимый день — суббота, на последнем уроке в субботу — внеклассное чтение. Дежурные приносят в класс металлические корзинки с треугольными пакетиками молока и хлебом. И вот оно счастье, — сидишь, пьешь прохладное молоко с пахучим ржаным хлебом и слушаешь книжку про пионеров-героев, а впереди воскресенье...

А где-то далеко еще и каникулы, но ждать их приходится очень долго. От одних каникул до других простирается целый океан, который по опасным волнам надо умудриться переплыть на своей маленькой лодочке. Когда начались мои первые летние каникулы и я стала мысленно рассматривать прошедший год, у меня перед глазами сам собой нарисовался большой разноцветный бублик, с одной стороны которого было светлое солнечное лето, а с другой стороны — напротив — темная, темно-синяя зима. Между ними — весна и осень. Этот бублик, или, по-научному, — тор, был огромный, живой, он покачивался передо мной и переливался красками. С тех пор я именно так и вижу время, и когда мне говорят: а у меня день рождения, например, в сентябре, — я тут же вижу свой сентябрь, на боку переливающегося круга, где сентябрь уже чуть темнее летнего августа, но еще золотист и ярок. Увидев эту картинку впервые и еще раз мысленно пройдя через осень, зиму и весну первого класса к летним каникулам, я подумала: какой огромный год, и таких в школе — целых десять! Я постаралась представить себе бесконечность этих десяти лет, и у меня даже голова закружилась. Подумала тогда: какая длинная жизнь...

Игорь Соловьев. Она так и сказала: «У-у-у, гнида!..»

Казанская зима в том году была мягкой, просто на редкость. Оттепели шли одна за другой, сопровождаемые снегопадами и метелями. Однако большого таяния снега не случилось — что называется, зима держалась в рамках.

Как это нередко бывает в такую погоду, я часто простужался и болел. Видимо, вирусы не хотели замерзать и распространялись со скоростью тех же метелей. В ту зиму, в конце семидесятых, я заболел особенно тяжело. Дело дошло до того, что даже чихал кровью. Стоило мне забыться, что было немудрено при частых подъемах температуры, и не прикрыться платком, как после громкого звука красные брызги разлетались по всей комнате, садились на стены, постель, белье, и сладковатый запах еще долго витал в моей берлоге.

Обычно после недели, а то и двух, приходили школьные товарищи попроведать, не откинул ли их одноклассник коньки? Ко мне явилась делегация из четырех парней и двух девчонок. Но в этот раз они как-то особенно мялись, даже когда я пригласил их столу.

— Ну, как у тебя дела?

— А мы тут контрольную по математике написали.

— Жалко, что ты пропустил!

Тут все засмеялись.

— Да уж! Так жалко, что прямо хоть вставай и беги, пиши ее, родимую! — в тон ответил я.

Но получилось, что мои слова о «беги» оказались пророческими. В конце концов один из пацанов, Федя, самый неразговорчивый и косноязычный, набрался смелости и быстро выпалил. Оказывается, надвигался районный смотр пионерских знаменных групп школ. И наша пионервожатая заодно попросила ребят узнать, когда я встану на ноги, чтоб рассчитывать на меня на этом смотре или нет.

Я был командиром знаменной группы, знаменосцем пионерской дружины нашей школы. Перейдя в комсомольцы, с этими же ребятами до окончания учебы носил и комсомольское знамя. Но пока надо было выполнить просьбу общественности: выйти хотя бы на полдня и выступить на смотре. Федя, длинный и поэтому немного сутулившийся парень, спортсмен, который мог одновременно быть и скромным, и гордым в своих спортивных победах, смотрел на меня если не с мольбой, то с большой просьбой в глазах. Почему-то в ту минуту остальные и более разговорчивые, и более близкие ко мне ребята отворачивались от моего взгляда, болтали на разные темы, только не о том, что мне, все-таки еще не окрепшему, придется пройтись по холодку до школы, а завтра — и в районный пионерский штаб.

Я проводил одноклассников, вымыл посуду. Тянуло полежать. Организм, сидящий на таблетках и травяных растворах, уже переутомился. Но надо было идти. В принципе, я знал, что пойду, уже на следующую минуту, как мне сказали об этом. Просто надо было немного привыкнуть к своему новому героическому статусу и найти слова оправдания для родителей. Так уж нас воспитывали: сначала общественное, а потом личное!

Через пятнадцать минут, не очень уверенно ступая по свежему снегу, я шел в школу, переваривая неприятный разговор с отцом, который состоялся перед самым моим уходом. Он зашел домой обедать,

а заодно проконтролировать мое состояние. Застав меня одетым и вытянув все подробности, отец сказал мне все, что думал по этому поводу. Пройдя школу райкомовско-райисполкомовской работы, он прекрасно знал цену таким мероприятиям и всему, что за ними стояло. В общем, он сорвался и наорал на меня. Я не шибко возражал, понимая, что в принципе отец прав. Но и я был прав. Даже пусть ценой продления больничного.

Поднявшись на третий этаж, я столкнулся лоб в лоб с нашей учительницей по истории и обществоведению Викторией Богуславовой Шпильер, или, как мы ее еще называли между собой, — Шприцем. Я к ней относился лояльно, как и она ко мне. Ничего плохого мы друг другу не делали, но и особой сердечности тоже не было. Из-за слабости я pokrылся испариной и, поняв, что встречи не избежать, прислонился к перилам, решив заодно отдохнуть и перевести дыхание. В этот момент я меньше всего хотел, чтобы меня утешали, сочувствовали, охали и ахали. Самой лучшей реакцией любых взрослых, встреченных мною на пути, было бы их молчание или вопрос о здоровье. Но то, что я услышал, превзошло все мои ожидания.

— Знаю, знаю все твои дела. У-у-у-у, гнида ты паскудная! — заботливо похлопала она меня как маленького ребенка по голове и стала спускаться, смешно переваливаясь по ступенькам.

Потом я разговаривал с пионервожатой, с классной руководительницей, договаривался о завтрашнем смотре... А в голове звучали эти слова. Одевался, шел домой, дома пил горячий чай, глотал таблетки и долго лежал с закрытыми глазами. Но не переставал думать о словах Виктории Богуславовны. В глазах у нее при этом было понимание того, что я специально заболел и пришел на смотр, чтобы выставить себя героем и получить причитающую в таких случаях порцию славы. Она, да и, наверно, некоторые учителя также думали о том, что этот маленький хитрец — всего лишь гнусный пройдоха, который все обернет на пользу своей пионерской и будущей комсомольской карьеры. Ужас, страх и отчаяние овладели мной. Может, историчка и часть ее коллег думали так, потому что сами поступили бы так же?

С другой стороны, я понимал, что по интонации сказанного она меня вроде как хвалила, жалела и одобряла мой поступок. Но... в какой форме!? Меня, знаменосца школы, ее гордость, чья фотография не сходила со всевозможных досок почета и чья фамилия произносилась на каждом собрании и линейке только в положительном смысле... За что?..

Мы, как всегда, взяли на смотре первое место, потом победили в городе и в области. На моем выздоровлении это почти не сказалось — всего лишь добавило еще неделю постельного режима.

Прошло четыре года.

В десятом классе мы с парнями из параллельного, наслушавшись красивых слов офицеров военкомата, в большинстве своем решили поступать в военные училища. Две недели (неслыханное дело!) мы не учились, ходили по району и собирали различные документы для поступления. По коридорам школы мы бродили, не раздеваясь и не снимая шапок (высшая наглость!), заходили прямо посреди урока в классы и даже (о, ужас!) в кабинет директора и требовали внимания, подписей, слов утешения, пожеланий бодрости и отличной службы.

Хоть бы кто-нибудь из вчера еще строгих, придиричивых и непреклонных учителей сделал нам замечание?! Наоборот, нас встречали и провожали громкими возгласами и восторженными взглядами! А как смотрели на нас — будущих защитников — одноклассницы! Уже ради этого стоило затевать эту болягу.

Увы, меня, в отличие от других парней, не пропустила вторая медкомиссия областного военкомата. Все мои сверстники благополучно прошли через все рогатки, отдали в военкомат документы и стали ждать летнего вызова на экзамены.

Но все когда-нибудь заканчивается, чтобы на следующий день вернуть нас к суровым будням. Вдруг выяснилось, что завтра же, в первый день учебы после своеобразных каникул нулевым уроком должен был пройти Ленинский зачет. А проще говоря, наша Шприц должна была опрашивать нас на тему ленинских работ. Мой одноклассник Сергей, собиравший документы в танковое училище, парень простой и без затей, отличавшийся тем, что любил отрабатывать удары на салагах из младших классов, спросил:

— Витек, а ты готовился к Ленинскому зачету?

— Ты че, когда? Мы же вместе таскались за справками, — бодро ответил я, хотя, подними меня ночью, и я мог ответить на любые вопросы по ленинским темам, поскольку учил их раньше. Мне это нравилось, и диамат с истматом отвечали мне взаимностью.

— Ага, ты-то все равно ответишь на зачете. А вот я поплыву, — уныло заявил он.

— Я не знаю как ты, но завтра я на зачет не приду. На историю первым уроком — само собой. А вот на зачет — нет, поскольку не готов.

— Ты серьезно? — Он посмотрел на меня с сомнением. — Да ты че, это же двойка за зачет — и кранты. Это же плохая характеристика, а в институт как поступать, да в то же училище? Не-е, ты подумай. Я хоть не учил, но все равно приду.

Весь его вид показывал, что он-то не дурак и подставляться под праведный гнев исторички, а заодно и комсомольской общественности не будет. Но что бы он ни говорил, какие бы доводы ни приводил, его выдавали глаза. Там стоял страх. Страх выделиться из толпы, пусть лучше со слабенкой троечкой, но зато быть в серединке других посредственностей и слабаков, которым, хоть тресни, философия работ Ленина не давалась.

— Дело твое, — закончил я разговор. — Как хочешь, а я не приду. Скажу, чтобы она назначила другое время, и потом сдам.

Все получилось так, как я и предвидел. В 8.25 утра я подошел к кабинету истории, надеясь, что все-таки перерыв между зачетом и уроком будет. Но, видимо, не все шло по плану нашей учительницы: из-за двери неслись ее громкие возгласы. Ровно в 8.30 я недрогнувшей рукой открыл дверь, сказал: «Здравствуйте!» и прошел к своему месту. Весь класс был в сборе. И тем явственнее я ощутил гробовую и волнительную тишину. Я раскладывал учебник и тетрадь и не смотрел на Викторию. Потом пацаны мне рассказали, как у нее остановился взгляд, потом немного отвисла челюсть и очень медленно она сняла свои очки.

— Виктор, почему ты не пришел на зачет? — Тихий голос Шприца прозвучал неестественно громко.

Я как можно спокойнее объяснил причину своей неготовности и предложил через неделю сдать ей работы, поскольку изучение работ вождя революции требует времени и концентрации. Но, видимо, мое хладнокровие еще больше завело ее. Дальше последовала истерика:

— А почему твои товарищи, с кем ты ходил и собирал документы, пришли на зачет? Да кто ты

такой, чтобы самому решать, когда славить ленинские работы? Я ставлю тебе два! Позор тебе, общественник! Я подпорчу тебе характеристику, ты у меня не поступишь в институт! Я еще подниму вопрос на партбюро о твоём поведении и твоём членстве в комсомоле!!! Я хотела помочь тебе с институтом, но после этого — ни за что! Вот помогу Кайгородскому и Рязанцевой. А тебе — нет, нет, нет! Ты слышишь?

Слюна летела у нее изо рта, красивая шаль съехала с плеч и упала на пол. Краем глаза я видел, как дежурные подхалимы уже хотели подбежать и поднять шаль. Но испугались свирепого взгляда, которым она обвела весь класс после грозной речи. Большая грудь ее высоко вздымалась, дышала она громко и хрипло. Потом рухнула на стул, достала платочек из сумочки и вытерла лоб.

Я стоял возле парты и молчал. Удивительно, но я, обычно умиравший от страха и от половины подобных слов, был спокоен и смотрел на висящую на стене карту битвы под Москвой, вспоминая все книжки, прочитанные на эту тему. Она была права и не права. Но мне уже было в тот момент все равно. Я пошел до конца. Слава богу, у нее хватило ума не выгнать меня с урока: история-то была здесь не при чем. Зная ее характер, я прочитал параграф не один раз, а два, чтобы, если меня вызовут к доске, материал отлетал у меня от зубов. Но в глубине души, немного изучив за два года ее поведение, я сильно сомневался, что в таком состоянии она меня вызовет. Слишком была гордой и ставила себя выше какого-то сопливого мальчишки. Она успокоилась, усадила меня, огласила результаты Ленинского зачета и неожиданно, не спрашивая домашнего задания, стала давать новый материал.

Это был чуть ли не единственный случай за все мои десять лет школы, когда я чувствовал свою правоту и нравился себе за этот поступок. Вся остальная жизнь школяра состояла из страха, комплексов, переживаний, слез и всего остального чувственного дерьма, которое можно было назвать одним словом, отбросив восторженные слюни по поводу чудесных школьных лет, — унижением.

Прошло еще семь лет.

Виктория Богуславовна сдержала свое слово. За Ленинский зачет я получил два балла, и оставшиеся несколько месяцев школы меня поносили за это, одновременно вручая грамоты и подарки за общественную работу, что было постоянной темой для местных шутников, и не только в моем классе. По истории в аттестат я получил «четыре», хотя знал предмет на «пять с плюсом». В том числе и по этой причине поступил не туда, куда хотел, а куда смог. Окончил институт, отслужил в армии и неожиданно на одном из оживленных городских перекрестков столкнулся с Викторией Богуславовной. Я торопился, нервничал и хотел сделать вид, что ее не вижу. Но она заметила меня и закричала:

— Виктор, Виктор, Виктор...

Что мне оставалось делать? Я остановился, повернулся, подошел и поздоровался. Она еще больше располнела, тяжело дышала и опиралась на палочку. Ей было жарко в душный июньский день. Она посмотрела на меня своим тяжелым взглядом и сказала то, что я от нее никак не ожидал:

— Я знаю, ты женился. Поздравляю и желаю тебе счастья.

Больше я ее никогда не видел. Потом, через одноклассниц, я узнал, что умерла она в ужасных условиях. Старая, немощная, она не могла передвигаться из-за своей полноты и умерла в одиночестве. Грустно — друзей она так и не нажила...

И меня даже полвека спустя никак не отпустит обида от этого: «У, гнида...»

Татьяна Мирошник. Если б было все равно, люди лазили б в окно...

1985 год. Выпускные экзамены в харьковской школе № 17. История и обществознание. Длинный стол, за которым сидят Марк Аронович Коган, наш учитель истории, директриса и учитель-ассистент. Перед ними тридцать три билета. В каждом по три вопроса. Захожу в класс в числе первых — я из хороших учениц. Беру билет. Переворачиваю: № 33... Подкашиваются ноги. Ни одного вопроса не знаю, но понимаю, что Марка Ароновича подвести не имею права. С замирающим сердцем иду за парту готовиться, сама не знаю к чему...

...Марк Аронович — яркая личность, удивительный учитель, фанатично преданный своему предмету. Уроки у него проходили как одно мгновение: интересно, увлекательно, с невероятными экскурсами, словно путешествия в прошлое. Но если кто-то пытался помешать ему вести урок, он устрашающе надвигался всей своей массой на провинившегося: «Я что-то не так сказал?!» Если ученик, отвечая, путался в датах и при этом хотел оправдаться, типа: не все ли равно, в каком году — в 1837-м или в 1838-м, глаза Марка Ароновича вспыхивали испепеляющим гневом. Звучала его знаменитая фраза: «Если б было все равно — люди лазили б в окно! Но ведь ходим...», — и весь класс хором добавлял: «...В двери!».

Острый на язык, он мог припечатать к стене любого. Была у нас в классе девочка, которая всегда терялась, когда выходила к доске. Ее ответы были похожи на какое-то бляение. Марк Аронович вызывал ее к доске так: «Отвечать будет наша Козочка...». Так это прозвище к ней и приклеилось. Козочка представляла собой девушку 52-го размера, медленно плывшую между рядами парт к доске. На уроках Марка Ароновича все устные ответы — у доски, лицом к классу. С места отвечали разве что совсем кратко — «да» или «нет». Однажды Козочка опростофилилась. Наспех прочитав несколько строк в учебнике, стала отвечать: «Петр Первый боролся с ворами, взяточниками и конокрадами...» Марк Аронович, подняв брови, удивленно взглянул на ученицу:

— Повтори, пожалуйста!

— ...ворами, взяточниками и конокрадами, — настаивала она.

Хохот Марка Ароновича. Мы в недоумении. Спустя мгновение веселился весь класс. Борьба-то у Петра Первого шла не с конокрадами, а с казнокрадами. Всего две буквы — и такой казус! Запомнились сакраментальные слова учителя: «Будет наша Козочка сидеть в какой-нибудь инспекции и бороться с конокрадами всю жизнь!» Впоследствии Козочка поступила в педучилище, и мы думали, что Марк Аронович ошибся в своих прогнозах. Но спустя двадцать лет после окончания школы узнаю, что наша Козочка — начальник налоговой инспекции...

Ходил Марк Аронович слегка сгорбившись, в сером пиджаке, который мы узнавали издалека, сразу притихали и шли на урок. У Марка Ароновича было замечательное правило: если ты не выучил заданное (причину он никогда не выяснял) — предупреди перед уроком, и наказания не последует, к доске не вызовут. Но если на уроке выяснялось, что нерадивый ученик не готов и не предупредил — возмездие следовало незамедлительно. Двойка — и никакой пощады.

Марк Аронович вел у нас историю с самого начала, с пятого или шестого класса. В старших классах начали изучать новейшую историю, и почему-то стало не так интересно. Марк Аронович больше не горел на уроках. Нам это было не очень понятно. Ведь коммунизм строим, красота скоро будет! Мы так верили в это, что однажды после уроков я осмелилась спросить: «Марк Аронович, был капитализм, сейчас у нас развитой социализм. Скоро будет коммунизм, а потом? После коммунизма — что?» Историк с грустью посмотрел на меня: «Деточка, дай бог кому-то из нас дожить до коммунизма!» Тогда я ничего не поняла.

Когда мы учились, было реальное ощущение, что живем в большой счастливой стране, что впереди светлое будущее. Мы не замечали очевидного и вздохов старших, не читали то, что читали они. Может, потому что нам не с чем было сравнивать? Мы родились и росли при социализме, где «все равны». За нас уже всё решили: сначала мы будем октябрятами, потом пионерами, комсомольцами, а лучшие — и членами партии. Всем хотелось быть лучшими...

...Мне тоже. Я читала вопросы билета № 33 и ничего не могла вспомнить. Ответ на первый вопрос мне сочувственно подсказали. Во втором вопросе нужно было осветить итоги XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза. Третий — по общественному, что-то о строителе коммунизма... Вышла отвечать. Марк Аронович готов слушать. Директриса отвлечена какими-то бумагами, да и учитель-ассистент, похоже, витает далеко. У меня один шанс — блефовать. И я начинаю на ходу придумывать то, что могло бы быть на том двадцать каком-то съезде: поднять, повесить, добиться... Марку Ароновичу нужна конкретика: «Цифры, пожалуйста!» Меня понесло: «Увеличить удой молока на пятьдесят процентов, собрать в два раза больше зерновых, повесить яйценоскость всех яйцекладущих...» и т. д. Уверенно несу всю эту чушь и жду, что сейчас меня с позором выставят за дверь. Марк Аронович, опустив голову, слушает. Не могу понять его реакции. Наконец прерывает: «Следующий вопрос». Ну, про строителя коммунизма легче сочинять — мол, честный, справедливый и т. д... Марк Аронович останавливает поток моей разгулявшейся фантазии, благодарит и приглашает следующего ученика. Выхожу из кабинета, едва сдерживая рыдания. Одноклассники, слышавшие мой ответ, предупреждают о неотвратимости: «Тебе это не сойдет с рук!» Через два часа объявляют оценки. Спрятавшись за спины, думаю о том, как об этом позоре сообщить родителям. Вдруг слышу свою фамилию и оценку — 5/5.

...На выпускном вечере Марк Аронович подошел ко мне с советом: «Ты на истфак все-таки не иди. Не твое это. Не надо. Вскоре все будет по-другому. Лучше в писатели. У тебя получается». Я оценила доброту и юмор старого учителя, но все же решила подавать документы на исторический факультет, специальность «История партии». Назло всем и с мечтой о светлом коммунистическом будущем. А тут специальность эту отменяют. Вчера была, сегодня нет. Начинались новые времена...

...О том, что Марк Аронович — еврей, мы, конечно, знали. Но делили всех евреев на хороших и плохих. Марк Аронович относился к хорошим. А вот физичка Татьяна Семеновна Гройссман — к плохим, потому что была вредной. Если кто-то забывал сменную обувь, то она заставляла разуваться перед дверью в класс и входить в носках или колготках. Это было очень унижительно, особенно для мальчишек, у которых часто носки были дырявыми. Она проверяла наличие комсомольских значков, отбирала шпаргалки и любила только детей-евреев. В нашем классе училась Вита Гольдберг. В графе «национальность» у нее было написано: «Русская». Красивая и умная девочка. Сейчас в Америке — успешная леди. А тогда она была любимицей Татьяны Семеновны, и поэтому в классе ее не любили. Если Вита не готова к уроку — ей разрешалось ответить в следующий раз. Другим ученикам за это сразу же ставились двойки. Как-то Вита тоже забыла сменку. Мы все стояли у входа в класс и ждали. Неужели ей разрешат войти? Татьяна Семеновна, поворчав, правил нарушать не стала: вынесла из подсобки свои туфли и дала их Вите...

Однажды кто-то пронюхал, что раньше она была Татьяна Израилевна, а потом поменяла отчество. И мы стали ее доводить: «Разрешите спросить, Татьяна Из..., ой, Семеновна...» Через год после окончания школы Вита уехала в Канаду, а оттуда — в Америку. Татьяна Семеновна через пару лет — в Израиль. А Марк Аронович честно и преданно еще лет десять отправлял детей в путешествие по прошлому. А потом умер... Но память о нем осталась. Порой наши дети вредничают: «Не все ли равно?» И мы неизменно парируем: «Если б было все равно — люди лазили б в окно! Но ведь ходим...» Дети хором добавляют: «...В двери!»

Марина Черноскутова. Истории из жизни нашей школы

Это сейчас ребята чинно едут на соревнования в школьных автобусах. А в восьмидесятые наш неугомонный физрук Виталий Ильич — или, как мы его объединили, Виталич, — как сумасшедший, с ватагой мал-мала-меньше и поленицей лыж штурмовал рейсовые. Водители ворчали, пассажиры, бывало, и материли, запинаясь о наши лыжи. Редкая поездка проходила гладко. То мы опаздывали, то автобус ломался, то кто-то ссорился, то попадался на гаданья цыган... Но зима, хоть и отяжеляла багажом лыж, была все же надежнее, чем весна и осень.

В распутицу, правдами и неправдами добравшись наконец с какого-нибудь районного кросса домой в наш поселок Кузедеево, что в Новокузнецком районе Кемеровской области, на последней электричке, мы решали стратегическую задачу всех великих военачальников России всех времен: как форсировать реку? Моста через Кондому еще не было. Не было и великого изобретения человечества — сотовых телефонов. Виталич находил знакомых, знакомые находили своих знакомых, знакомые знакомых находили лодки, переплывали нас к родному берегу, и мы, уставшие, голодные, сонные, топали по темноте около десяти километров через все село с твердым решением «больше никогда». А утром вспоминали у спортзала вчерашние мытарства, хохотали и думали уже о следующих соревнованиях.

Знакомые у Виталича были везде. Однажды мы сидели на рюкзаках в поселке Майна Красноярского края, дожидаясь конца неожиданной встречи, и Вадик Власкин глубокомысленно предположил:

— Если пойдем в поход по Сахаре, Виталий Ильич встретит там знакомого верблюда.

А вечером у костра, когда Виталич запел незатейливую походную песенку «Один верблюд идет, второй верблюд идет, третий верблюд идет, и весь караван идет», мы катались по траве и сквозь смех пытались перекричать друг друга: «Он встретит караван знакомых верблюдов!»

Сейчас те походы и поездки кажутся дикими. Мы, как правило, ночевали в школах, в спортзале на матах. Однажды во Фрунзе коротали ночь в дебрях вагонного депо в купейном вагоне. Это было лучше, чем скамейки вокзала, и дешевле, чем комната отдыха. А ездили мы тогда на Иссык-Куль в военную часть Панфиловской дивизии. Один из легендарных героев-панфиловцев, Трофимов, — наш земляк. Побывали в музее, где собраны все виды стрелкового оружия Великой Отечественной, как русского, так и немецкого.

Виталич был страстным краеведом. Он прошел с учениками за два лета по местам боевой славы 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии, один из полков которой формировался в Кузедеево. Прошел до самой границы с Чехословакией. О войне ученики узнавали из рассказов ветеранов. И рассказы эти были не приглашенные для праздника выступления, а воспоминания встретившихся однополчан: «А помнишь?..» В ночи, у костра они иногда забывали, что много лет прошло и что чужие люди есть рядом. Вспоминали, что было и как было.

От тех походов осталось много фотографий и почти ничего оформленного в краеведческий материал. Виталий Ильич многое делал и совершенно не умел потом «показать товар лицом». Потому, наверное, и не очень отмечен официальными наградами.

Виталич был лучшим учителем всех времен и народов. Официально такого звания нет. Но каждый из нас дает это звание своему любимому учителю. И оно неоспоримо.

После ледохода на реке начинался бревноход. Если где-нибудь ниже по течению случался затор, бревна перли на берег, часто ломали изгороди в огородах и потом, когда вода спадала, оставались хозяевам. Владельцем любого бревна на берегу был тот, кто его первым возьмет. Позже, по малой воде, на реке появлялись отражатели — узкие, в два бревна, трапы, скрепленные скобами, плавно уходящие от берега вниз по течению почти до середины русла. Они направляли плывущий лес в течение Кондомы, не давая забиться в заводи.

Их обживали рыбаки и ребяташки. У нас был свой отражатель, самый длинный. Он прибывал бревна к противоположному берегу, где впадала Курья. Там работали зэки. Сортировали лес, скрепляли плоты и отправляли дальше по течению. Мы наблюдали, прижавшись холодными мокрыми пузами к горячим бревнам, как мужики орудуют баграми. Они ничем не отличались от других рабочих мужиков. Как-то никогда не заходил при мне разговор, что это за бригада. Слово «зэк» долгое время для меня оставалось чем-то вроде названия профессии: тот, кто ширяет багром бревна на реке. Мы приходили на речку — они уже работали, мы уходили — они еще работали.

Лес перестали сплавать где-то в 74—75-м, незадолго до моего первого класса. Отражатели летом еще выставляли года три. Одиночные бревна вылизывало течением из укромных мест, и они ленивыми крокодилами лежали в воде. Были и утонувшие крокодилы — в зеленой тине, мохнатые, скользкие... Мы визжали от страха и восторга, наступив или запнувшись о них.

Как-то само собой слово ушло вместе с молевым сплавом.

Вернулось оно ко мне в пятом классе. Виталий Ильич привез нас на Мустаг. Мы шли к подножью своей первой большой горы, на вершине которой до середины лета оставался снег. Все, что рядом, не очень занимало. Смотрели наверх — там снег! Суетились от нетерпения, донимали Виталича вопросами: «А далеко еще? А это сколько по времени? А там жарко или холодно?» И весь этот гомон прервал короткий, тихий, но какой-то испуганный возглас: «Зэки!»

Я искала глазами воду и потому увидела их последней. Вдоль железнодорожной насыпи, через которую мы уже собрались было перейти, шла колонна темных угрюмых мужиков. Молча. Шурша щебнем. Они не смотрели на нас. Только один успел спросить у Виталича: «Курево есть?» Виталич сочувственно развел руками и как-то сокрушенно вдохнул. Выдохнул, когда они прошли: «Знать бы...» Леха нерешительно протянул Ильичу «Приму»: «У меня есть... Догнать?» Виталич засмеялся: «Вот это ты засыпался!» — и забрал пачку. А потом всю дорогу донимал Леху:

— Цибарку-то дать?

Леха перепробовал за время похода все варианты ответа: и отшучивался, и злился, и отмалчивался... «Цибарки» неизменно возвращали нас к зэкам:

— А почему у них только один охранник?

— Конвоир, — поправлял Виталий Ильич. — Да куда они денутся? За побег срок прибавят. Хорошо, если не убьют...

— А почему убьют?

Ильич усмехался задумчиво:

— Шаг влево, шаг вправо... — И переводил разговор на Леху: — Леха, вот тебе конвоир-то прикурил бы!

— Что я-то опять? Вон у Петьки тоже есть.

— Ну ты, стукач... — толкнул его Петька в спину.

Ильич остановился:

— А что это значит, знаешь?

— Ну, ябеда. А что?

— Да нет, ничего... — И мы пошли дальше.

Но что-то в этом было. В интонации что-то у Ильича было непривычное.

А потом появились новые впечатления, новые слова: курумник, черемша... мы-то ее колбóй всегда называли. А снег в жару? Какие там зэки? Вспомнили мельком на обратном пути, переходя насыпь.

Потом, после школы, я начну для себя открывать, что живу на земле Шорлага. Непонятное слово Олп, которым называется район в соседнем поселке Малиновка, расшифровывается как «отдельный лагерьный пункт». Есть там и район Собачник. Зэков на Курью привозили оттуда. Здесь до сих пор под водой остались сваи и какие-то перемышки от прибрежных сооружений лесосплава. Купаться глубоко и страшно.

А потом будет книжный бум. Будут Шаламов и Солженицын... Но не они мне расскажут самое важное о зэках. Самое важное я узнаю раньше, когда в гонке за словарями куплю однажды «Словарь тюремного жаргона». В нем почти не будет незнакомых слов...

* * *

Роза Антоновна вела у нас цветоводство. Она была уже на пенсии, а немецкий в школе вели теперь ее дочери, Ирина и Роза Николаевны. Вообще-то настоящее их отчество Готлибовны, но кто ж это выговорит?

Дочери владели одинаково хорошо как немецким, так и русским. Не знаю, как ее остальные внуки, но мои одноклассники, Пашка и Иринка, мучились со спряжениями немецких глаголов наравне с нами. А вот Роза Антоновна частенько не могла найти подходящих русских слов. «Коровин муж» — самое памятное определение, которое она, забыв слово, выдала ребятишкам на уроке. А в этом классе как раз учился Вовка Коровин. И сначала одноклассники повернулись к нему, недоумевая, почему это он вдруг стал мужем. Довели до слез несчастного Коровина, до крика — ничего не понимающую Розу Антоновну, и только потом кто-то подумал в другую сторону и неуверенно спросил: «Бык, что ли?» И ответ Розы Антоновны: «Бик! Бик! Я-я, бик!» — утонул в общем хохоте.

И вот теперь она вела в Доме пионеров кружок цветоводства. Грузная, круглолицая, вечно с тележкой, сооруженной из рамы детской коляски и цинковой ванны для стирки, она каждый день от весны до осени шла к созданному ею же цветнику у обелиска. Мы помогали ей, но отлынивали, конечно. Весной и осенью, пока учились, приходили чаще, а летом работать никакого патриотизма не хватит. Грядки на своем огороде надоедали — какой уж там цветник? А вот когда нужны были добровольцы в зачет отработки на пришкольном участке, мы без удовольствия, но шли. Без удовольствия, потому что у Розы Антоновны работать надо, не побегаешь и просто так четыре часа вместо отработанных двух в дневник не получишь.

Мы пропалывали цветы у обелиска. У ограды остановилась Федосиха. Долго стояла и молчала.

Мы посматривали на нее и пололи. Когда солнце палит, трава не выдергивается, а до конца участка — хоть помри, вольный наблюдатель злит. Вот чего пялится? Цирк ей тут?

— А хорошо, Роза Антоновна, цветочки-то на русской земле растут? — наконец спросила она то, для чего остановилась.

Роза Антоновна встала, недобро посмотрела на Федосиху, потом на нас, махнула на нее, дескать, иди:

— Растут, растут... — и отошла подальше.

— А-а-а... Сколько народу положили, а теперь цветочки садите, — шипела Федосиха. — Будто встанет кто от ваших цветочков.

Федосиху мы знали. Разорется — не остановишь. Не выдержала Людка:

— Теть Лен, ты че совсем? — покрутила пальцем у виска.

Федосиха сбавила обороты, для порядку, типа «русские не сдаются», пробурчала еще: «Немчура проклятая», — и свалила.

— Ага, мамка тебе покажет немчуру. Придешь ты сегодня за молоком, — ворчала Людка, яростно дергая траву.

Но мать Людкина наш праведный гнев не поделила и ругаться с Федосихой не собиралась:

— Дура — она и есть дура.

Людка попробовала еще воззвать к справедливости:

— Ага, а наше немецкое молоко ей нормально пить?

Тетя Варя нахмурилась:

— Вы это бросьте... Тоже мне... русское, немецкое... Мне четыре года было. Я вон от Османа сюда, в Кузедеево, ходила... милостыню просила... И ведь давали. Своих мал-мала-меньше... Кто-то, конечно, — Гитлер подаст... самим же есть нечего... Ой, идите. — Тетя Варя что-то осерчала на нас. — Дураков везде хватает. Роза без ваших соплей понимает. Защитники, тоже мне.

Может, и понимает, но мы-то видели, что Роза Антоновна плакала. Отвернулась к кустам сирени и так и просидела. И «русишшвайн» мы тоже слышали.

Можно было, конечно, напакостить Федосихе чего-нибудь в огороде. Только ей от этого ни жарко, ни холодно. Она в свой огород заходила весной посадить, потом один раз прополоть, а там — что вырастет.

И мы придумали месть — дятла. Берешь леску, сантиметрах в десяти от одного конца привязываешь гайку, конец этот где-нибудь на оконной раме за гвоздик цепляешь, а второй конец тяни хоть на противоположную сторону улицы. Потом приходи, дергай за длинный конец, и пусть она выскакивает сколько угодно среди ночи, орет и ищет, кто ей в окно стучит. Даже сейчас не могу вспоминать это без смеха и злорадства. Ох, и поизмывались мы над теткой!

Так что главным событием лета восьмидесятого года в нашей стране, может, и олимпиада была, а в Кузедееве — дятлы.

Одноклассники

Любовь Шифнер. Годы знаний и надежд

Первого сентября 1956 года мать нарвала в нашем палисаднике букет из темно-красных бархатистых гладиолусов, и мы вместе с ней направились в среднюю школу № 12 моего родного города Орехово-Зуево, который прославился в России Морозовской стачкой. Наш путь проходил через пустырь и барачный поселок, где со своими семьями жили рабочие химического завода «Карболит». Со следующего дня долгую дорогу к знаниям я уже преодолевала самостоятельно.

Первую мою учительницу, Веру Сергеевну Востокову, я до сих пор вспоминаю с благодарностью. Это была пожилая женщина с проседью в густых темных волосах и огромными карими глазами, излучающими доброту. На первом уроке она спросила: «Кто из вас, ребята, знает стихи?» Я нерешительно подняла руку. Сначала волнуюсь, потом увереннее, я прочитала несколько стихотворений, которые мы разучивали в детском саду. По непонятной для моего детского ума причине воспитательница Лидия Михайловна Жарковская невзлюбила меня, поэтому стихов на праздничных утренниках я никогда не читала. Вера Сергеевна стала для меня доброй феей, благодаря которой я почувствовала в себе уверенность, быстро освоилась с учебой и вскоре стала круглой отличницей.

Наступила эпоха правления Хрущева, когда с прилавков магазинов начали исчезать необходимые продукты и товары, появились очереди за хлебом, а по радио с утра до вечера звучали набившие всем оскомину фразы: «Дорогой Никита Сергеевич», «целина» и «кукуруза».

В День Пионерии, 19 мая 1960 года, я вместе с учениками нашего четвертого класса «Б» поехала в Москву вступать в ряды пионеров. На большом автобусе нас привезли на Красную площадь и подвели к знаменитому Мавзолею. С трепетом вошли мы в небольшое, слабо освещенное помещение. По пути нашего следования застыли солдаты в почетном карауле. И вдруг мы увидели стеклянные саркофаги, в которых находились вожди пролетариата. Ленин лежал в костюме с широким галстуком, Сталин — в сером военном кителе. Помню, что малый рост великих людей меня очень удивил.

Когда мы вышли из мавзолея, нас выстроили в линейку, и после того как мы дружно и громко произнесли заранее заученную «клятву пионера», нас приняли в ряды пионеров, и каждому из нас симпатичная вожатая Нина Сергеевна повязала на шею красный галстук.

После торжественного мероприятия мы отправились на экскурсию по столице нашей Родины. Вымытые с утра мостовые сверкали чистотой, радовала глаз нежная зелень весенней листвы. Я впервые видела высотные дома, и у меня просто дух захватывало. Возле Московского государственного университета нас сфотографировали. Я с восхищением смотрела на красивое здание и мечтала учиться в нем, но моей мечте не суждено было сбыться.

В седьмом классе меня посадили за парту с Юрой — так звали молчаливого серьезного парнишку. Он был невысокого роста, носил очки, редко улыбался, но отлично делал чертежи и быстро решал математические задачи.

На Восьмое марта Юра удивил всех: когда мальчишки нашего класса собрали деньги и купили девочкам безделушки-сувениры, он преподнес мне свой подарок — плюшевого медвежонка. Я смутилась от неожиданности и покраснела, но от подарка не отказалась.

Как-то в конце занятий Юра протянул мне записку. «Я люблю тебя, но не думай, что это шутка

— это совершенно серьезно», — прочитала я.

Первое признание в любви меня озадачило и взволновало. Как бы мне хотелось в тот момент получить признание от другого Юры, который мне очень нравился, хотя был лоботрясом и двоечником. Впрочем, я ему тоже нравилась. Он частенько посматривал на меня, провожал восторженным взглядом, иной раз отнимал портфель, чтобы привлечь мое внимание. Но я была стеснительной девчонкой, своих чувств не показывала, и взбалмошный ухажер переключился на новенькую ученицу — смуглолицую задорную Нину.

Записку от соседа по парте я спрятала в своей комнате в укромном месте — за батарею. Периодически доставала листок, разворачивала и перечитывала, но не отвечала на любовный призыв.

Через неделю Юра вручил мне еще одну записку, в которой предложил встретиться после занятий в школьном сквере. Когда я подошла к назначенному месту, он меня уже поджидал.

— То, что я написал, — это правда. Давай дружить, — робко произнес он.

— Я должна подумать, — нерешительно произнесла я.

Вспомнив, что Юра хорошо чертит тушью, я попросила его о помощи. Парень охотно согласился. В итоге по черчению я получила «пятерку», а Юра — «четверку», потому что свою работу не успел закончить.

Я была, конечно, ему благодарна, но встречаться все же отказалась, сославшись на нехватку времени. Как-то к моему дому прикатила на велосипеде одноклассница Татьяна и, заговорщически улыбаясь, протянула мне письмо.

— Это тебе Юрик передал. Сказал, срочно.

«Если ты сегодня не придешь на наше место в 14 часов, со мной что-нибудь случится», — прочитала я и протянула записку подруге.

— Да я уже в курсе, — сообщила та. — Ты должна непременно с Юриком встретиться, а то вдруг он с собой что-нибудь натворит? Там же река неподалеку, — посоветовала одноклассница.

Долго не раздумывая, мы решили проследить за незадачливым ухажером. Прибыв в указанное место, мы спрятались в ближайших кустах и замерли. Юра пришел вовремя. Выглядел он печальным и задумчивым. Мне захотелось выйти из укрытия и его успокоить, но в последний момент я отказалась от этой идеи. «Что я ему скажу? Ну не нравится он мне. Не ужели сам этого не понимает?» — крутилось в голове.

Юра долго стоял, с грустью поглядывая по сторонам, потом резко развернулся и направился к реке.

— Я так и думала, что он пойдет топиться, — мрачно сказала подруга.

— Так пойдем и проследим, — предложила я.

К нашей радости, Юра, побродив по берегу, вернулся в город.

Записок от него я больше не получала, а он лишь печально посматривал в мою сторону. Его любовные записки так и лежали за батареей, пока отец их не обнаружил. Мне он ничего не сказал, а

мать упрекнул: «Что ж ты дочь до любви довела?»»

Все-таки в двадцать лет Юра осуществил свое намерение расстаться с жизнью: по неизвестной причине выпил смертельную дозу снотворного.

После окончания восьмого класса я задумалась, что делать дальше. Я хотела продолжить учебу в школе, потом поступить в какой-нибудь институт, но мать уговаривала меня учиться в техникуме.

— Там все-таки стипендию получишь, — убеждала она. — Ты скоро повзрослеешь, будешь требовать наряды, а у нас лишних денег нет. Да еще отец пьянствует.

Пришлось согласиться с ее доводами, но я долго сомневалась, в какое учебное заведение сдавать документы.

Проходя мимо солидного здания сталинской эпохи, в котором располагалось медицинское училище, я заглянула в него. Студентки в белоснежных халатах и шапочках выглядели необычайно привлекательно, и мне захотелось стать медиком. После успешной сдачи экзаменов я стала студенткой. Училище находилось в нескольких километрах от дома, но я ходила на занятия пешком: у матери денег, как всегда, не хватало. Путь проходил через городское кладбище, и курсировать каждый день между могилами вначале было страшновато. Потом привыкла, но еще долго видела мрачные сны. Но это уже другая история...

Борис Гребельников. Музыкальная угадайка

В третьем классе — было это в середине шестидесятых — пению нас обучала молодая инфантильная учительница в очках, которую мы называли Коброй. Ее взяли работать в школу сразу после окончания музыкального училища. Первое время учительница пыталась обучить нас нотной грамоте, но кроме изображения скрипичного и басового ключей мы ничего не усвоили, и она бросила эту затею.

Учебный процесс заключался в том, что мы на каждом уроке пения орали вразнобой песню «Там вдали за рекой...», а Кобра брэнчала на расстроенном и обшарпанном пианино. Во время пения мы гримасничали и кидались друг в друга бумажными шариками. То ли в силу своего характера, то ли понимая, что работает временно, учительница нас не одергивала.

Но скоро наша вольница закончилась. Пришел новый учитель пения — высокий, спортивного телосложения, лет тридцати пяти, с хорошо поставленным властным голосом, и заставил нас внимательно слушать его и красивый концертный баян, который он принес с собой. Когда учитель вел урок, стояла такая тишина, что было слышно, как муха пролетала.

Детских шалостей и шуток учитель терпеть не мог. Стоило кому-либо пошевелиться, как тут же звучал его командирский голос:

— Прекратить! — и у нарушителя тишины душа уходила в пятки, а у рядом сидящих учеников по телу шла дрожь от испуга.

Но надо отдать ему должное, новый учитель был специалист своего дела. За короткий срок он создал в школе хор, который занял первое место на областном смотре. На его уроках мы старательно, высунув языки, писали в тетрадях нотные знаки. И уже по звуку баяна могли определить длительность

ноты. А также учитель требовал от нас знание месторасположения каждого музыкального инструмента в большом оркестре. А еще проверил у каждого ученика музыкальный слух и тембр голоса. У кого оказался хороший слух, учитель скупой похвалил, а у кого плохой или вообще отсутствовал, того взял на заметку. И не дай бог ученику без музыкального слуха отвлечься на уроке, он тут же бывал наказан: стоял по стойке «смирно» пять минут.

На уроке, изучив теорию нотной грамоты, мы переходили к практике, а именно: пели песни на два голоса. А в оставшиеся пятнадцать минут до окончания урока учитель для нас играл музыкальные произведения, начиная от классических и заканчивая танцами народов мира. Он играл виртуозно; в эти моменты нам казалось, что прекрасные звуки музыки издает не баян, а целый оркестр. После каждого сыгранного произведения учитель объявлял: «Чардаш». Или: «Брызги шампанского». Еще исполнив, называл: «Бесаме мучо». Следующую: «Молдовеняска» — молдавский народный танец». И так далее.

И на каждом уроке пения мы с нетерпением ждали эти пятнадцать минут, чтобы насладиться музыкой. Все без исключения, не шевелясь и раскрыв рты, сидели и слушали прекрасную мелодию. Кроме Кукушкина.

Этому вертлявому лохматому мальчишке, с вечно вымазанными чернилами руками, не то что медведь «на ухо наступил», а, видимо, стадо слонов по ушам пробежало. У него полностью отсутствовал музыкальный слух. Звуки мелодии, лившиеся из музыкального инструмента, или скрип колеса гужевого транспорта у Кукушкина вызывали одинаковую реакцию.

На уроках пения учитель, сыграв мелодию, спрашивал:

— Квашнин! Что это?

Тот поспешно вскакивал и отвечал:

— Вальс «На сопках Манчжурии».

— Правильно. Садись.

Если ответ был неправильный, поднимал следующего ученика. И так было до тех пор, пока кто-нибудь не давал правильный ответ. Затем звучала другая мелодия, и все повторялось. Из всех мудреных названий музыкальных произведений Кукушкин запомнил только литовский народный танец «Петушок».

У нашего учителя была слабость: подрабатывал вечерами в ресторанном оркестре, а после закрытия заведения выпивал со своими коллегами-музыкантами. Поэтому на следующий день появлялся на уроке с красными, как у мороженого судака, глазами и с легким перегаром. В это время он был особенно раздражителен и зол, но положенные пятнадцать минут играл еще виртуозней.

На очередном уроке все было как обычно: учитель с красными глазами провел занятие, Кукушкин отстоял, не шевелясь, свои положенные несколько раз по пять минут. Наконец, взглянув на часы и взяв баян, учитель начал прививать нам любовь к прекрасному.

Учитель играл не только для нас, но и для себя, вспоминая, как он ездил с концертами по стране, работая в областной филармонии. Кукушкин, пользуясь особенностью учителя «уходить в себя», начал ковыряться в своем портфеле, роняя по очереди на пол то учебник, то ручку, а затем, доставая эти предметы, задевал головой крышку парты, которая громко стучала. Учитель строго смотрел на нерадивого ученика, не переставая играть на баяне. Только желваки ходили на его скулах от злости.

Закончив играть, он строго крикнул:

— Кукушкин! Что это?

Тот поспешно вскочил:

— «Петушок»!

— Садись! — брезгливо сморщился учитель и добавил: — «Амурские волны».

И тут же начал играть следующее произведение. Закончив его, он со злостью в голосе спросил:

— А это что? Кукушкин!

Ученик, запомнивший только название литовского танца, стоял на своем:

— «Петушок»!

— «Канкан». Садись, Кукушкин, — краснея и задыхаясь, выдавил преподаватель. И начал нервно играть литовский народный танец. Закончив, заорал:

— Кукушкин! Ну?

Бедный мальчуган, красный, с полными глазами слез, стоял молча, опустив голову. Казалось, еще несколько секунд, и он расплачется. Увидев состояние мальчишки, учитель уже спокойным голосом сказал:

— Вот он, твой «Петушок». Эх, ты.... Садись, Курочкин.

Но поняв, что оговорился, с досадой добавил:

— Тьфу ты! Кукушкин! — и тут же рассмеялся.

Мы увидели сменившееся настроение учителя, весело поддержали его громким смехом. Вот так, из-за отсутствия музыкального слуха Кукушкин получил обидную кличку «Курочка».

Ирина Афанасьева. Вовка

Он вошел вечером 11 сентября 1966 года без стука, как будто ходил к нам каждый день. Поздоровался и попросил дать какую-нибудь интересную книгу или журнал. Я видела мальчишку первый раз в жизни и поэтому спросила имя и где живет. Он ответил, что зовут его Вовка и что он приехал с Урала к тете Зине Тивоненко жить и учиться в седьмом классе. Ноги нового соседа были согнуты в коленках, ботинки искорежены, руки подрагивали. У меня как-то странно забилося сердце. Оно всегда так стучало, когда я волновалась. Я подошла к этажерке, взяла подшивку «Вокруг света» и подала мальчишке. Он улыбнулся, хотя глаза так и остались грустными, сказал спасибо, засунул журналы за ремень и пообещал прийти завтра. Когда он вышел, я кинулась к окошку и долго смотрела, как он, держа в руках костыли, шагал по дорожке.

Вечером я рассказала маме о мальчишке. Она добавила, что его мама умерла, папы нет, и поэтому он приехал в Мамонтово. Будет учиться со мной в одном классе, и она будет заниматься с ним математикой и физикой, и эти занятия будут проходить у нас дома. (Мама преподавала физику и

математику в вечерней школе.) Остальные уроки будут вести учителя нашего класса дома у Вовки. А на мероприятия его будут возить на школьной машине.

Я стала готовиться к приходу Вовки. Поставила на комод коробочку из-под папирос «Казбек», в которой хранились марки и этикетки, баночку со значками, копилку с новыми монетками и стала ждать.

Вовка пришел в семь часов вечера. Мама сразу же провела его в зал и стала расспрашивать про бывшую школу и учителей, какие предметы любит, чем увлекается. Они решали какие-то сложные задачи, мама хвалила его, ставила мне в пример, потом начали разговаривать о Ньютоне и его законах. А в конце урока мама включила проигрыватель на 78 оборотов, уложила на пластинку мелкие предметы на разном расстоянии от центра диска, и мы смотрели, какие из них слетают, а какие нет. Мы строили гипотезы, мама их опровергала, а потом мы пили чай с пирогом, испеченным тетей Зиной.

К моей коллекции Вовка добавил пачку марок с Юрием Гагариным, несколько монет, выпущенных до 1961 года и набор красивых камней с Урала, приклеенных на картон. После школы я бежала к своему другу. Мы читали книжки, составляли ребусы, играли в шахматы, шашки, «чапая» и потихоньку мастерили костюмы к Новому году. Тетя Зина радовалась нашей дружбе, а близнецы Ливановы дразнили нас: «Сладкая парочка — гусь да гагарочка». Я несколько раз подралась, и они утомонились. Вечерами приходили учителя. После занятий выходили взволнованными и восхищенными его жизнелюбием и знаниями. Одноклассники тоже не забывали Вовку, помогали кто как мог: носили воду, дрова, растапливали печь, мыли посуду. (Тетя Зина работала посменно нянечкой в больнице, и часто вечерами ее не было дома.)

Дни летели быстро. 30 декабря 1966 года, держась за руки, к елке подошли Принц и Русалочка. Вовка первый раз был на таком многолюдном вечере и поэтому волновался. Неожиданно из-под елки выскочи ли два «зайца» и громко крикнули: «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» Мы поняли, что это близнецы Ливановы, и даже не обиделись. К лету они остепенились и стали нашими лучшими товарищами. Возили Вовку на рыбалку, учили кататься на велосипеде, помогали колоть дрова...

Прошло несколько лет. Мы не стали «женихом и невестой», потому что в 1968 году, 20 декабря, Вовка умер от дифтерии, потому что ему не сделали на его Урале прививку. Ему было всего шестнадцать. Он знал много стихов, на олимпиадах почти всегда был лучшим. Занимался с двоечниками, на которых все махнули рукой, собирал крошечные радиоприемники, рисовал простым карандашом фантастические картины о космосе и инопланетянах...

Хоронили Володю 25 декабря. День был морозный, но проводить его пришла почти вся школа. Жизнь и смерть мальчишки с Урала повлияли на судьбу многих людей: братья Ливановы стали детскими хирургами, кое-кто из бывших двоечников окончил школу без троек. Я поступила в электротехнический институт, о котором мечтал Вовка. Вышла замуж за однокурсника, которого не случайно зовут Володя. У меня дома много камней, подобранных на дороге. Никто не верит, что такая «красота» лежит под ногами...

Много лет спустя у соседей родился малыш с диагнозом ДЦП. Я рассказала им о Вовке. Алешка растет отличным парнем. Родители его любят и гордятся его успехами в школе. Врачи сделали несколько операций. Он почти не хромот. Когда я встречаю его, мне кажется, что это Вовка вернулся из прошлого. Идут годы. Летом я прихожу к могиле друга и приношу несколько красивых камней. Долго сижу на скамеечке, а когда кто-нибудь подходит и спрашивает: «Кто такой Владимир Борисович Тивоненко»? Я отвечаю: мальчик из моего детства, подаривший мне жизнь. И если просят, рассказываю о том, как я неудачно спряталась в заброшенном колодце и что именно Вовка нашел меня и вытащил чуть живую, потерявшую голос и надежду на спасение.

Валерия Суворова. О рожденных в середине прошлого столетия

В 1965 году, когда я пошла в первый класс, мне и семи лет от роду не было. Детей тогда так рано на учебу не отдавали. Рожденные в сентябре, октябре, ноябре шли в школу почти восьмилетками, поэтому я среди них казалась щупленькой и маленькой. И прозвище мне тогда сразу дали — «пичужка». Коса моя была почти до самого подола школьного платья. Форму носили не очень длинную, поэтому, поднимаясь на второй этаж краснокирпичного старинного здания бывшей мужской гимназии (а во время Великой Отечественной войны — госпиталя), девчонки держали свои портфели сзади, — на всякий случай, чтобы соблюсти нормы приличия. Форма коричневого цвета для девочек, с черным фартуком, шла почти всем. Но размер у меня был маленький, детский, поэтому, не найдя ничего подходящего в магазине, мне сшили в ателье роскошное платье из коричневого панбархата. А нарядный белый фартук с шелковыми крыльями мне мастерила мама сама всю ночь перед первым сентября.

Школа № 6, в которой я училась, была единственной специализированной в провинциальном областном городе Калинин (теперь снова Твери), в ней преподавался английский язык со второго класса по особой программе, в шестом классе была география Великобритании, в восьмом и девятом — английская литература в оригинале, вместо уроков труда в старших классах — технический перевод. Учебников для такой школы было не достать. Ученики, чьи родители могли скопировать отрывки текстов или географические карты, пользовались особым расположением.

Подарков тогда было делать не принято. Не то чтобы кто-то это запрещал открыто, но не принято — вот и все. Самый большой подарок, который мы покупали учителю, был букет цветов. В нашей школе учились дети многих высокопоставленных и влиятельных лиц города, но ни подхалимства, ни поблажек, ни расслоения на «тех» и «этих» никогда не замечалось.

Анна Ивановна, директор школы, казалась нам грозной и неприступной взрослой дамой. Она помимо прочего была еще и учителем математики, которую я не понимала и недолюбливала. Поэтому когда в класс входила директор, я с замиранием сердца следила за ее взглядом и старалась втянуть голову в себя поглубже, чтобы остаться незамеченной.

Родители очень рано — по тем временам — подарили мне на день рождения золотое кольцо «поцелуйчик» с двумя глазками — розовым и рубиновым. Колечко было нежным, девичьим, мне ужасно хотелось носить его постоянно. Но я ведь плохо училась по математике! Сознывая это, перед уроком алгебры или геометрии я тихонько стаскивала кольцо с пальца и прятала в портфель. «Теорему ответить не можешь, а кольцо напялила!» или «По самостоятельной работе опять двойку получила, а кольца носишь!» — так и звенело у меня в ушах. Зато на русском, литературе, английском колечко с пальца не снималось.

Классным руководителем тогда у нас был Михаил Юрьевич, взрослый опытный педагог, прошедший войну, преподававший у нас еще и английский. Класс делился на три языковые группы по девять-десять человек в каждой. Я была в группе Михаила Юрьевича. Он относился к нам по-отечески, у него подрастала дочь, немного постарше нас. Позже, через много-много лет, мы встретились с Михаилом Юрьевичем, приехавшим издалека на юбилей факультета университета, но учитель не узнал ученицу. Мне было жутко горько от этого, но ведь таких, как я, у него были сотни, всех и не упомянуть, наверное...

Я очень любила английский. У меня никогда не было сомнений или колебаний, куда я пойду учиться после школы: конечно, на РГФ! Словосочетание «романо-германская филология» грело душу и вселяло большие надежды на будущее. Кто тогда думал о том, что пока ты беспартийный, то близко

не подойдешь к этому самому «романо-германцу», будешь стоять по разнарядке в очереди, как «прослойка», чтобы вступить в ряды. Да нагрянет перестройка. И пойдешь ты по жизни бок о бок с отечественным библиотечным делом, правда, активно используя знание иностранных языков, особенно в 92—93-м, когда зарплату будут давать раз в три месяца и придется держать роту учеников, жаждущих изучать английский.

А тогда, в далекие семидесятые прошлого века, мы выросли медленно, шаг за шагом осваивая городское пространство. В кинотеатре «Вулкан» был широкоформатный экран, и впервые пустили фильм «Оливер», да на английском! Это было невообразимо. Мы и иностранцев-то, кроме учившихся в мединституте афроамериканцев, как сейчас принято говорить, не видели, не то чтобы англичан. В классе организовали несколько звеньев, члены одного из которых, носившего название «Искусство», сразу же побежали в первый воскресный день в кино. Мы учились по субботам, поэтому единственный выходной было жаль тратить по пустякам, но на такое! Нас привлекала не столько иностранная жизнь, сколько возможность послушать живую, как же они все-таки говорят по-английски. Ведь учили нас в основном русские евреи. А учителей наших, в свою очередь, учили другие такие же, и, заметим, ни одного англичанина среди них не наблюдалось.

Но вскоре наше звено расформировали: уж слишком подозрительным показалось администрации наше увлечение искусством. Наверное, не зря. Лет через десять двое из звена эмигрируют в Израиль, двое — в Америку, двое выйдут замуж в Москву, один, бедный наш Эдик, — Эдмон Оттович, умрет от алкоголизма, но оставит все-таки после себя потомство, женившись сразу после школы в восемнадцать лет.

Этот Эдик Никольский очень мне нравился, теперь даже и не знаю чем. Розовощекий, щуплый, среднего росточка, в очках с толстыми стеклами, Эдик хорошо рисовал. У него у первого появились фломастеры — карандаши, которые и точить не надо было, а таких цветов и оттенков, что глаз не оторвать! Мы с моей соседкой по парте Ленкой Дикушиной часто шли сзади Эдика по пятам после уроков, провожая его до дома и пытаясь добиться внимания, но безрезультатно.

Только однажды, после ноябрьского осеннего бала в классе восьмом, Эдик проводил меня до дома. А так как школа находилась в центре города, то идти пришлось далековато. Парни с девушками тогда вели себя скромно. Мальчишка вел меня, приобняв за плечи, и я думала, что с ума сойду от счастья. Первая любовь, ничего не поделаешь. Это чувство окрыляло меня тогда, ноги сами несли меня в школу — ведь я увижу его! Однажды на родительском собрании Валентина Ильинична, наша химичка, сказала моей матери: «Не пойму, когда я им объясню новый материал, почему Лера смотрит все время вбок, а не на меня». А слева, через ряд, на задней парте сидел Эдик.

Мальчишки нашего класса, только повзрослев, сняли с себя суконную мышиную форму и приделались. Пошли в моду брюки-клевш, а где их купить-то было? Сережка Челышев, разгильдяй и двоечник, оторвал от скатерти желтую шелковую бахромку, да и вставил по бокам брючин. Пришел на экзамен в восьмом классе, а его не пускают в зал сочинение писать, прогнали домой переодеваться. Боролись учителя и с прическами: девочкам не разрешали кудри завивать, а мальчишкам — «под «Битлов» косить». А им так хотелось! Волосы длинющие по плечам лежат, сигареты, как выйдут из школы, втихую прикуривают, воображают, что уже взрослые. Жевательную резинку, как мы тогда ее называли, «жвачка», всегда делили по-братски: изо рта в рот! Один пожует, другому передаст. А то из лыжной мази с гудроном и смолой чего-нибудь похожее сварят — смех, да и только.

Сейчас этого добра полно. Мои сыновья не верят, что у нас не было жвачек, чипсов, дезодорантов, колгот и многого другого, без чего современные школьники и жизни себе не представляют. Половина мальчишек нашего класса хирургами стали, кардиологами, стоматологами

— вот тебе и длинные прически и брюки-клевш! Они не помешали. Встретив однажды одноклассника, Олега Савилова, в Москве, была поражена, каким он стал любящим отцом, внимательным и заботливым. За пятнадцать минут нашего разговора он раз пять повторил: «Моя Сашенька, моя Сашенька...». А сам в детстве пару раз из дома сбежал, житья от него учителям не было, дурака валял на уроках, изводил всех, выгнали его после девятого класса со справкой в вечернюю школу.

Все было, и плохое и хорошее. Чего больше — сейчас и не разберешь.

Владислав Щербак. Была такая партия!

Была у нас в школе своя партия в отдельно взятом классе. Возникла она, как возникает все хорошее, спонтанно. Дело было в подвале школы. Вернее, в тире. Наш бывалый военрук привел туда весь класс популять из мелкашки. Первым на рубеж направил девчат. Понятное дело, что при стрельбе лежа у прекрасных дам могло что-нибудь некстати задраться, а потому пацанов отправили в дальний полутемный угол.

Стерли тряпкой пыль со сваленных парт и принялись обсуждать очередной указ завуча. А придумала она дополнение школьной формы для старшеклассников. Повелела иметь сменную обувь в виде тапок вместо туфель и сделала обязательным ношение галстука. И тут кто-то сказал: «Да мне по фигу!» Тут же послышалось: «И мне!» — «А мне-то как...» Вот тут я и пульнул ненароком: «Да из вас хоть партию создавай! Всероссийскую партию пофигистов!» Дурное дело не хитрое. И к тому моменту, как нас позвали на рубеж, мы уже утвердили партийный взнос в размере 20 копеек.

На литературе расхватили все партийные «крылья»: кто ультраправое, кто просто левое, а кто целенаправленно записался в анархисты. Распределили задачи по созданию устава, гимна и газеты. Попутно учредили День Пофигизма — отмечать его решили ежедневно.

Через три дня 15 ноября 1985 года в одном экземпляре в химкинской школе № 4 вышла газета с пофигистичным названием «Бульдозер». Была у меня дома старенькая пишущая машинка «Москва». Одна из нечастых букв отсутствовала, зато ленточка была красно-черная!

Титульная страница «органа ВППФ» нарочито пародировала советские газеты — шла «вода» про съезды да про прием в ряды новых товарищей. Оборот выглядел веселее. Во-первых, успел пройти конкурс пофигистического плаката, призы которого могли конкурировать со знаменитым «Сеятелем». Далее шла спортивная рубрика: «Слон» — игра сильных!» Ведь накануне после субботника провели очередной «турнир».

Немногожко ликбеза. В «слона» играли везде, но по-разному. У нас на земле очерчивали круг, куда жребий выдвигал двух кандидатов — четыре ноги. Они сцеплялись в наклоне, а остальные участники, как гиббоны, прыгали им на спины. Но не все так просто! Еще был водящий — он охранял слона внутри круга. Его касание превращало «гиббона» в очередные две ноги, сменяя одного из несчастных. Но если какому-то чересчур прыткому «гиббону» удавалось прыгнуть на плечи водящего, то он вывозил его за круг. Естественно, в это время остальные атаковали слона, пока он не падал. Словом, весело! Особенно когда кто-то из девчонок спрашивал: «А где у слоника хобот?»

Вернемся к самому на то время пофигистичному СМИ. Завершали газету объявление о предстоящем конкурсе изобретений и горячий призыв сходить в баню. Прогноз погоды был лаконичен: «Скоро лето!» Несмотря на ноябрь. Нижней строчкой указывалось, что газета будет выходить еженедельно.

Неделя в школе прошла в борьбе. Вышел срок, отпущенный завучем на «перевооружение», и бурным потоком выплеснулась наша пылкая фантазия. Мне брат из своей дембельской шинели сваял войлочные башмачки, напоминавшие те, в которых Герда искала Кая. Кто-то приделал к тапкам крылья. Большинство соратников по партии украсили свою новую сменку разноцветными помпонами и рюшечками.

Насчет галстуков тоже уточнений не было, многие их и без указов носили. Но тут надо же побузить! Вмиг прижилась простая черная бабочка, и часть старшеклассников стала напоминать не то академический хор, не то слет официантов. Я вспомнил бант кота Леопольда. Советская легкая промышленность особо народ не баловала. Но с годами у каждого мужчины в шкафу собирался широкий ассортимент затрапезных галстуков шириной в полторы ладони, чаще дареных. Вот эти отцовские раритеты с петухами тоже пошли в ход.

Так что передовица второго номера периодического издания ВППФ уже не была скучной. «Бульдозер» призывал не оставлять позиции, продолжать внедрение идеологии пофигизма в учебный процесс. На обороте описывался культпоход в баню, где завсегдатай Паша веником едва не выбил дух из своих соратников. Трое партийцев, демонстрируя принципы, пошли стричься наголо при подступающей зиме, однако в процессе двоим как-то расхотелось, за что печать заклеимила их позором.

Во время больших перемен прошли соревнования «Черезкозельные прыжки» на лучшую «кукарачу», в результате Шурик порвал по шву брюки от ширинки до пояса, а я отбил копчик. Покорил же болельщиков этого престижного вида пофигистического спорта долговязый Димон. В разделе «Наука и техника» перечислялись конкурсные изобретения на грани фантастики, вроде кувалды «Раздолбай-ка» и универсального усилителя «Муха тоже вертолет». На том лист бумаги формата А4 кончился.

И тут до меня добралось ОРЗ (так в те годы называли ОРВИ). За это время прошла череда экстренных родительских собраний, на которых родители от души порадовались нашим экспериментам в мире моды, но по прибытии домой сделали чадам внушение и привели галстуки и тапки в божеский вид. Недельный пропуск — солидное время для комсорга школы. Мне пришлось наверстывать знания и скорым темпом начинать хлопоты по подготовке череды новогодних мероприятий. Словом, стало не до партии.

Очень даже вовремя мы остановились. Нас тогда «слили», и эти две партийные недели мне припомнили при предоставлении характеристики с места учебы. Партийные взносы ушли на пленку для восьмимиллиметровой кинокамеры (видеокамеры тогда были редкостью). Кроме фильмов студии «Паш-кино» до сих пор жива банная традиция. Ряды наши поредели, но «партийные сливки» на «съездах» с доброй улыбкой вспоминают наш оппозиционный почин. И, если у ж быть до конца честным, то называлась партия не ВППФ, а ВППХ.

Светлана Бахтина. Мы «бэшки»!

Мы, рожденные в семидесятых, поступили в школу в 1980 году, после нашумевшей Олимпиады, а закончили в 1990-м, в разгар перестройки. Наш класс «Б» зеленодольской школы был самым шумным, самым неугомонным. Нам казалось, что это круто, и мы даже гордились, что «гремим на всю школу». Правда, частенько не с лучшей стороны. Но и в этом мы были детьми своего времени.

Учительница начальной школы крепко держала нас в руках, и поэтому четвертый класс показался глотком свободы. Мы стали заниматься на этаж выше, вместе со старшеклассниками, у нас появились новые увлекательные предметы и учителя. Было сложно привыкать к каждому, и мы на переменках подходили к «ашкам» или «вэшкам» (потом появились «гэшки», а после — «дэшки») и узнавали: «Как у вас прошло рисование? — Весело! — А математичка? — Зверь. Столько всего задала на дом!» К тому же нас приняли в пионеры — всем классом на торжественной линейке, — и теперь мы учились завязывать красные галстуки. Мы относились к этому серьезно: если вдруг кто-то забывал надеть его, то на общем фоне чувствовал себя голым. На стенах коридора висели портреты пионеров-героев. В том числе Павлика Морозова — как позже выяснилось, подвигов никаких не совершавшего, а наступавшего на отца из мест. Как-то незаметно их портреты потом снимут и повесят на их место высказывание Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» — прописные истины на все времена.

Наверное, в том же шестом классе к нам привели новенькую. Это была дочка учительницы географии Оля К., и она стала нашим классным «чучелом», как в нашумевшем в 1993 году фильме Ролана Быкова. Но тогда мы этого фильма еще не видели. Оля К. была альбиносом, выглядела страшенькой, из-за своего высокого роста все время старалась скрючиться, стать меньше и незаметнее. К тому же она картавила, заикалась и очень плохо училась. В общем, она была идеальной мишенью для возросшей агрессивности подростков — нам в это время было по 13—14 лет. Мальчишки тыкали в нее ручками, дергали за слишком белую, как будто ненастоящую косичку, отбирали тетрадки, читали вслух со всеми ошибками безграмотные записи, и класс дружно ржал.

Нет, конечно же, не весь класс: у Оли К. появилась защитница — другая Оля, Оля М., отличница. Их даже посадили за одну парту, и Оле М. пришлось держать круговую оборону, помогая Оле К. во время уроков, подсказывая и, чего уж там, — решая за нее задачки, а во время перемен отбиваясь от наглых мальчишек. Они и правда были наглые. Особенно те, кто не вышел ростом, учился так себе, на троечки, — их было трое-четверо, но они, как говорилось, позорили весь класс. И когда не дрались друг с другом, сбивались в кучку и сильно досаждали двум Олям. Некоторые одноклассники кричали: «Хватит, отстаньте от них!» — но это помогало не надолго, до следующей перемены.

До восьмого класса, пока не ушла из школы, Оля К. так и была изгоем, а Оле М. доставалось за компанию. Правда, Оле М. еще и завидовали, потому что она училась очень хорошо, была из интеллигентной семьи, ее старший брат тоже был отличником и председателем Комитета комсомола (КК) школы, а ее младший брат — по мнению педколлектива — слыл самым умным из их семьи, которая «кует золотые медали». После десятилетки Оля М. поступила в Казанский университет и окончила его, аспирантуру и преподает в одном из престижных вузов.

Кажется, в седьмом классе к нам пришел Байрам. Он сразу подружился с самым сильным мальчиком Виталием К. Вместе они снова прославили класс на всю школу. Дело было на уроке пения. Пожилой пузатый учитель играл на аккордеоне, класс пел что-то вроде «Красная армия всех сильней» — репертуар отставал от жизни лет на шестьдесят. Как вдруг учитель заерзал на стуле, вдруг подскочил, повернулся к сиденью лицом, к нам задом, и все увидели у него на штанах прожженную дырку и кусочек сидалища. Класс грохнул от хохота. Учитель побагровел, набычился и, пообещав этого так не оставить, удалился вместе с инструментом.

Потом был педсовет, на котором Байрам и Виталий объясняли, что подложили на стул гидроперит (мама Байрама была парикмахером) за то, что преподаватель шлепал по попе одноклассниц, задирая им коротенькие платяца. Это была правда, класс подтвердил, и мальчикам их проказа сошла с рук. К сожалению, они почувствовали безнаказанность и дальше ввязывались в более

неприятные истории. Они стали хамить на уроках, драться со старшеклассниками, вести себя вызывающе и за пределами школы. Закончилось это весьма плачевно. Байрам после школы был объявлен в розыск, скрывался, и судьба его осталась неизвестна.

Мама Оли К. преподавала нам географию. Как это часто бывает с учителями, она слыла сильным предметником, но плохим педагогом. Однажды она влетела на урок, мы дружно встали из-за парт. Она начала кричать: «Вы класс идиотов, класс жестоких людей! Вы даже не достойны называться людьми!» Конечно, можно было понять, что в ней бушевала оскорбленная мать, защищавшая дочь от насмешек. Но ведь не все доводили ее дочь, были и те, кто защищал девочку, устраивал мальчишкам «бойкот». После криков она велела всем сесть и сама рухнула на стул.

Байрам шепотом сказал: «Кто не согласен, — не садитесь!» И весь класс остался стоять. Кто-то начал издавать звук, похожий на гул. Класс подхватил. Она сидела и смотрела, как стоит лес уже вытянувшихся пятнадцатилетних людей и не собирается подчиниться ее приказам. Вскочила и убежала в учительскую. Через пять минут пришел наш классный руководитель, историк. Мы стояли. Он посадил нас движением руки, сел за учительский стол и начал разговор: «Я понимаю, почему вы так поступили. Но...» Он говорил оставшееся время до звонка тихо, просто, понятно. По его мнению, обе стороны неправы, и обе стороны должны извиниться друг перед другом: учитель и класс. Его слова звучали справедливо, мы согласились. Наш классрук в очередной раз разрулил неприятную ситуацию. Позже он будет выступать защитником подсудимого Виталия К. и вытащит его из нехорошей статьи, ему заменят тюремное наказание другой мерой пресечения. Правда, через несколько лет Виталий К. снова окажется на скамье подсудимых, но учителя-защитника рядом у же не будет. Виталий будет осужден, выйдет из тюрьмы досрочно, но умрет от открытой формы туберкулеза через пару лет после освобождения. Он был неплохой, но вспыльчивый парень, любивший махать кулаками. Ему уже никогда не исполнится тридцати.

Учитель истории появился у нас в восьмом. Наша бывшая классная уходила в декрет, и никто из учителей брать себе шебутных «бэшек» не хотел. Нас отдали новому преподавателю — пусть покажет, что он из себя представляет на практике. Он был молод, на вид лет тридцать, формально числился еще комсомольцем, поэтому должен был подчиняться школьному комитету комсомола (КК) и его председателю, выбиравшемуся из учеников. Тогда над этим посмеивались, но реально никто не собирался оспаривать сложившееся парадоксальное положение вещей.

Наш первый урок истории начался так: прозвенел звонок, все уселись по местам, и только двое драчунов сцепились у самой доски. Историк зашел, встал рядом с пыхтящими мальчишками, схватил их за загривки и, приподняв каждого одной рукой, на весу расцепил обоих. Это был наглядный пример, зачем школе нужны мужчины-педагоги, — для равновесия сил. И урок нам, неугомонным «бэшкам». После того как покрасневшие драчуны в ошеломлении уселись на свои места, историк процитировал:

— Здравствуй, племя молодое, незнакомое!

— Здравствуй, вождь! — тут же нашелся Ромка с первой парты.

И все дружно рассмеялись. Полшколы были влюблены в историка, включая учительниц. Другие полшколы испытывали к нему антипатию. Он был из тех ярких личностей, к которым нейтрально относиться невозможно. У него была своя система записи конспектов, проведения контрольных занятий, он вел политический клуб «Ринг» и школьный театр. Ушел он неожиданно, не доведя нас до выпускного десятого. Подался в коммерцию, как и многие бюджетники того времени, уехал из города. Ходили слухи, что его встречали то в Питере, то в Москве, но в школ у он так и не вернулся. Жаль,

это было его призвание: учить молодых, спасать, как несмышленных, слепых котят, от самих себя. Хотя можно ли спасти человека от его судьбы?

Старшие классы помнятся особенно хорошо. Мы уже понимали, что в стране идет перестройка, и по старой пионерской привычке подхватывали звучащие по телевизору лозунги «Демократия! Гласность! Свобода совести!», не осознавая их сути. Смотрели по ночам «Прожектор перестройки» и «Взгляд». Тайком читали «Мастера и Маргариту», «Брак под микроскопом» и Солженицына. При этом танцевали на дискотеках под «Белые розы» «Ласкового мая», «Вишневу девятку» «Комбинации», а дома на кассетниках слушали Цоя, ДДТ, Алису, Никольского. Хиты ловили и записывали с «Утренней почты».

Помню, в восьмом меня приняли в комсомол, и я, гордая этим событием, пришла на первое общешкольное собрание. Непонятно, что меня дернуло, но я встала и выступила «с пламенной речью» — и неожиданно была выбрана новым председателем КК школы. Передо мной открылись радужные перспективы: попасть в комсомольскую элиту было почетно, можно было продолжать дальнейшую карьеру и идти в чиновники по партийной линии — осколки старого мировосприятия еще сидели в наших мозгах. Со мной стали здороваться учителя, которых я даже не знала по имени, а директор вызывала к себе в кабинет и вела душевные разговоры, в том числе личного характера. Но время было уже другое, комсомол пребывал в агонии, после его ликвидации в 1991 году рухнула и однопартийная система в стране.

Но мы всего этого не могли предвидеть. Мы, как родители и вся страна, мало понимали, «куда влечет нас рок событий». В школах отменили политинформацию — она и так хлынула через край по телеку. Я занялась тем, что было нужнее учащимся, — как ни странно, это школьные мероприятия: осенний бал, КВН, вечер выпускников, новогодний бал, майские праздники, трудовой десант с посадкой саженцев и День ветеранов. И обязательная дискотека после — иначе приходиться в школу в свободное время ученики уже не хотели. Жизнь и правда была бурной, но я поняла, что организация досуга отнимает много времени и сил от учебы. И перед очередным 1 сентября взяла свой комсомольский билет, написала заявление о выходе из комсомола и сдала вместе со значком. Мне предложили оставить корочку на память, но я отказалась. Так я сходила во власть и вернулась с пониманием, что есть более важные ценности.

За страницами этого рассказа осталось достаточно много одноклассников. Это не значит, что они не достойны упоминания, просто их жизнь и судьба еще пишутся, и слава Богу! Кто-то разъехался по большим городам, кто-то остался верен нашему маленькому Зеленодольску. Они работают, содержат семьи, растят детей и еще немного, через каких-нибудь пять-десять лет из поколения родителей перейдут в поколение бабушек и дедушек. Они честно проживают свою обычную на первый взгляд жизнь, а ведь это во все времена было не самым простым делом. Может быть, они не совершат ничего выдающегося, ни со знаком плюс, ни со знаком минус, но для меня они навсегда останутся неслучайными, близкими людьми, моим поколением, моими «бэшками».

Ну, а я, их самозванный летописец, получила два образования, вышла замуж, родила сына, живу вполне современной жизнью среднего класса. Вот разве что пишу иногда, не особо надеясь быть услышанной, как и все наше поколение, заплатившее свою дань смутному времени перестройки, но в большинстве своем вышедшее из него если не победителем, то жизнеспособным и вполне устойчивым к социальным переменам. Как растение, не требующее особого ухода. Мы — осенние цветы, одинаково стойко переносящие и жару, и холод, и дождь с ветром.

Юлия Харланова. Три истории о непростой школьной дружбе

Мое школьное детство совпало с периодом перестройки в нашей стране. Училась я в 1987—1995 годах в тульской школе № 10. Меня успели принять в пионеры, и я была горда, что на груди у меня горит красная звездочка. Но к старшим классам уже забыла, что такое школьная форма и красный галстук, а в школу ходила в потертых джинсах и футболке.

Думаю, что нестабильность в стране в те времена наложила отпечаток на мою школьную жизнь. Она тоже была какой-то странной. Помню, что в средних классах я ходила в школьной форме темного цвета и ярко-красных босоножках на каблучке с вставками из лайкры. Это несоответствие стилей было предвестником перемен в будущем... К тому же в девятом классе я перешла в другую школу, носившую название «лицей». Уровень образования в нем был выше, и вначале я перебивалась с тройки на тройку, хотя привыкла к более высоким отметкам. К одиннадцатому классу все наладилось, но это стоило больших трудов. Зачем я создала себе такие трудности, сама не знаю. Видимо, поддавалась общему настроению, стремлению к переменам, к смене образа жизни. Но в целом я не жалею об этом. Хотя было и трудно сменить друзей, учителей, но эти изменения были к лучшему и сделали меня сильнее. Я считаю, что то же самое происходило и в нашей стране.

Когда я вспоминаю свою первую и главную школу, то у меня не возникает мыслей ни об уроках, ни о школьных праздниках или линейках. Это было, но не трогало и не отложилось в душе. А вспоминаю я своих мальчиков. Так ласково мне хочется сегодня назвать моих друзей. Хотя в школьные годы они были мне не настолько близки. Я была просто девочкой и делала вид, что мне они совсем не интересны.

Каждый из них был одновременно уникальным, не похожим на остальных, но, с другой стороны, их образы достаточно типичны: типажи мальчишек советских времен.

Первый образ — мальчик на велосипеде. Сейчас их практически нет в наших дворах. Это был Сергей. Он жил в моем дворе, ходил со мной в одну группу в детском саду и учился со мной в одном классе. Он был моим хорошим другом, до тех пор пока мы не повзрослели и стали друг другу неинтересны. Ко всему прочему, он, так же как и я, перешел в лицей, но попал в другой класс.

Второй типаж, существующий во все времена, — самый красивый мальчик в классе. Он был неотразим, высокого роста, стройный, с правильными чертами лица. Даже обычная школьная форма сидела на нем как-то особенно, более элегантно, чем на других, обычных мальчишках. Это был Олег, кумир всех девочек класса.

Третий персонаж — Андрей. Полная противоположность Олега. Пухлый, с толстыми губами и выпуклыми глазами, которыми он часто долго и пристально смотрел на меня. Андрей был «белой вороной» в нашем классе, и даже разговаривать с ним считалось ниже своего достоинства. Мне до сих пор стыдно за то, что на его симпатию я отвечала насмешливой надменностью.

Вот они, мои мальчики, и так много воспоминаний, милых сердцу, сразу всплывают в памяти. Теперь подробнее о «типажах».

Сергей любил кататься на велосипеде, объезжая наш довольно большой двор по кругу. Мне еще в школьные годы очень нравилась песня «Ласкового мая»:

*А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать, голубей гонять
Дразнить Наташку, дергать за косу,
На самокате мчаться по двору.*

Это как раз о нас с Сергеем. Только вместо самоката был велосипед.

Сергей часто катал ребят с нашего двора, особенно малышей. До меня дело так и не доходило или было один раз... Уже не помню. Самое же яркое воспоминание — это его день рождения. Купив с мамой какую-то большую машину, мы пришли к нему домой. И я подумала: зачем ему еще одна, когда их у него и так полно. Мы сидели на ковре и играли в железную дорогу. В те времена я еще не рассматривала мальчиков как объект любви, и это все упрощало. Мы играли по-детски, хотя были уже школьниками.

Потом мы стали отдаляться друг от друга. Он стал казаться мне грубым, некрасивым, с неправильной речью. Я стала взрослеть и, к сожалению, забывала о своем старом друге. Да и он не стремился уже к общению. Мы жили в разных мирах и учились в разных классах. Это отдаляло больше и больше. У каждого появились свои друзья, и на этом дружба закончилась. По последним данным, он женился, и я искренне желаю ему успехов и семейного счастья. Надеюсь, он обо мне помнит...

Олег мне понравился, как только я его увидела. Он пришел в наш класс в середине учебного года. Его родители переехали в наш город из Москвы, и это было заметно даже по тому, что его школьная форма отличалась от той, что у наших мальчиков, которым покупали ее в единственном в городе «Детском мире».

Олег был очень приметный: высокого роста, с гордо поднятой головой. Мы с подругами начали с ним активно общаться, и через какое-то время он стал приносить нам разные гостинцы: конфетки в ярких обертках, жвачки, разноцветные леденцы. Это также отличало Олега от наших одноклассников. От его вещей шел запах московских универмагов и зарубежных магазинов, и это еще больше притягивало и вызывало интерес.

Олег сидел на последней парте, и я иногда поворачивала голову назад и встречалась с ним взглядом. Но он проявлял большой интерес к моей подруге, бойкой и веселой девчонке. В связи с ним мне запомнилось два случая — необычных и странных.

Однажды мне в дверь позвонила подруга и попросилась в гости. Повод был до жути странным: ее преследует какой-то мужчина опасного вида, и она боится идти домой. Все было сказано настолько искренне, что я поверила. Посидев немного, она сказала, что у нее свидание на школьном дворе с Олегом, но она боится выходить из квартиры, поэтому, как лучшая подруга, я должна пойти вместе с ней. Скрепя сердце, я согласилась. До школы было недалеко, нужно было лишь перейти дорогу. Как сейчас помню, Олег стоял во дворе в ярко-красной шапке. Они с подругой какое-то время поговорили, и она пошла домой. А я осталась с Олегом, и у нас тоже получилось что-то вроде свидания. Потом уже мне пришла в голову мысль, что все это было подстроено.

Второй случай был еще более необычным. Подруга сказала, что встречается с Олегом и его другом в нашем дворе после уроков и что они зовут и меня. Я отказалась, потому что вечером почти каждый день ходила на художественную гимнастику, которой занималась профессионально. Вот после уроков я, обойдя свой дом, зашла с другой стороны, чтобы тройка меня не заметила. Но только я оказалась в поле зрения, Олег заметил меня и побежал навстречу. Я почувствовала себя неловко: я же отказалась встречаться. И тоже побежала, только к своему подъезду. Поняв, что не дождусь лифта, я стала быстро подниматься по лестнице, а квартира моя находилась на самом последнем, девятом этаже. Услышав, что скрипнула входная дверь подъезда, я поняла, что Олег не прекратил погоню. Где-то на пятом этаже он сдался, так и не догнав. До меня долетели лишь его слова разочарования и досады. Потом я все думала: что бы случилось, если бы Олег все-таки настиг меня? И мне уже хотелось, чтобы это и произошло... Вот такая странная детская любовь детей перестройки...

Олег ушел из нашей школы так же неожиданно, как и пришел, его родители опять куда-то уезжали. Как раз перед его отъездом я сильно заболела гриппом и лежала с высокой температурой. Олег с другом пришли проведать меня и принесли большие апельсины. Я лежала в постели, и мама взяла их у мальчиков, не пропуская ко мне. Я так и не узнала, был ли их приход личной инициативой или поручением классного руководителя. С тех пор Олега я не видела и ничего не знаю о его судьбе. Вот такая была моя первая школьная любовь. Короткая и непонятная...

Андрей временами вызывал у меня приступы жалости, но я старалась о нем не думать. Сейчас, став взрослой женщиной, я понимаю — как ни банально это звучит, — что внешность не главное в человеке. Но в детстве этого не понимают и часто обижают и причиняют боль детям, не похожим на них.

Один случай особенно запомнился. Андрея сильно обидели мальчики из класса, самые задиристые и непослушные. Они отобрали у него вещи и портфель, говорили грубые и обидные слова. И все это происходило прямо на первом этаже школы перед началом очередного урока. Мы с девочками стояли кучкой всего в нескольких метрах, но не сразу поняли, что происходит, и не вмешались. Потом увидели, что мальчики убежали. Андрей остался сидеть на полу, утирая кровь стружкой стекавшую по лицу. По щекам от обиды и боли текли слезы. Я не могла поверить, что такое могло произойти. Такая жестокость наших одноклассников, которых я знала еще с детского сада, никак не укладывалась в моей голове.

На следующий день в школу пришел отец Андрея, как говорили, жаловаться. Увидев его, я поняла, что внешность не дается человеку просто так, это наследственное. И относиться плохо к человеку из-за того, в чем он не виноват, по меньшей мере несправедливо.

Сегодня у Андрея все в порядке. Я думаю так, когда смотрю его фотографии в «Одноклассниках». Он входит в группу моих друзей: чтобы как-то искупить свою вину и безучастное отношение в детстве, я первая нашла его в Интернете и предложила виртуальную дружбу. Но меня все же не покидает мысль: а вдруг травма, нанесенная ему одноклассниками, отложила отпечаток на его взрослую жизнь?

Разные интересы, сферы деятельности и даже разные города отдаляют нас друг от друга. Но, несмотря на это, мы помним нашу школьную дружбу и дорожим ею. Только она всегда была и будет самой искренней, неподдельной и бескорыстной.

Анна Щендрыгина. Про указку и противогазы

Девяностые. Мой класс... Шумный, дружный, лучший в мире. Такой — а я имею возможность наблюдать много классов, — каких сейчас до обидного мало. На последнем звонке и выпускном было видно: учителя нами гордятся. А ведь мы — все вместе и каждый по отдельности — были еще той штучкой! «Ну и ушлый вы народ, ажно оторопь берет», — наша обожаемая классная мама Татьяна Викторовна частенько цитировала Филатова, услышав от нас очередную саркастичную реплику. Но тем не менее с нами всегда было интересно, мы выделялись на фоне остальных классов то успехами и достижениями, то тем, как уходили в отрыв и никто не мог нас остановить...

Ну, почти никто. Директора мы все же побаивались. И, оказываясь у него «на ковре», сидели притихшие и виноватые, честно осознавая свою вину... Правда, стоило только выйти за дверь, как все горькое чувство испарялось.

У нас был тяжелый коллективный переходный возраст. И усугубляло ситуацию то, что пакостили мы всем классом. Всем. И так же вместе за это отвечали, не сваливая вину на зачинщиков и не выискивая крайних в нашей разношерстной толпе. «Все — так все», — говорили мы, периодически сбегая с уроков и прячась в неработающем женском туалете. «Все — так все», — перешептывались, стоя на «стреме», пока самые отчаянные доставали со стенда расписание уроков нашего класса и методично ставили карандашные прочерки напротив всех семи уроков вторника. (Вот за это нам влетело по самое «не балуй»!) «Все — так все», — бубнили под нос, дыроколом искрашивая аккуратные, только начатые тетрадки младших классов в горку клетчатых конфетти.

Да, с дыроколом была еще та история... Татьяна Викторовна с нами долго не разговаривала. Нет, разговаривать она, конечно, разговаривала, но как... Сухо, сдержанно, подчеркнуто равнодушно, без привычных улыбок и шпилек в наш адрес. Честно говоря, было за что. Наш восьмой «Б» тогда вообще перешел все границы дозволенного. Это когда мы остались без присмотра.

Теперь-то я понимаю, что когда у ребят столько энергии, ее постоянно и непреклонно нужно направлять на хорошие дела, иначе она рискует перехлестнуть через край и вылиться во что-то невообразимое. Три с лишним года своего классного руководства Татьяна Викторовна бесценно и безупречно сдерживала наши позывы напакостить по-крупному, а в середине 8-го класса неожиданно заболела. Поэтому в школе ее не было всю третью четверть. И мы автоматически перешли под свое собственное управление, то есть в классе воцарилась полная анархия...

— А-а-а!! Отстань!!! — со всей мочи орал Лешка, за которым, сворачивая парты и шкафы, гонялся Санька.

И не просто так гонялся, а с большой указкой, выточенной из тяжелого красивого дерева. Ее Татьяне Викторовне сделали ребята из ее предыдущего класса. Классная мама ее очень любила — аккуратная, гладкая, величественная указка с резной удобной ручкой. В кабинете над доской, под самым потолком, висели таблицы склонения немецких артиклей, предлогов, вопросительных слов, окончаний, и достать до них стандартной школьной указкой было невозможно; именно поэтому на очередное 8 Марта предыдущие выпускники выточили на уроках труда этот нужный подарок.

Мы тоже указку очень уважали, но немного в другом аспекте. Для мальчишек каждую перемену она превращалась в фехтовальную шпагу, перед которой все остальные виды холодного оружия тотчас же меркли...

Ну так вот, вернемся к тому памятному дню. Санька гонял по классу Лешку, тот кричал и отбивался, пытаясь увернуться от беспощадного остря. Вот уже на пол слетело зеркало (слава богу, упало на чью-то сумку, а то бы разлетелось вдрызг). Вот Лешка задел шкаф с методической литературой, и из него с шумом посыпались книги и учебники. Вот Санька указкой сорвал с окна колыхавшийся тюль, и он плавно приземлился на голову Сережки, и вот — апофеоз....

Марина наливала воду в стакан и, пока несла его до парты, немного пролила. На эту лужу наступил Лешка. Поскользнулся и упал, закатившись под учительский стол. Следом за ним на ней же поскользнулся и Санька, но, падая, неудачно вытянул руку с указкой, и та легко протаранила фанерную школьную доску, уткнулась в стену и, грустно хрустнув, сломалась...

— Твою дивизию... — протянул Сережка.

— Е-мое... — откликнулся класс.

На темно-коричневой, в беловатых разводах от мела доске ярким торжествующим бельмом сияла

приличная дыра, а указка в Санькиной руке щерилась обломком в половину своей прежней длины. Из крана громко в воцарившейся тишине капала вода. И тут с невероятным грохотом упал карниз, по-видимому, не переживший потери тюля...

То ли на этот грохот, то ли на наш истерический смех сбежались все учителя, проводившие рядом занятия...

Представляю, чего им стоило не поубивать нас сразу: в классе царил полный разгром! В «раздетое» окно врывалось проснувшееся мартовское солнце, поперек трех парт лежал тяжеленный металлический карниз, чудом никого не задевший, из-под учительского стола торчали Лешкины ботинки сорок последнего размера, в позе убитого бойца рядом с ними лежал, сотрясаясь от приступов смеха, Санька, все остальные уткнулись в парты, не в силах поднять глаз на педагогов, и только голубоглазый и розовощекий Сережка невозмутимо смотрел на ворвавшихся в класс учителей из-под кружевного тюля.

На следующий день мы снова просиживали «окно» в расписании уроков в родном шестнадцатом кабинете. Школьный слесарь-дворник, на все руки мастер, подлатал доску, осмотрел указку и обреченно махнул рукой — мол, все, восстановлению не подлежит. Теперь она со своего почетного места у доски перекочевала в угол класса, где стыдливо пряталась за шторкой. А нам все не было покоя.

В этот же день я умудрилась отломить дверки у злосчастного шкафа с методической литературой; потом кто-то из мальчишек исчиркал фанерные стенды с флагами немецкоязычных стран надписями «Prodigy» и «Scooter». А дня через два мы коллективно издыроколили тетрадки пятиклашек. А еще девчонки зашили Ромке в рукава куртки зимние гетры Татьяны Викторовны, хранившиеся в раздевалке, оборудованной здесь же, в кабинете — за шкафом, а куда Ромка потом дел эти гетры — он до сих пор не сознался.

Ну, и последней каплей стало исчезновение из учительской классного журнала нашего 8 «б»... Он просто испарился из специального шкафчика перед выставлением оценок за четверть. Нас затаскали на различные педсоветы, несколько раз с нами разговаривал директор, информацию из нас выуживали и уговорами, и угрозами — всё зря. Мы упорно и сосредоточенно молчали. Мы даже «не знаю» не говорили.

А потом журнал нашелся. Его подкинули к школьным дверям. В нем не было вырвано ни листочка, не исправлена ни одна оценка — все было на своих законных местах... Педагогический состав махнул рукой: «Что с них возьмешь?.. Пусть Татьяна Викторовна сама со своими оболтусами разбирается».

Она же, вернувшись с больничного, не сказала нам ни слова. Она просто перестала с нами разговаривать. Впрочем, об этом я уже рассказывала. Хотя забыла упомянуть, что пакостили мы с тех пор «по-серенькому», таких «гастролей» себе больше не позволяя...

Нет, конечно, нас еще не раз и не два вызывали к директору. Например, в десятом классе, когда мы сорвали урок «Основы безопасности жизнедеятельности!».

Наш преподаватель, такой суровый, колобкового вида дядечка, принес нам на урок гордость своего кабинета военной подготовки — кучу респираторов и противогазов. Коротко и громко объяснил, как их надевать, раздал и уже открыл рот, чтобы скомандовать «На ста-а-а-арт...», но мы без команды спешно похватили эти нехитрые средства индивидуальной защиты, напялили их на себя

и дружной толпой сбежали из класса, оставив позади побагровевшего от гнева и бессилия учителя (в самом деле, не будет же он нас ловить... Да и как поймает такую бешено летящую толпу?). Мы рассредоточились по всем трем этажам школы и начали заглядывать в кабинеты, где своим ходом шли обычные занятия. О чем говорить — мы сорвали все уроки, особенно пострадало среднее и младшее звено. Потому что не каждый неподготовленный ребенок адекватно воспримет неожиданно появившуюся в дверном проеме голову в противогазе, которая оглядится вокруг круглыми стеклянными глазами, а потом как гаркнет: «Привет, смертнички!!!»...

Мы часто вспоминаем эту историю, когда собираемся с кем-то из одноклассников. И с каждым годом она обрастает все новыми, часто выдуманнами подробностями. И теперь уже даже и не вспомнишь, что было на самом деле, а что нет... Главное, что мы — благодаря многим факторам: совместной учебе, совместному отдыху, совместным проказам и, самое главное, невероятно мудрой «классной маме» — до сих пор общаемся и дружим и так же по-детски радуемся, когда видимся, и так же остры на язык, и по-прежнему неистощимы на выдумки. У нас было самое лучшее в мире детство и самая веселая юность. В них не было места злым шуткам и пошлостям. Мы и пакостили-то всегда по-доброму. И даже сломанная указка не держит на нас зла. Кстати, она, по-моему, еще жива — подпирает на подоконнике в классе цветок, огромную диффенбахию, которую мы когда-то усиленно поливали апельсиновой газировкой, чтобы ее мясистые листья из зеленых стали оранжевыми... Нет, ну надо же в самом деле такое придумать, господи!..

Александра Плаксина. Доказательства зла

Степа Федоров появился в нашей петербургской школе в третьем классе в самом конце девяностых. Видимо, он сразу же решил завоевать себе авторитет, поэтому в один прекрасный сентябрьский день принес в школу банку пива. В третьем, повторяю, классе. На перемене он со своим соседом по парте Витьком пошел в туалет, где они и сделали по глотку. Остальные участвовать в распитии за знакомство, видимо, отказались. Поэтому Степа вернулся в класс и поставил открытую банку с пивом в рюкзак. На перемене ребята носились по классу, кто-то опрокинул Степин рюкзак, и пиво разлилось. По классу разнесся специфический запах.

Когда прозвенел звонок, в класс вернулась учительница Наталья Дмитриевна, которую мы все страшно боялись из-за ее огромных габаритов и еще потому, что она постоянно на нас кричала.

— Садитесь-садитесь, — махнула она нам рукой и прошествовала за свой учительский стол. — Так, открываем учебник на странице тридцать четыре...

Мы зашелестели страницами.

— Так. А чем это пахнет? — наконец почувяла что-то неладное Наталья Дмитриевна.

Повисла напряженная тишина.

— Я еще раз спрашиваю, чем это пахнет? — угрожающе повторила она.

— Так это Степа пиво разлил, — услужливо сообщил кто-то с задней парты.

Наталья Дмитриевна даже потеряла дар речи.

— Что? — задыхаясь, спросила она и вдруг сорвалась на крик: — Степа? Разлил пиво? Федоров!

Ну-ка быстро встань!

Степа понуро поднялся с последней парты. Мы все оглянулись на него.

— Ты что, действительно разлил пиво? — начала допрос Наталья Дмитриевна.

— Ну да, — нехотя согласился Степа.

— Так, — перевела дыхание Наталья Дмитриевна. — А откуда у тебя пиво? Ты что, его пил?

— Да всего один глоток, — начал он оправдываться.

— Ты пил один? Или с кем-то? — продолжала Наталья Дмитриевна.

Степа промычал что-то неопределенное.

— Так, — начала Наталья Дмитриевна мерить шагами класс. — Кто пил пиво вместе с Федоровым?

В зловещей тишине Витек робко поднял руку.

— ТАК! — снова заорала Наталья Дмитриевна. — Оба с родителями в школу! Дневники мне на стол!

Степа и Витек нога в ногу побрели к учительскому столу.

— Ты откуда вообще это пиво взял?! — закричала Наталья Дмитриевна Степе.

— Ну а что такого-то? — обиженно сказал Степа. — Мне папа всегда дает пиво. По субботам после бани.

— А сегодня что, суббота?! — обалдела от такой наглости Наталья Дмитриевна. — Да и вообще, что за бред? После какой бани?! Все, я иду звонить родителям, — и вышла из класса.

В общем, начало своего пребывания в классе Степа отметил оригинально. Но вот авторитет он почему-то этим завоевать не смог. Наверное, опередил свое время. Вот принеси он пиво классу в седьмом — был бы совсем другой разговор. А так он получил жесткий втык от директора, а друзей не обрел.

Маленького роста, нескладный, в вечно порванном пиджаке или вывалившийся в грязи, Степа был типичным неудачником. Учился одинаково плохо по всем предметам, авторитетом в классе не пользовался, вечно вляпывался в какие-то истории. То кто-то рвал его дневник, то его окунали головой в унитаз, то еще что-то... Один раз попал в жуткую аварию на железнодорожном переезде, когда он чудом выжил и его собирали, можно сказать, по частям.

После очередной громкой истории со Степой в школу приходила его мама и пыталась выяснить отношения с классом. Степа, кстати, был мальчик из приличной семьи, родители у него были врачи, а папа так вообще чуть ли не профессор. Еще у него была старшая сестра со смешным именем Тося, она училась на одни пятерки, а потом поступила в медицинский институт. Словом, в семье не без урода — это про Степу и его семью.

Денис Стольников пришел к нам на год позже Степы и поначалу ничем особенно не выделялся. Он был коренастый, неповоротливый, учился средне и почти ни с кем не общался. По крайней мере, я

не могу вспомнить связанных с ним каких-то историй.

Если Степа постоянно пытался вписаться в коллектив — бегал за лидерами, исполнял их мелкие поручения, начиная с седьмого класса угощал всех сигаретами и приглашал на посиделки к себе домой, — то Денис ничем подобным не занимался. Ни с кем не общался, не курил и вообще держал себя крайне обособленно.

Все изменилось в девятом классе. Первого сентября Денис пришел в школу в черном кожаном пиджаке, со стильной прической и усиками. И это было только начало! Неожиданно он начал острить на уроках и переменах. А по итогам первой же четверти оказалось, что Денис стал лучше учиться. Не курил принципиально, но стал ходить на Степины тусовки вместе со всеми. Как-то незаметно все стали называть его «Дэн».

Однажды он подошел ко мне со стопкой фотографий.

— Посмотри, — протянул он их мне.

Я взяла фотографии. Там были какие-то байкеры и чувак с гитарой, похожий на Мэрилина Мэнсона.

— Это мой брат. Саня. У него своя группа. Вот они ездят на всякие байкерские тусовки. Выступают. Это у вас в Ольгине, между прочим, — прокомментировал он какую-то фотку.

— А разве у тебя не младший брат? — удивилась я.

— Это двоюродный брат, — нехотя разъяснил Дэн. — Старший. Ему двадцать лет.

— Прикольно, — протянула я, отдавая ему фотографии. Мне до этого не приходилось сталкиваться со знакомыми музыкантами.

— Хочешь, я тебе их музыку принесу?

— Ну, принеси, — согласилась я.

На следующий день Дэн принес музыку. И еще взял за правило вести со мной на переменах умные разговоры. Хотя правильнее было бы сказать не разговоры, а монологи. Он вещал что-нибудь занимательное, а я внимала. И не решалась спорить. А говорил он всегда что-нибудь такое, с чем я не была согласна.

Например, он заявлял что-нибудь парадоксальное про религию. Или про любовь. Или про нравственность. Что все люди безнравственны, скажем. Что если ты и не совершаешь зла — то ты ему потакаешь. А это безнравственно. Если я пыталась что-нибудь возразить, он раздражался какими-то путаными доказательствами, и я понимала, что не права.

— Дэн! Да тебе на философский факультет поступать надо! — говорила я, когда мой мозг окончательно закипал.

— Я подумываю об этом, — снисходительно улыбался Стольников.

— Блин, да он начитался каких-то псевдофилософских книжек! — возмущался Марат. — И прочитанное выдает за свои собственные умозаключения.

— Не знаю, по-моему, это все интересно, — пожимала я плечами.

Дэн вносил в мою жизнь некоторое разнообразие, потому что разговоры Варьки и Наташки о каких-то тусовках, где можно покурить траву, меня уже порядком утомили.

Я даже стала с некоторым удовольствием ходить в школу: было интересно, что же сегодня выдаст Стольников. А после его очередного монолога я, сидя вечером за уроками, постоянно отвлекалась и выстраивала в голове ответы на стольниковские утверждения, но никогда не решалась озвучить их на следующий день.

Как-то нам задали прочитать «Портрет Дориана Грея». Мы дискутировали о нем два урока подряд, а потом Стольников выносил мне мозг этим Дорианом Греем еще неделю. Я и так плохо разобралась в этом романе, а Дэн запутал меня еще больше. Он безумно всем надоел с этой книжкой. Даже наша учительница литературы, которая обычно очень приветствовала споры и обсуждения, сказала ему:

— Денис, оригинальность — это хорошо, но только если за ней что-нибудь стоит.

Мне казалось, что, безусловно, стоит.

Однажды Стольников притащил мне книжку «Философские сказки», откуда он, видимо, почерпнул большую часть своих оригинальных идей. Мы ее обсуждали две недели. А потом он принес «Чапаева и пустоту» Пелевина. Эту книгу я прочитала с некоторым недоумением. Она была так же похожа на книги, которые я читала раньше. На моего любимого Диккенса, например. Вроде читаешь — и все так реалистично, понятно. А потом подумает — нет, ерунда какая-то. Рассуждения такие странные. Когда я изложила свои впечатления Стольникову, он ничего мне объяснять не стал, а авторитетно заявил:

— Вот это и есть настоящая литература, Саша! А не всякие там «Горе от ума» и «Евгений Онегин». Тебе еще Пелевина принести?

От Пелевина я отказалась. Но теперь, приходя в районную библиотеку, пробегала мимо полок с Диккенсом и Шарлоттой Бронте напрямик к романам XX века. И открывала для себя массу нового: «Коллекционера» Фаулза, например. Или «Постороннего» Альбера Камю. И погружалась в их мир.

Но что меня отталкивало в Дэне — так это его взаимоотношения со Степой. Мы со Степой никогда не дружили и вообще не особенно общались, но то, что вытворял с ним Дэн, — это ни в какие ворота не лезло. Они ходили забавной такой парочкой: высокий плотный Дэн — само воплощение стиля — и маленький худенький Степа в мятом костюме и с кейсом, у которого были оббиты все края, оттого что он постоянно его ронял.

— Послушай, Степа! — душевно говорил на большой перемене Стольников, обращаясь не столько к нему, сколько ко всему классу, толпившемуся у кабинета математики. — Не хочешь ли ты заработать десять рублей?

— Конечно, хочу! — с готовностью отвечал Степа.

— Вот если съешь пакетик с растворимым кофе — дам десять рублей, — доставал Стольников из кармана пакетик с кофе.

Степа тут же открывал пакетик и начинал с чавканьем жевать содержимое.

— Фуу!! — возмущался кто-нибудь. — Степа, ты дебил!

Степа, довольный, заканчивал есть, а Дэн отсчитывал ему десять рублей мелочью.

В следующий раз Стольников повышал денежную ставку и предлагал Степе выпить пузырек с замазкой. Степа соглашался. Иногда он так вживался в образ, что начинал пить чернила из стержней, хотя Дэн ему этого не предлагал.

— Нет, ну он просто кретин! — говорил Стольников и придумывал что-нибудь новенькое. — Дам пятьдесят рублей, если на алгебре съешь десятку.

— Почему на алгебре? — уточнял Степа.

— Ну прямо на уроке. Чтобы Морозова видела.

Степа сидел на первой парте.

И вот на уроке Морозова писала что-то на доске, а когда повернулась к классу, увидела, что Степа внимательно смотрит на нее и откусывает при этом от десятирублевой купюры. Морозова потеряла дар речи, а класс сдавленно захихикал.

— Федоров! Ты идиот? Ну-ка выплюни сейчас же! — воскликнула Морозова.

Степа выплюнул ошметки купюры прямо на парту.

— И убери за собой! — продолжала ругаться она. — Ты с головой дружишь вообще?

После алгебры Степа пошел к Дэну за вознаграждением, но тот отказался платить.

— Ты же не съел десятку! Ты выплюнул! — возмущенно говорил Дэн, а Степа сопел, не зная, что сказать.

Я долго наблюдала за всем этим безобразием. И совершенно не понимала, почему Степа с такой готовностью соглашается на эти сомнительные стольниковские провокации. Неужели так нуждается в карманных деньгах? Да вроде бы нет — нельзя сказать, чтобы у Степы совсем не было денег. Или он считает, что, делая все это, повышает свой авторитет в глазах одноклассников? Но ведь, по-моему, очевидно, что все уже давно не скрывают своего презрения к Степе... Поведение Дэна тоже казалось мне непонятным. Неужели вся эта канитель доставляет ему удовольствие? Но какое?

— Слушай, чего ты докопался до Степы? — однажды прямо спросила я у Стольникова.

— Я не докопался до него, — объяснял мне Дэн. — Я просто предлагаю ему, а он не отказывается. Вот ты бы согласилась пить замазку? — я сказала, что нет. — Ну вот. Потому что ты нормальный человек. Я тебе и не предлагаю. А Федоров — придурок. Сам виноват. Он же может сказать: «Нет, не буду. Пошел ты в ж..., Стольников!» Но он почему-то всегда соглашается! И это его проблемы.

В логике Стольникову не откажешь. Но почему-то мне все равно смутно казалось, что он не прав. Если ты видишь, что человек слаб, то зачем его лишний раз подначивать, провоцировать? Но все мои вопросы оставались без ответа.

Один раз в школу пришли какие-то люди и полурока рассказывали нам всякую белиберду про

средства гигиены. В конце своей импровизированной лекции раздали всем по дезодоранту.

После уроков, в гардеробе, когда мы уже собирались домой, Стольников начал пристально рассматривать дезодорант. Он оказался не роликовым, а палочковым. Дэн повывдвигал его пару-тройку раз, а потом заговорщицки посмотрел на нас.

— Стееп! — позвал он Федорова.

— Чего? — с готовностью выглянул тот из-за вешалки.

— Дам сотню, если ты съешь дезодорант! — провозгласил Дэн.

Мы ахнули.

— Степа, не будь придурком! — сказала я. — Не вздумай жрать эту гадость.

Но у Степы уже загорелись глаза. Мы все с опаской смотрели на него. Степа открыл дезодорант, набрал побольше воздуха в легкие и откусил половину. И начал пережевывать. По лицу Дэна расплзлась улыбка. Мы все надели куртки и вышли из школы.

Я ехала домой с каким-то тяжелым чувством. Как будто бы это я заставила Степу давиться дезодорантом. Как там говорил Стольников: если ты и не совершаешь зла, то ты ему потакаешь?..

Не знаю, что там в итоге было со Степой. Скорее всего, он просто выплюнул этот злосчастный дезодорант. Но кто-то сразу донес его маме, что Степа его съел. Мама примчалась с работы, а Степу дома не обнаружила. Он ушел куда-то гулять. Весь вечер она обзванивала больницы и морги, пока Степа не явился домой как ни в чем ни бывало.

На следующий день она столкнулась на улице с Дэном и Маратом, которые после школы вместе шли в магазин.

— Денис! Ты-то мне и нужен! — набросилась она на Стольникова. — У тебя вообще есть голова на плечах? Ты почему Степу заставляешь есть всякую гадость? Он под твоим дурным влиянием уже полгода! Совсем распоясался! Ты хоть чувствуешь себя виноватым?!

— Я?! — изумленно посмотрел на нее Дэн. — А разве я виноват, что вы его так плохо воспитали?

В феврале мама наконец решила перевести Степу в другую школу. В дневнике у него были редкие тройки на фоне вереницы двоек. Да и его взаимоотношения со Стольниковым Степиной маме, мягко говоря, не нравились. Уходил Степа прямо посреди недели и даже почему-то посреди дня. Он заглянул к нам на уроке геометрии — попрощаться.

— Ну что, ребята! — сказал он, поставив на пол свой кейс. — Ухожу я от вас...

— Давай-давай, вали уже, — рассмеялся Стольников.

Степа продолжал, не обращая внимания:

— Жалко вас оставлять. Но ничего, — Степа шмыгнул носом. — Даст бог — свидимся, — и направился к выходу.

Мы ответили ему дружным смехом.

— Ну чего же вы так? — укоризненно сказала Морозова, положив на стол кусок мела, когда за Степой закрылась дверь. — Человек с вами попрощаться пришел, а вы...

После неловкой паузы класс хором сказал:

— До свидания, Степа!

— Теперь-то уже чего? — махнула рукой Морозова и начала писать на доске условие задачи. — Он уже, наверное, из школы вышел.

В классе воцарилась мертвая тишина.

За этот эпизод мне стыдно до сих пор. После девятого класса я поступила в гуманитарный класс, а Стольников — в параллельный, физико-математический. Больше мы с ним не общались, а в одиннадцатом классе даже перестали здороваться. У Стольникова появился новый прихвостень, Толик. Он даже внешне напоминал Степу, и они ходили по школьным коридорам исключительно в обществе друг друга.

После школы Степа, по слухам, пошел учиться в Политех. А недавно Вова и Марат рассказали мне, что он уже давно вступил в КПРФ. И даже делает там какую-то партийную карьеру. Я нашла его страницу «ВКонтакте», и там действительно фотографии с каких-то коммунистических митингов и собраний. Степа в окружении молодежи в красных футболках. Степа с Зюгановым. Степа с Лимоновым...

Стольников же пошел учиться куда-то на программирование. А через несколько лет, говорят, пытался поступить на философский факультет. Но вроде бы не поступил.

Владимир Гуга. Мишка-таксист

В шестом классе отчим подарил ему кожаный пиджак, превративший Мишу в мужика. Так появилось это прозвище — «Таксист». Хотя раньше таксисты работали не в пиджаках, а в приталенных кожаных куртках. Эти куртки называли кожанками.

Я не забыл Мишу, как и остальных одноклассников из нашей московской школы № 531. Память на лица и пейзажи у меня отличная, чего не скажешь о способностях к запоминанию цифр. Наверно, благодаря этому скромному дару я и стал корреспондентом, а не топ-менеджером.

Пару месяцев назад я обнаружил Таксиста в переполненной электричке «Москва — Калуга I». Увидев его знакомое лицо, я согнулся и поднял воротник. Встречи с одноклассниками бессмысленны. Они ничего не дают, кроме недоумения: «Что это за чужой человек маячит перед глазами, и почему я с ним разговариваю?» Неприятный осадок остается после этих дурацких бесед.

— Вован! — крикнул Миша, когда я попытался проскользнуть мимо. — Здорово!

— Миха! Ты, что ли? — поддержал я спектакль. — Сколько лет, сколько зим? Какая встреча! Е-мое!

Двадцать пять лет. И двадцать пять зим. Вот сколько. Четверть века мы не виделись. Всего-то. Как получили аттестаты, так и разбежались.

Я сел между старушкой с длинным голым саженцем и дедом с огромной сумкой на колесиках. В вагоне пахло старостью. Говорливая электричка была под завязку забита возбужденными пенсионерами, слегка опьяневшими от приближающейся счастливой сельскохозяйственной поры.

«Тут есть некая закономерность, — подумал я. — Чем человек старше, тем его сильнее притягивает земля — всякие семена, удобрения, газета “Шесть соток”. А потом, когда земное притяжение доходит до предела, старик сам превращается в удобрение. Так устроен мир».

Таксист тоже выглядел как классический дачник, ладно скроенный из бодрого настроения, резиновых сапог, болоньевой куртки с олимпийским мишкой, пузатого рюкзака «Эверест».

После охов-ахов и взаимных похлопываний по спинам, медленно и тяжело, словно старый бульдозер по котловану, пополз наш разговор.

— Блин! Как оно, вообще? Как ты? Где ты?

— Журналист. А ты?

— Экономист, вот...

— А где?

— Вот, в одной совместной российско-германской компании. А ты?

— Я, так сказать, свободный художник. Подрабатываю там-сям...

Пока мы несли эту пустословицу, я наблюдал за необычной особенностью, торчащей из Таксиста, как штырь арматуры из треснутой бетонной плиты. Несмотря на общую рыхлость сорокалетнего московского семьянина, он обладал внутренней собранностью. Она проявлялась в жестком взгляде и подтянутых губах. Если бы не общий вид вялого предпенсионера, можно было бы предположить, что Миша-Таксист — ветеран войск специального назначения. Но чудес не бывает: либо мужик — спецназовец, либо дачный увалень в застиранных рейтузах. В Мише как-то единилось и первое, и второе.

Пришлось напрячь мозги и силой мысли вытащить Мишу из прошлого. Мне припомнилось, что он был обычным, ничем не примечательным подростком, тихим, серым, но почему-то... независимым. Последнее качество выглядело очень странно. Независимых подростков не существует. Это даже ежам понятно. Каждая нормальная школа живет по всемирному «закону силы». Если ты недостаточно силен, хитер и подл, значит, тебе надо жить под опекой родителей или под покровительством какого-нибудь головореза. Если ты силен, хитер и подл, значит, тебе следует хранить свой титул главаря банды, оберегая его от посягательств заговорщиков. Других вариантов существования в нормальной школе нет. Того, кто пытается, как Володя Ульянов, идти «своим путем», быстро заклеивают, а вернее, заплеивают. В прямом смысле: смачно харкнуть в спину мальчику, не имеющему покровителя, считается самым милым делом. Во всяком случае, этот ритуал был очень популярен в нашей с Таксистом школе. Реальный пацан считал, что жаловаться родителям запахло, и старался отстоять свое положение собственными силами или опираясь на своего синьора. У Миши не было ни особых сил, ни покровителей с кастетом в кармане. Однако он умудрялся, не жалуясь родителям, обходить все острые углы политических игр школы, сохраняя при этом нейтралитет. Его никто не трогал, и он ни к кому не лез.

Как-то раз в туалете нас, троих шестиклассников, прижали ребята из восьмого «А», без пяти

минут пэтэушники. Поводом для расправы стала симпатия Наташи М. к Паше М., моему вроде как приятелю. Прижали троих — Пашу, меня и Таксиста. Но последнего, смерив хмурым взглядом, отпустили. Почему? Непонятно.

— А... — криво ухмыльнулся влюбленный в Наташу восьмиклассник с железным зубом. — Таксист... Давай, вали отсюда. Быстро!

И Миша-Таксист отвалил, а нас с Павликом, как говорится, отмудохали. Его — за красивые глаза, а меня — за компанию. Первый же удар восьмиклассника с железным зубом сбил меня с ног. Боли не почувствовал. Лишь заметил, как выскочил его костистый кулак с наколотым крестиком на безымянном пальце, и — тут же звон в ушах, круговерть кафельных стен в глазах и блаженное состояние обморочного забытья.

Школьный туалет, как известно, тоже школа. Школа в школе. В нем жадные до открытий дети узнают гораздо больше, чем в классах. Туалет — это некий закрытый клуб. Здесь познают прелесть табака и даже алкоголя, рассматривают мутные порнографические фотки, устраивают кровавые поединки, списывают домашнее задание, завтракают толстыми бутербродами, играют на деньги в «трясучку», прячутся от директора. Не знаю, что происходило (происходит?) в туалете девочек. Полагаю, что примерно то же самое.

Маменькины сынки, чтобы не появляться в этом вонючем чистилище, перед школой ничего не ели и не пили. Для так называемых «домашних детей» в школьном туалете царил крайне враждебная среда.

Здесь не было кабинок. Зато на мокром полу торчали два украшенных ржавчиной унитаза. Вместо третьего унитаза из основания стены высовывалась канализационная труба, заткнутая уже окаменевшей половой тряпкой. Имелись две раковины. Одна с краном холодной воды, а вторая с обломком швабры, торчащим щетиной вверх. Подоконник был украшен сюжетами необузданной эротической фантазмагии и названиями хеви-металлических групп. Помню, что над унитазами нависали венчающие вертикальные трубы бачки. На одном болталась веревка, а на другом — чудом сохранившаяся цепочка с отшлифованной деревянной ручкой. Похожие круглые ручки мы вытачивали на токарных станках в школьной мастерской. Их потом приделывали к отверткам и напильникам. Однажды цепочка с унитаза куда-то исчезла, и наш больной на голову завхоз (всегда ходил в вязаной шапочке — и зимой, и летом) привязал вместо нее веревку.

Все это происходило в конце второго тысячелетия, а нынче, в начале третьего, мы ехали с Мишей-Таксистом по своим делам. Он — на семейную барщину, а я брат — интервью у директора московского завода, выкинутого из столицы за сто первый километр. Миша нес какую-то околесицу про армию, семью, сайт «Одноклассники», а я все пытался припомнить, по какой причине ему удалось оставаться независимым и неприкасаемым в нашей школьно-туалетной вакханалии. Любопытство подталкивало меня спросить гонца из прошлого: «Слушай, Михаил, скажи мне честно, почему тебя в школе никто не лупил, но при этом ты оставался одиночкой? Ты же не мог жаловаться отчиму. Это исключено».

К моей журналистской радости, лезть в потемки чужой души не пришлось. Тайна открылась сама, будто кто-то повернул невидимый ключ в двери между настоящим и прошлым. Когда наш пенсионерский веселый поезд подъехал к станции Нара, в вагон вошла кодла пьяных мужиков категории «кабан». Они встали в проходе и начали громко, в полный голос материться. Одна непосредственная старушка сказала:

— Ребята, хватит ругаться! Вы же не одни!

Ребята ей ответили:

— Глохни!

Таксист просунул руку за пазуху, сжал в кулаке спрятанный под курткой предмет, остекленел глазами и буркнул:

— Проблемы?

Хамы сразу скисли, замолчали, а потом вообще ушли из вагона. Вот так Миша и разоблачил себя. Мне стало все ясно.

Четверть века назад я и «Таксист» стояли в школьном туалете и курили бычки. За окном проклевывался март. Очень хотелось чего-нибудь натворить — подраться, облапать одноклассницу, разбить окно, выскочить из собственной кожи.

— Куртка у тебя — класс! — похвалил я его обнову, нарушив молчание.

— Сергей Юрьевич, мой отчим, подарил, — ответил Миша, — спасибо ему. Правда, он сказал, что мужику мало выглядеть мужчиной. Кроме пиджака ему еще полагается достоинство. Свое собственное. Отчим сказал, что рад бы помочь найти мое достоинство, но не знает, где оно, так как я не его сын. Вот, пришлось искать самому... Был бы у меня отец — помог.

— Нашел достоинство-то?

— Нашел... — вздохнул Миша и хлопнул себя по сердцу, — оно здесь. Очень удобная штука. Отлично лежит под пиджаком.

Таксист запустил руку за лацкан кожаного пиджака.

— Когда мне становится хреново или страшно, я сразу хватаюсь за него. И на душе легчает, страх исчезает. Вообще перестаешь бояться. Крутая штука — достоинство.

— Шутишь? У тебя там фотография прабабушки? — ухмыльнулся я.

Рука Таксиста молниеносно выскочила, и что-то со свистом мелькнуло над моей головой. Мгновение, и лампочка, торчащая из стены, с хлопком разлетелась на мелкие осколки. Я инстинктивно втянул голову в плечи. Зажмурился. Снова открыл глаза. Побелевший от напряжения кулак Миши сжимал деревянную ручку цепи, оторванной несколько месяцев назад от бачка унитаза. Она послушно покачивалась, будто продолжение руки Таксиста. Мне стало страшно.

— Отлично лежит под пиджаком, — повторил Миша. — И незаметно. Ручка очень удобная. Убить не убьешь, но если хлестануть по роже — мало не покажется. С достоинством жить гораздо приятнее. Никогда с ним не расстанусь.

Надежда Осипова. Екулька

Первая треть школьного моего детства протопала интересно и насыщенно по огромному яблоневому саду, где на одной из аллей скромно притулилось старенькое учебное зданье бывшей церковной сторожки. Школьная библиотека за стенкой, да нас два десятка учеников населяли школьный филиал. Там на отшибе от людской суеты на воле мы постигали азы грамоты. Где-то примерно в четвертом классе к нам прибилась новая ученица — Валька Казанцева по прозвищу «Екулька».

С нами попервоначалу училась ее младшая сестра Катя — неприглядная, малорослая, тихая и застенчивая, малозаметная девочка, которая все время будто чего-то стыдилась. Валька была ее полной противоположностью. Буйный характер новенькой проявился с первых секунд знакомства. Она прямо на торжественной линейке за ехиднённое хихиканье отвесила подзатыльник нашему классному хулигану-двоечнику Саньке Куропаткину. От могучного удара Санька не удержался на ногах, юзом проехал метра два-три до щелястых ступенек крыльца, а потом пораженно вытаращился на Вальку. Молоденькая учительница, как и все мы, в неменьшем изумлении воззрилась на новенькую, только младшая сестренка ее отнеслась к происшедшему как к рядовому событию.

Заслуживал внимания не только вздорный Валькин нрав, но и потрясная ее внешность. Маленькая, несоразмерная туловищу черноволосая головка ее всегда находилась в работе: Валька-Екулька крутила ею направо-налево, неустанно выискивая потенциальных насмешников. Короткая мальчишеская стрижка не прикрывала оттопыренных ушей. Орлиный, с горбинкой нос грозно возвышался среди круглых с четким румянцем щек. Тонкая ниточка губ едва прикрывала здоровые белые зубы, а верхняя губа, кое-как стянутая до ноздрей синеватым послеоперационным шрамом, окончательно уродовала ее лицо. Смышленные, пронзительные, черные глаза Екульки положения не спасали. Всяк, впервые ее увидевший, долго не мог оторвать от нее ошеломленного взгляда.

Прозвище «Екулька» прилипло к девчонке с раннего возраста. Когда-то несколько поколений назад жила в деревне дурочка Акулина Стульникова. Память людская ничего не сохранила о ней, кроме имени. Давно уж на деревенском кладбище истлели ее косточки, а некоторые сельчане по глупости и по въевшейся привычке иногда прозывали в гневе или в припадке язвительного высокомерия представительниц женского пола за оплошность или какой-то физический недостаток Акульками. Так вышло и с Валентиной. «Акулька» в процессе тысячекратного использования трансформировалась в «Екульку», да так и повисло обидное прозвание пожизненно.

Валька, несмотря на всевозможные сопровождающие ее денно и ночью катаклизмы, старалась не унывать. Она каждую весну умудрялась внедриться в число второгодников. Нас она года на два-три превосходила по возрасту и по немалой доле бесшабашной храбрости, а потому уже через неделю весь класс крепенько держала в своем маленьком железном кулачке. Даже опытные учителя не могли с ней справиться, когда она доставалась им в виде переходящего вымпела. Про нашу зеленую учительницу Галину Васильевну, едва окончившую педучилище, и говорить было нечего: плакала от Валькиных проказ каждый день.

Сказать честно, сбавить хулиганистую Екульку из школы намучившиеся учителя пытались многократно. Но все их попытки были безуспешными: Валька гранит знаний грызть не жаждала, но ходить в школу почему-то сильно любила. Администрация школы не раз направляла Валентину Александровну Казанцеву на комиссию в район на предмет проверки ее предполагаемой дебильности. Но Валентина Александровна мгновенно шелкала задачки про березы с яблоками и в расставляемые комиссией ловушки ни разу не попала. Наоборот, она умудрялась расположить к себе суровых тетей и дядь настолько, что те единодушно делали вывод: это учителя не хотят заниматься с девочкой —

кстати, весьма способной.

Так и страдали учителя неповинно из года в год от Валькиного баловства. А наш класс к концу сентября не изучил ни одной новой темы, уроки непременно заканчивались разборками Галины Васильевны со строптивой ученицей. Через месяц, по правде, и мы втянулись в веселый просмотр даровых потех, уже нетерпеливо ожидая Валькины клоунские показы.

Когда вмешались в учебный процесс некоторые бдительные родители, то директор, не сумевший и на этот раз отлучить Вальку от школы, заменил желторотую учительницу тертой, бывалой Федосьей Григорьевной, уже год-два бывшей в контрах с Валькой. Сама Екулька от данных перемен лишь слегка присмирела, как хищник от хлыста знакомого дрессировщика. Шумные забавы периодически продолжались, но Валентина иногда терпела поражения: Федосья Григорьевна умела побеждать — ее педагогический опыт чувствовался. Иногда за шиворот вместе с партией она вытаскивала надоевшую ученицу в коридор или прямо на улицу, где та с превеликой охотой кормила птичек украденным из школьной столовки хлебом или играла до конца уроков с бездомным псом Куцым, приبلудившимся с щенячьего возраста к школе.

— Что, Куцый, обижают тебя человеки? — ласково вопрошала Валька псину.

В отличие от людей животные Вальку крепко любили. Куцый начинал радостно повизгивать и вилять обрубок хвоста, считай, за километр до подхода Екульки. Завидев ее, он мчался навстречу, мгновенно проглатывал принесенный Валькой гостинец, а потом неотступно следовал за ней повсюду. По утрам при Валькином появлении дикие голуби, как по чьей-то команде, вспархивали с чердачного выступа и кружили над непокрытой зимой и летом головой Екульки, провожая ее до самого крыльца.

Еще Валька боготворила лошадей. Такая, прямо сказать, не девчоночья страсть совхозных конюхов умиляла, они Вальку за это уважали, а потому изредка давали ей прокатиться на каком-нибудь старом коньке. А иногда Екульке сказочно везло: ее на лошади направляли с поручением на другой конец села на ферму или на зерносклад, — то-то было ей радости! Но животных Валя берегла и никогда не позволяла себе показывать форс перед сельчанами: ехала чинно-благородно, как взрослый степенный мужик, не понукая лошадь понапрасну.

Подвижные игры на свежем воздухе были любимыми развлечениями Вальки. На уроках физкультуры учителя за все годы учебы никогда не стесняли нас рамками дисциплины, и мы с желанием играли не только в волейбол и баскетбол, но и лаптой не брезговали. Валька же Казанцева, если намечался пробег на лыжах, приходила вместе со школьным инвентарем только утром следующего дня: с присущим ей размахом каталась с горки до одури. А Федосья Григорьевна, используя короткое затишье, старалась впихнуть в наши головы как можно больше нового материала, поэтому мы Валькины физкультурные отлучки не любили и всячески препятствовали ее исчезновению из класса. А по болезни она ни дня не пропустила: ни простуда, ни прочая лихая зараза к ней никогда не приставала.

Ранней весной, когда шел ледоход, Валька пропадала на неделю: любила кататься на льдинах. Что привлекало ее к этому смертельно опасному занятию, сказать трудно. Просто, думаю, она относилась к породе адреналинщиков. По моему разумению, обычная жизнь для подобного склада людей слишком уныла и безвкусна, как несоленая еда.

Вот Вальку и тянуло в ледоход проехать на льдине. Уговоры родителей давным-давно не помогали, а запоры не удерживали дома: в ледоход она дни и ночи проводила у грозно ревушей, крушащей грязные льдины речки. Даже когда сваливалась в ледяную воду, то просушивала свой серый

в едва заметную от истертости полоску пиджак с отцовского плеча и отогревалась у костра.

Нагоровку, где жила Валька, с селом соединял подвесной мост, построенный с незапамятных времен. Он был прикреплен стальными тросами к могучим просмоленным бревнам, вкопанным в берега. Длинный мост раскачивался от порывов ветра, отзывался скрипом на каждый шаг, трос вырывался из рук, а тоненькие досочки увиливали из-под ног. Ни один взрослый без опаски не проходил по нему. Кроме Вальки-Екульки. Та быстро пробегала по дощатому настилу, возвращалась на исходную позицию на берегу, потом дожидалась льдину побольше, запрыгивала на нее и каталась по бушующей реке, пока не свергалась со скользкого льда в гремящую мутную круговерть.

В ту нашу школьную весну после окончания ледохода умиротворенная Валька вновь возвратилась к обычной жизни. И сразу занялась следствием: куда-то пропал Куцый. К ночи нашла мертвого пса за огородами. Не обращая внимания на идущий от останков запах, закопала его, а на утро следующего дня устроила в школе разборку. Еще до занятий, задолго до прихода учительницы в класс, вздесущий Санька Куропаткин под пыткой выдал виновных. Ими оказались четверо семиклассников: они затравили, закидали Куцего камнями, а потом добились палками.

Валька-Екулька про месть на холодную голову ничего не слыхивала, поэтому откладывать столь важное дело в долгий ящик не стала: на большой перемене всех четверых выловила и отдубасила по мере своих сил и возможностей. Рассказывали, что была она мальчишек со слепой яростью и не меньшим усердием, чем они Куцего: один уполз под крыльцо, двое смогли убежать через окно, выпрыгнув со второго этажа, а четвертый со свернутой челюстью оказался в больнице. Валентину за инцидент с дракой с огромной радостью на педсовете единодушно исключили из школы в тот же день. Никому из учителей и в голову не пришло доискиваться до причины столь жестокого поступка. Екулькины кровоподтеки и ссадины подсчитывать никто не собирался, зализала она сама свои раны, зажили ее синяки и ссадины быстро, как на собаке.

У нас в классе Вальку откровенно жалели, понимали справедливость ее возмездия. Больше таких учеников на всем протяжении нашего обучения нам не встречалось. Валька была наподобие сурового природного явления, вроде смерча или урагана, мощного, порой немилосердного, но неотвратимого. Она дралась за восстановление правды, защищала справедливость с позиции собственного восприятия. Во всяком случае, уж копейки у малышек, выданные родителями на завтраки, никогда не отнимала, не водилось за ней подобного.

Екулька, промаявшись без дела в деревне, другой весной уехала куда-то к родне в западную часть страны. Спустя месяц по селу прошла молва, что Вальку посадили в тюрьму. Доподлинно никто не знал причину ее заключения, на суде из семьи никого не было, поэтому существующие гипотезы распались достаточно быстро. Она вернулась домой через три года. Но это была уже другая Валька: со злобным блеском в глазах, с пригнутой бритой головой, в черном мужском костюме. Как в насмешку, из-под пиджака дерзко выпирала ее роскошная тугая грудь, словно природа спохватилась, решила загладить собственную невнимательность и наградить нелюбимое свое дитя этим подарком.

Появление в деревне Валентины семья Казанцевых расценила как позор и живо сбагрила ее обратно в неизвестность, где она и пропала в неравной борьбе с «человеками».

Школьные мучения

Лидия Павлова. Исповедь неумехи

Что больше всего не нравилось мне, первокласснице, в школьной жизни, так это ранний подъем. Не привыкшая рано вставать, я жестоко страдала, не высыпалась и на первом уроке сидела сонная. И пусть не говорят, что потом привыкаешь: все школьные годы я училась в первую смену, и каждое утро было маленькой казнью.

А больше всего мне понравился — ни за что не угадаете! — школьный звонок.

Электрических звонков тогда и в помине не было. Уборщица, она же истопница (школа наша обогревалась печами, в которых горели дрова и уголь), она же звонарь, пожилая женщина, укутанная в несколько платков, сидела в коридоре за столиком, над которым висело расписание звонков. А на столике перед ней стоял колокольчик, размером с пол-литровую банку. Он меня просто завораживал: мне нравилась его массивность и тяжесть, мягкий блеск металла и залиvistый, веселый звон. Уборщица разрешала желающим оповестить о конце перемены. Старшеклассникам это было неинтересно, а от малышей всегда отбоя не было. Достался как-то звонок и мне, я взяла его и начала трясти, но вместо звона раздалось отрывистое бряканье. «Не так звонишь, — сказала уборщица, — надо вот как». И она показала мне, как надо раскачивать звонок. Я опять попробовала, и опять у меня ничего не вышло, какой-то секрет я не уловила. Другие первоклассники овладевали этой нехитрой премудростью с первого-второго раза, а у меня все не получалось и не получалось.

Так я открыла одну из своих особенностей: когда надо было что-то делать руками, я осваивала дело за месяц там, где другим требовалось пять минут. Или вообще не осваивала. Позже я не могла научиться правильно завязывать пионерский галстук, и это было источником постоянных огорчений и переживаний. Потом на уроках труда портила одну за другой заготовки, из которых мы напильниками вытачивали молотки. Потом были кляксы туши и испорченные листы с чертежами, грозящая по черчению двойка, от которой меня обычно спасал папа: он быстро и красиво выполнял чертеж, над которым я безуспешно корпела полночи. А в старших классах добавились страдания на уроках по швейному делу.

С напряжением и тревогой я постоянно ожидала, какое еще испытание пошлет мне день грядущий в школе. И папа не всегда мог помочь. Или делал это не так, как надо.

Как-то наша учительница, Александра Георгиевна, дала задание: на следующий урок арифметики принести счетные палочки. Чего, казалось бы, проще: пошел и купил. Это сейчас (или их уже вообще не делают за ненадобностью?). А тогда в магазинах счетные палочки не продавались. Наверно, наша легкая — «очень легонькая» — промышленность их не выпускала. Поэтому счетные палочки нужно было изготовить самим... Не детям, конечно, — что могут сделать первоклашки? — а родителям. Это было первое домашнее задание для моих родителей. Палочек нужно было заготовить ровно сто, потом разделить их по десять и каждый десяток скрепить отдельно. Десять связок по десять палочек.

Отец пошел в сад, наломал веток, удалил с них боковые отростки, листья, почки, нарезал, и получились палочки длиной с ладонь взрослого человека. Потом мы связали их резинкой по десять штук. «Вязанки» получились не мелкие. В портфель они не вмещались, и пришлось изготовить специальный мешочек, вроде того, в каком сейчас носят сменную обувь. Я взяла портфель, мешочек, туго набитый счетными палочками, и гордо зашагала в школу.

Первым уроком была арифметика. Мои одноклассники, в отличие от меня, пришли без мешочков, и это меня удивило: неужели они забыли про палочки? Но тут все дети стали вытаскивать счетный материал, и я застыла от удивления. Палочки у остальных детей оказались раза в два короче моих, но не это главное. Они были гладкими, белыми, ровными и одинаковыми, как будто их изготовили на фабрике. Я перевела взгляд на свои вязанки хвороста. Мои счетные палочки, не ободранные от коры и неотшлифованные, были к тому же неровными, узловатыми, корявыми — они выглядели просто ужасно! Палочки у других детей занимали совсем немного места. Моим хворостом была завалена вся парта. Ко всему еще и резинки, которыми они были перетянуты, у всех были тонкие, «шляпные», и только у меня была толстая резинка для трусов, завязанная грубыми узлами. Мне хотелось затолкать корявые обрезки обратно в мешочек. Я не сомневалась, что Александра Георгиевна скажет что-нибудь обидное про мои палочки, и все дети начнут смеяться, а я получу первую двойку.

Учительница шла между рядов, проверяя, как выполнено задание. Дойдя до меня, она на минуту остановилась и спросила, улыбаясь: «Ты, Лида, наверно, сама делала палочки, да?» — «Мне папа помогал», — пролепетала я. Мне хотелось ответить, что это я сама делала, чтобы не смеялись над моим папой, но я не умела говорить неправду. Учительница легко прикоснулась к моему плечу, сказала: «Ну, ничего, ничего», — и пошла дальше. Никто не смеялся, и я постепенно успокоилась. Но дома я дрожащим голосом сказала отцу: «У всех палочки были такие красивые и маленькие, а у меня — некрасивые и кривые!» И расплакалась. Отец очень удивился. Наши корявые палочки ему казались вполне пригодными для счета и симпатичными. Палочки нужны были на несколько уроков, и он не видел смысла в том, чтобы тратить время на доведение их до совершенства. Но он огорчился, увидев, как я переживаю неудачу.

Через две-три недели мы начали считать на счетах. Мне купили пластмассовые черные счеты с ярко-розовыми костяшками, а мешочек с вязанками хвороста уплыл в область воспоминаний. Неприятных...

А вот уроки пения я любила! Мы разучивали «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой...», потом «Во поле березонька стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли стояла...» Я каждый раз с нетерпением ждала очередного урока. Но как-то Александра Георгиевна вошла в класс и объявила, что мы будем разучивать песню про нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина.

Она не улыбалась и как будто была чем-то озабочена. Теперь-то я понимаю, что ей вовсе не хотелось знакомить малышей с ТАКОЙ песней, но, видимо, программа обучения этого требовала.

— Дети, — сказала Александра Георгиевна, — вы знаете, как советский народ любил Владимира Ильича. И когда он умер, вся страна была в горе. Вот про это и написана песня.

Она помолчала, замялась в нерешительности, потом подошла к Лене С. и сказала:

— Леночка, твоя мама меня предупреждала, что ты очень сильно переживаешь, когда слышишь что-то грустное, и даже падаешь в обморок. Но ты ведь будешь молодцом, правда?

Лена в ответ кивнула. И Александра Георгиевна запела:

*...В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней.
И потекли народа толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.*

Песня мне не понравилась, даже была неприятна. Но в ту минуту мое внимание было поглощено другим: я наблюдала за Леной С. Никогда еще я не видела, как падают в обморок. Лена выросла в моих глазах необычайно: она была особенной, не такой, как все. И не я одна наблюдала за ее поведением: одноклассники во все глаза смотрели на нее — заинтересованно, завистливо, восхищенно и немного испуганно. Все чего-то ждали.

Когда Александра Георгиевна спела второй куплет, у Лены задрожал подбородок, потекли слезы, потом она закрыла лицо руками и зарыдала. Все завороченно смотрели на нее. Рыдала Лена очень заразительно, так что вскоре заплакали еще несколько девочек. Я подумала, что, наверно, так и надо сейчас вести себя: плакать навзрыд, это похвально и хорошо, а если не плачешь, это неправильно. Заплакали еще несколько одноклассников. Другие изо всех сил пытались заплакать. Я тоже очень старалась выжать из себя несколько слезинок, но ничего у меня не вышло. Я была сконфужена своей бесчувственностью, разочарована тем, что падение в обморок не состоялось, а от песни остался тяжелый осадок.

Долгое время после этого строчки из текста песни вспоминались мне в самое неподходящее время, например, перед сном, и тогда я боялась засыпать.

Дома я рассказала про урок пения, и папа поморщился, услышав, ЧТО мы распевали. Но он ничего не сказал: свое мнение тогда правильнее всего было держать при себе: ведь я могла по детскому недомыслию передать его слова учительнице или еще кому-нибудь из взрослых...

* * *

В нашем классе за первой партой в том ряду, что у окна, сидели дочь директора школы и сын первого секретаря райкома партии. Видимо, это было привилегированное место, вроде ложи в театре. Мысль о привилегированном месте возникла у меня сейчас, а тогда мы, первоклашки, о таких вещах не знали. Надо признать, Славик и Галя были очень славными, скромными и о своем особом положении, скорее всего, и не подозревали. Славик мне очень нравился все два года, что я училась в этой школе.

Появились у меня в классе и подруги. Тамарочка была высокой, кудрявой, бойкой и очень смешливой девочкой. Нас обеих выбрали санитарками, и каждое утро мы стояли в дверях класса и проверяли чистоту рук и ногтей у одноклассников. Строки стихотворения Агнии Барто «Мы с Тamarой ходим парой, мы с Тamarой санитары» мне казались написанными именно про меня и мою первую школьную подругу.

А второй подругой была кабардиночка Роза. У нее были длинные косы, черные глаза, нежный румянец и застенчивая улыбка. На переменах мы втроем ходили по коридору, взявшись за руки, и болтали обо всем на свете.

На заднем дворе школы были разбиты грядки-делянки, закрепленные за каждым классом. Что мы выращивали на своих делянках, я не помню, наверно, это была кукуруза. На уроках труда мы прорывали траву, рыхлили землю на своей грядке. Учительница говорила, что класс, который соберет самый хороший урожай, будет награжден. И мы старались как могли. Чем наградят победителей, не задумывались — нас вдохновляла сама мысль о победе. Мы гордо именовались юннатами — юными натуралистами.

В один из дней Александра Георгиевна объявила, что наши грядки нуждаются в удобрениях, и каждый ученик должен срочно принести ведро куриного помета. Почти у всех учеников из нашего

класса родители вели хозяйство, у всех были куры. Поэтому никаких затруднений задание не вызвало. На следующий день мои одноклассники принесли удобрение.

А наша семья жила на съемной квартире, кур и прочую живность не держала, поэтому пришлось просить нашу хозяйку Куна помочь с выполнением ответственного задания. Куна уже использовала имевшиеся запасы помета для собственного огорода, но все же наскребла мне ведро. И я, запоздав с выполнением задания на два дня, получив замечание от учительницы, от которого пришла в полное отчаяние, спешила реабилитироваться.

Папа в это время был в отъезде, мама с раннего утра убежала на работу в больницу, поэтому ведро пришлось тащить мне самой. Я шла медленно, отдыхая через каждые сто метров, а школа была далеко от дома. В результате я впервые с начала учебного года опоздала на урок. Со страхом ожидая наказания за опоздание, я подошла к двери класса и тут глянула на свою драгоценную ношу. Всю дорогу я шла и гордилась, что несу такое нужное удобрение. Теперь я взглянула на этот груз иными глазами. Как ни крути, это все-таки было ведро какашек, пусть и куриных. Заносить его в класс, пожалуй, не стоило. Я вздохнула и потащила ведро обратно по длинному коридору к выходу. В школьном коридоре никого не было, во дворе тоже было пустынно. Посоветоваться, куда деть ведро, было не с кем, и я, немного поразмыслив, потащила его за школу. Я поставила ведро под окнами нашего класса, возле самой грядки, и с облегчением побежала обратно.

Александра Георгиевна пожурила меня за опоздание и разрешила сесть. Когда закончился урок, она спросила, принесла ли я удобрение, и я, сияя, ответила, что ведро поставила под окном напротив нашей грядки. Учительница отчего-то заволновалась, мы с ней быстро пошли к нашей грядке, но ведра на месте не было... Так я впервые узнала о таком неприятном явлении, как кража. Расспросы уборщицы и других взрослых, опросы детей ничего не дали, ведро с пометом так и не нашлось. Я получила выговор от учительницы за то, что бросила такую ценность без присмотра (надо было, оказывается, все же внести в класс), и меня обязали принести удобрение повторно.

Это были очень трудные для меня дни. С одной стороны, мной была недовольна мама: опять проблемы с поиском удобрения. С другой стороны, Куна огорчилась из-за утраченного ведра: жила она бедно, и лишнего ведра в хозяйстве не было. Учительница тоже была недовольна: класс недовыполнил план по сдаче помета. Она ежедневно напоминала мне о моей «пометной задолженности», а взять удобрение было неоткуда. Меня это сильно угнетало, и каждое утро я шла в школу с тяжелой душой.

В конце концов все утряслось: мама купила Куне новое ведро, Александра Георгиевна же перестала требовать от меня невыполнимое (подозреваю, что мама зашла в школу и объяснила, что удобрения у нас нет и взять его негде) — все оставили меня в покое. Но за неделю я так успела измучиться, что возненавидела воровство как самый страшный порок...

* * *

Школа школой, а после уроков я по-прежнему проводила время на улице в обществе подружек из соседних дворов, двух девочек-тезок — двух Фатимат — и еще нескольких кабардинских друзей. Мне как раз в это время купили фильмоскоп и кучу диафильмов к нему. Фильмоскоп был не из тех, что проецируют изображение на экран (стену или простыню). Диафильмы в нем надо было рассматривать, поднеся окуляр к самому глазу, закрыв второй глаз — как в микроскопе. Диафильмы были цветные и, как я теперь понимаю, выполнены хорошими художниками: «Руслан и Людмила» в двух сериях-пленках, «Генерал Топтыгин» по стихотворению Некрасова, японская сказка «Желтый аист», сказка «Маша и медведь», еще какие-то... С появлением фильмоскопа мой рейтинг среди

кабардинских друзей значительно повысился. Они просили разрешения заглянуть в окуляр, а я важничала, устанавливала очередь и наблюдала за порядком в ней.

Другой любимой игрушкой был калейдоскоп. Вообще-то он был не второй, а самой что ни на есть первой, самой любимой игрушкой, лучшим развлечением. Калейдоскоп был чудом, непонятным и влекущим своей тайной. Орнаменты, возникавшие в трубке при малейшем ее повороте, были один прекраснее другого, цвета их — насыщенные, яркие на просвет, ликующие. Думаю, отсюда и пошла моя любовь к витражам. Будь моя воля, я бы на каждом шагу располагала витражи: в домах, магазинах, детских садах, школах, учреждениях. Это ведь лучшее средство от уныния, скуки, усталости и депрессии.

Говорят, что больше всего мы причиняем боли тем, кого больше всего любим. Это верно и в отношении вещей. Может быть, о боли говорить в этом случае нельзя, но о неприятности, которые мы причиняем любимым вещам, думаю, можно. Любимые книги — всегда самые потрепанные, любимая одежда — наиболее изношенная. А моему калейдоскопу вообще не повезло. Я долго боролась между желанием разгадать его тайну и стремлением сберечь спрятанную в нем красоту, чтобы наслаждаться ею и дальше. Любознательность одержала победу: я разобрала это чудо чудное! А когда разобрала, расплакалась: внутри оказались два стеклянных кружка, три узкие, длинные полоски зеркала и кучка жалких разноцветных мелких стеклышек. И все! Никакой тайны, никакой жар-птицы. Собрать калейдоскоп снова так, как было, не удавалось. Что-то в нем сместилось, зеркальные полоски не держались, стеклянное доньшко выпадало. Так что калейдоскопа больше не было.

И только через пять лет мне снова купили калейдоскоп. Тогда мы жили в Евпатории, я училась в пятом классе, но узоры в калейдоскопе рассматривала с не меньшим восхищением, чем в семилетнем возрасте, и могла этим заниматься бесконечно...

Галина Щекина. Чтобы не позорила

В школе всегда много чего случалось. Я была очкариком с одним заклеенным очком. Меня жестоко дразнили. Первое воспоминание — мокрые цветы и гладкий глянec крашенных парт. Все, все новое. Запах свежего ремонта с тех пор означал счастье. Место, где прошло мое школьное детство, — г. Эртиль Воронежской области. Наша семья: мама, папа, моя сестра Люся и я — жила там около десяти лет.

Эртильская средняя школа № 2 располагалась в двух зданиях — старая школа и новая школа. В новой, щитовой, изогнутой буквой «Г», учились старшие классы, в старом оштукатуренном домике учились младшие классы. Сейчас-то школа — большая и кирпичная, но я запомнила ту, старую. В ней в каждом классе стояли печки, пальто висели на вешалках тоже в каждом классе. Учиться было тепло, даже жарко, и вешалка мало-помалу обрастала кофтами, свитерами. Учиться было просто — дома я часами корпела над уроками и чаще других получала пятерки. Дома мне внушали, что списывать нельзя — «надейся на себя!». «И другим списывать не давай». Я и не давала. Однажды за это упрямство мне наложили в парту тухлых яиц. Я только портфель туда — как оно и потекло мне всё на колени. Пришлось бежать домой... Вообще, с учебой у меня не было проблем, они были в другом — в отношениях.

Было так хорошо после улицы зайти и прижаться к горячей печке. Старая школа часто снилась мне, потому что напоминала дом. В этой уютной старой школе случилась со мною первая беда. По весне ближе к праздникам третий класс приняли в пионеры. Меня распирала гордость — как же, мне

повязали красный галстук в числе первых. И первые дни я ходила в нем и в школе, и дома, не хотела снимать. Меня приняли в пионеры, я дала клятву: «Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...». Почувствовала себя частью чего-то большого и важного. Когда повторяла шепотом клятву, я едва сдерживала слезы.

И вот приходят завуч и главная пионервожатая. Объявили, что нужно выбрать пионеров для караула возле памятника погибшим воинам. Спросили у нашей учительницы, кто учится хорошо. Та некоторых перечислила и почти сразу назвала мою фамилию — Есипова Галя. Все названные встали. «Вот Галя хорошо учится, на пять».

Завуч взглянула на меня и передернула плечами. «Мало ли что, хорошо учится. Она же косая, куда такой стоять в карауле. Только позорить нас будет». Все затихли. Учительница моя в начальных классах Анна Яковлевна что-то сказала завучу на ухо, но та отрицательно помотала головой и продолжала что-то отмечать в списках (фамилию ее я, конечно, не помню).

Я не сразу поняла, что меня вычеркнули! Потом со мной что-то случилось. Не помня себя, я выскочила из класса, не одевшись, забыв портфель. Бежала домой мимо почты, мимо каменного «цыганского» дома, через дворы, детсад. Дома, упав на кровать, я так рыдала, что мать испугалась, хотела бежать в школу выяснять... Но я еще добавила масла в огонь: «В школу больше не пойду. И ничего не говори мне, сама учительница». Мать (ее звали Валентина Владимировна Есипова) просто остолбенела. Такие наглые речи от меня, затюканной отличницы, она слышала в первый раз. Она действительно сама была учительница в той же школе. И она хотела меня уговорить, но это было невозможно, тем более что я не могла толком объяснить, что случилось. Мама сама потом узнала у нашей учительницы причину такого взрыва.

Но в тот вечер со мной было невозможно ни о чем говорить. Проревевшись, я замолчала. Подружка принесла домой портфель. Но я не разговаривала и с ней. Я пошла за сарай и разбила очки. Молча. Размолотила кирпичом в крошку. Сердце мое билось настолько сильно, что трудно было дышать. А ведь я знала, что у нас в районе очки такие было не купить, надо было заказывать в городе (с разными стеклами). Глазам без очков было холодно. На душе было холодно. Я понимала, что одной учебы мало. Меня будут ненавидеть. Я приготовилась, что меня будут ненавидеть. За то, что я не такая, как все. За пятерки. За то, что отец директор. Не знаю за что. И во многом это сбылось.

* * *

У нас была физкультура, с начальных классов и до последнего, десятого. Я физкультуру не любила, отлынивала. Когда могла, приносила справки. Но это редко удавалось. На физкультуру надо было носить «форму» — растянутые трикотажные штаны — и быстро переодевать прямо в классе или где хочешь. Девочки, которым покупали красивую форму — «мастерку», зеленую или синюю, с белой полосой, как у спортсменов, смотрелись в ней изумительно. В «трикошках» я была похожа на маляра. К тому же я была неуклюжей до невозможности. Папа (Александр Михайлович Есипов, директор механического завода в Эртиле) знал об этом и пытался меня тренировать. Он в своем институте, Воронежском СХИ, был на виду и славился как чемпион по лыжам. Заставлял делать зарядку, тащил с собой на лыжах кататься. Осенью мы с ним как-то бегали на заводском стадионе. Он терпеливо засекал время, по сто раз повторял, как дышать, но сам выбивался из сил. И разводил руками: «утка на ипподроме», — говорил он про меня. Когда в школе бежали, кажется, тридцать метров на время, у всех было восемь секунд, а у меня одной было десять. Все смеялись. Но учитель по физкультуре Иннокентий говорил: «Неважно, за сколько, важно, что бежала». Он запомнился мне своим демократизмом и еще шутиливой фразой «сделай ложный финт ушами и садись». Это если ученик оплошал. У него были еще фразы, всегда смешные, примиряющие с неудачей.

Кстати, коронные фразы были у всех учителей! Наш пожилой математик, Алексей Васильевич, заклинал нас: «Берите быка за рога, находите общий знаменатель!» Если в классе шумели, Алексей Васильевич бесстрастно говорил: «Недовольны — напишите на меня анонимку!». Русистка Лариса Яковлевна Лосева прославилась фразой: «Чтой-то ты на себя много берешь на сегодняшний день, как я посмотрю!» Начало фразы говорилось вкрадчиво, потом громкость усиливалась, и конец уже был гневно-яростным. Часто это относилось к ее сыну Вите Лосеву, который был довольно непослушным, мягко говоря. Но больше всех запомнился молодой физик Анатолий Ильич Бевз.

Он внешне мало отличался от своих учеников-старшеклассников: быстрый, вихрастый. Объясняя кружение электронов и протонов вокруг ядра, он то и дело добавлял фразочки типа: «Они тут летают, летают по орбите, икру мечут». Все хохотали. Учителя были в основном старые, поэтому, как только появился Бевз, в него все влюбились...

Виля мои мучения с физкультурой, родители однажды все же купили мне (достали на базе!) «мастерку», причем цвета морской волны, с белой полосой на воротнике. Они надеялись, что хоть это привлечет меня к уроку. Был конец учебного года, весна, мы ходили на стадион мехзавода через дороги, а они грунтовые, можно утонуть в грязи. Мы, весь восьмой или девятый класс, столпились около этой топкой дороги в своих нарядных «мастерках» и легоньких кедах. Мальчишки, разбежавшись, перепрыгивали, а девчонки никак. Иннокентию не понравилась наша беспомощность, время шло, урок таял. Тогда он поднял каждую девчонку на руки и перенес. Я понимала, что тяжела для худого Иннокентия, сама его за шею обхватила, и он потащил на спине.

Мы хорошо провели урок на стадионе: Иннокентий был доволен, я воображала перед всеми в новой «мастерке», надо мной не ржали, как обычно. Придя на волейбольную площадку, которой я боялась как огня, я три раза отбила мяч через сетку и, чтобы выслужиться, быстро приносила мяч, улетевший в аут. «Аут» — и я бежала изо всех сил. «Аут» — резко свистел свисток, и сил уже не было, но они были...

Дома мать сразу спросила, как я опробовала новую форму. Хорошо опробовала! Но через день разыгрался скандал. Оказалось, что в школу пришла жена Иннокентия, спросила нашего классного руководителя Марию Николаевну Мочалову и высказала кучу гадостей про девочек нашего класса, которые вешались на шею ее мужу. Даже заявление какое-то написала о моральном падении, просила отреагировать. Мама вызвала меня на ковер.

— С какой стати ты вешалась на шею физруку?

— Он меня через дорогу перенес.

— А других?

— И других.

— Другие меня не волнуют. А вот ты взрослая девушка, до чего докатилась.

— Да не катилась я, он сам предложил.

— Надо было отказаться.

— Ага, все бы пошли на физру, а я куда? Обрато в класс?

— Не знаю куда, но мне стыдно. Мне в лицо такое говорят! Позор!

Меня выпороли. За что — непонятно.

Я сняла чудесную «мастерку» и больше носить ее не стала.

Алексей Щедров. Комсомольский барон

Я закончил московскую школу № 528 в 1988 году. С тех пор прошло столько лет, столько событий, что и подумать боязно... ощущаешь себя тысячелетним Мафусаилом.

Много может вместить наша страна за четверть века. К несчастью, это подтвердилось в очередной, бог весть уже в который раз.

Но тогда мы — наивные дети восьмидесятых, да впрочем, и наши родители — ни о чем таком не подозревали. Учились, влюблялись, танцевали на дискотеках, гуляли допоздна по старой Москве, еще не превращенной в обезличенный город из стекла, бетона и автомобильных пробок...

Впрочем, о Москве и другие скажут. Я о другом.

Школьная пора для меня была хорошим временем, вспоминается она только добрым словом, с нотками светлой легкой грусти — и радости за самого себя: хорошо, что все это было со мной.

Правда, среди светлого — хороших друзей, приятных встреч и легко дававшейся мне учебы — случались и не самые приятные моменты.

...Урок литературы. У доски Надежда Ивановна, директор школы: делано импозантная дама лет шестидесяти с твердым взглядом верного ленинца и неожиданным французским грассированным «р». Не удивлюсь, если никакого дефекта речи у нее на самом деле не было, а было желание соответствовать хотя бы в чем-то своей дворянской фамилии — Потемкина.

Тема урока — «На дне» Горького.

— Щегбаков! Отвечать будешь ты.

Мою фамилию она ни разу не произнесла правильно без репетиции. Был я и Кедровым, и Щербаковым, и Щегловым, и почему-то Ждановым, и кем-то еще, кажется, Макаровым — в общем, привык откликаться на любую фамилию, отсутствовавшую в классном журнале. Скажи она «Маннергейм» или «Джугашвили», я бы вышел к доске, не сомневаясь, что директор имела в виду меня.

Не знаю, за что она меня не любила. Впрочем, это было взаимно...

Я встал.

— Щедров, Надежда Ивановна.

— Какая газница? Пгошу. Выскажи свое мнение. Ты меня понимаешь? Сво-е. Именно свое.

— Понимаю. О чем?

— Кто из гегоев пизсы Гогького «На дне» наиболее пгятен именно тебе? Отвечай.

Я на секунду задумался. Надежда Ивановна, разумеется, ожидала, что «личное мнение» совпадет с доктриной из ее методички: любимым героем всех учащихся должен был быть Сатин, бож с замашками большевика (по крайней мере, так трактовала пьесу Надежда Ивановна — разумеется, в очень складных выражениях). Так было принято в те годы. Анализ любого литературного произведения подразумевал торжество марксизма-ленинизма и призван был выискивать это торжество между строк. А отличный ответ на уроке должен был вскрыть и провозгласить это скрытое торжество... Прочие ответы отличными не признавались. Свое мнение могло быть любым, если оно совпадало с линией партии.

Правда, уже кончались восьмидесятые... Но школа не менялась.

Что же мне сказать? В отличие от моих друзей-балбесов я учился хорошо и очень любил читать; и «На дне» я прочитал и помнил хорошо. Так что же, что ответить? Во мне боролись два человека: галенький голос шептал, что стоит мне похвалить Сатина — и пятерка в кармане, а может быть, Надежда даже смягчится, улучшит свое отношение ко мне и как-нибудь — раз! — и назовет меня Щедровым... Но победил другой голос, не желавший врать и бояться. Откуда во мне родился этот голос — не знаю.

— Именно мне? Мне больше всех понравился Барон, Надежда Ивановна.

— Что-о?

— Барон. Мне больше остальных понравился Барон. Правда, тут...

— Что? Ты понимаешь, что ты говоришь?

Я понял, что сейчас меня выгонят из класса за неправильное личное мнение, и, пока не выгнали, надо его высказать как можно быстрее. И почти скороговоркой я выпалил:

— Мое мнение таково, что все герои этой пьесы крайне неприглядны, но среди прочего отребья Барон мне симпатичнее других исключительно тем, что он сохранил в себе остатки человеческого облика, и не просто человеческого, а дворянского.

— Отгебья? Ты сказал — отгебья? Гебьята, для него Сатин — отгебье! Неслыханно! Пгосто неслыханно! Вон из класса, Щедгов!

Вот так. Оказывается, надо было ответить «против линии партии», чтобы вспомнилась моя фамилия. Надо же...

Я воодушевился и решил ее любить.

— За что, Надежда Ивановна? У нас за правду теперь из класса выгоняют? Вы просили искренне — а надо было «как положено»? Так нечестно!

— Негодяй! Вон!!! И завтга же отца в школу!

— Как скажете.

Я взял портфель, вышел из класса и побрел домой — литература была последним уроком. Дома был отец. Как обычно, он сидел за переводом. Треск пишущей машинки «Мерседес» был слышен даже во дворе.

Я рассказал, как прошел урок литературы.

— Завтра тебя вызывают к директору, пап.

— Это еще зачем?

— Ну... из-за Барона.

— Делать мне нечего — из-за такой ерунды (отец выразился гораздо крепче) от работы отрываться. Совсем из ума выжила партайгеноссе (далее тоже было непечатно).

— Что же я скажу директору?

— А ты так и скажи, мол, отцу передал. Да не бойся, не спросит она! Ей же придется передо мной юлить и краснеть, и она это прекрасно понимает. Иди спокойно в школу, и все!

Так я и сделал. Но мы с папой недооценили Надежду Ивановну.

...С того дня ежедневно, встречая меня — в коридоре ли, на уроке, в столовой или на школьном дворе, — Надежда Ивановна преображалась. Подбородок поднимался, глаза полузакрыты, полна грудь воздуха — и...

— О! Ко-го я ви-жу! Ба-гон! Идет Ба-гон! — В полный голос, во всю ивановскую. — Багон! Сутенег! Это я тебе говою, Щедгов! Слышишь меня?

— Здрасьте, Надежда Ивановна.

— А почему не по-фганцузски? Ты же у нас багон! А?

Я молчал.

Ребята меня поддерживали:

— Лех, ты только терпи, ей же когда-нибудь надоест. Ну сколько можно? Одна сказка — не потеха. Ты молчи, главное. А то сразу прицепится. Она же тебя специально провоцирует... Зато смотри — фамилию твою запомнила! Держись! Мы за тебя!

До выпускного мне оставалось, кажется, еще около года. Каждый день превратился в борьбу — она напалала, я терпел, скрипел зубами и ждал, когда ей наконец, надоест.

Ей не надоело.

Я подумывал о переходе в другую школу. Выпускные экзамены я мог бы и не сдать: на каждом экзамене сидела Надежда Ивановна, председательствуя в экзаменационной комиссии. Она не упустила бы возможность насолить безответному десятикласснику... в общем, дела мои были плохи.

Правда, учился я по-прежнему без троек.

История нашего противостояния кончилась неожиданно и необъяснимо. Две-три недели ее монологов в коридорах школы оборвались в один миг: мои друзья случайно увидели, как она в середине дня приехала из райкома партии в слезах, стремительно прошла в свой кабинет и там заперлась.

На следующий день мы узнали, что Надежду Ивановну сняли с должности директора школы. Директором школы стала завуч, Ирина Максимовна, женщина в высшей мере справедливая и интеллигентная. И — о чудо! — обо мне забыли, я хорошо закончил школу и поступил в институт.

Надежда Ивановна больше не вспоминала, что я барон. Она осталась в нашей школе обычным учителем литературы, продолжала преподавать у нас, но мою фамилию с тех пор ни разу не перепутала с какой-нибудь другой.

Ходили слухи, что мне помог папа одного из моих друзей. Будто бы сын рассказал ему за завтраком, как директор травит Лешку Щедрова. Отец возмутился и, будучи генерал-майором КГБ, взял да и позвонил в райком: дескать, что за порядки, товарищи, в школах вашего района? Что за травля детей в худших традициях сталинизма? В стране перестройка, а в вашем районе ее что, нет? Разберитесь немедленно. А то мы разберемся.

Это слухи, но слухи вполне правдоподобные. Такой телефонный звонок вполне мог быть сделан, фраза «А то мы разберемся» могла сдвинуть любые горы и не могла быть истолкована неправильно, а последствия всего лишь одного телефонного звонка, невзирая на перестройку, вполне могли оказаться именно такими, какими оказались.

Несмотря на перестройку, этой власти боялись даже во всемогущих райкомах.

Марина Погребная. Школа № 1

Я держу в руках фотографию. На ней мне шесть лет, я залезла на железную ракету-лазалку, одной рукой держусь за нос ракеты, другая широко отведена в сторону — это я позирую для мамы, а она фотографирует меня в мой последний день в детском саду.

Этот день я до сих пор помню.

А как я пошла в школу — не помню. Только дата осталась в аттестате: начало обучения 1 сентября 1983 года.

В школе мне была отведена незавидная участь очкарика — от папы по наследству досталось плохое зрение. Дети — жестокий народ, поэтому впереди меня ждало нелегкое время.

Мою первую учительницу звали Розова Мария Антоновна. «Розоваля» — через грассирующее «р» говорил младший брат моей одноклассницы. Тогда мы не знали, что у этого картавого слова мог бы быть еще один смысл.

Хорошая была учительница. Моя мама только один раз с ней поругалась — это когда меня оставили после уроков осваивать кеттельный шов, который у меня никак не получался, но которым в те времена должны были уметь шить все девочки. Склоняясь очками к лоскутку, я сопела, пытаюсь освоить это мудреное дело, и уже сильно опаздывала на урок в музыкальную школу. Моя мама ворвалась в класс, за две секунды оценила ситуацию и взорвалась: «Моя дочь в худшем случае будет слепым музыкантом, но никак не белошвейкой!» На этом вопрос необходимости познания кеттельного шва был закрыт, а особенности характера моей мамы Мария Антоновна запомнила надолго.

В нашей школе первый этаж полностью принадлежал начальным классам. Второй и третий этажи были обиталищем старшеклассников — от четвертого до десятого.

Помню, у нас были вожатые. Сейчас нет такой роскоши. А мы были просто счастливы, когда к нам в класс с верхних этажей спускались небожители. Из всех вожатых больше всего запомнилась девочка Наташа. Высокая, крупная, с тяжелой длиннющей косой, перекинутой через плечо, с печально-меланхоличным выражением лица, она мягко улыбалась нам и гладила по головам. Через семь лет, когда трагически погибнет Виктор Цой, пионервожатая Наташа выбросится из окна восьмого этажа под звуки песен группы «Кино».

В третьем классе нас начали принимать в пионеры. Принимали порциями, в зависимости от степени заслуг перед Отечеством. Я попала во второй поток.

В третьем классе я уже отлично понимала время по стрелкам, не опаздывала на уроки в музыкальной школе — а на церемонию приема в пионеры опоздала. Я ворвалась в актовЫй зал, набитый до отказа школьниками, поняла, что все, кроме меня, уже пионеры, и стала пробираться между рядов к сцене, громко бормоча извинения и испуганно хныкая.

В результате в пионеры меня принимали отдельным потоком — совершенно одну. Глотая слезы и отчаянно краснея, я проямлила слова клятвы, мне повязали галстук и отпустили под всеобщие смешки зала.

Но испуг и горечь прошли, а осталась гордость от того, что и я теперь принадлежу к клану избранных. Не застегивая пальто, я шла из школы домой, чтобы все видели — я пионерка, я взрослая. Буквально через четыре года этот галстук будет заброшен мной, как и другими одноклассниками, за диван — пионерская организация загибалась у нас на глазах.

Все хорошие воспоминания, связанные со школой, закончились вместе с окончанием третьего класса. Четвертый класс открыл для нас двери закрытых ранее территорий второго и третьего этажей. Но вместе с этим мы получили вместо одной учительницы дюжину новых, у каждой из которых были свои тараканы в голове. Под каждого нужно было подстроиться, найти с ней контакт.

Классная нам досталась кошмарная. Терзаемая симптомами заболевания щитовидной железы, измученная непутевым мужем-алкоголиком, она срывала на учениках обиды всей своей жизни. Мы были «уродами, тупицами, идиотами». О головы особо непослушных мальчишек она ломала указки и большие деревянные треугольники, по которым чертили линии на доске. Ее предметом был немецкий, и этот каркающий язык гармонично дополнял образ нашего классного руководителя. Мне повезло — я учила английский язык.

Учительница русского языка и литературы была педантична в своих методиках преподавания, не отступала от инструкций и от нас требовала того же. Малейшее отклонение от формулировки правила правописания или идейной мысли литературного произведения каралось неудовлетворительной оценкой. Раздавая упреки в том, что мы, как всегда, плохо усвоили материал, для нее было нормой подойти к зазевавшемуся ученику и опустить на его голову стопку учебников, которую она держала в руках.

Учитель химии тоже был ярким экземпляром. Ростом в полтора метра, он покрывал нехватку сантиметров длиннющей деревянной указкой, которой тыкал в наши спины и стучал по голове. Да, методика вколачивания наук в прямом смысле слова тогда была актуальна.

Учительница черчения была совсем молодой хорошенькой выпускницей педагогического института. Как и в любом классе, у нас были отпетые хулиганы, для которых любимым развлечением было вывести чертежницу из себя хамством и наглостью. В отличие от других учителей, чертежница

с нами не дралась, а просто выбегала из класса со слезами на глазах.

Физичка была милой старушкой, страдающей провалами в памяти, чем мы нагло пользовались. Поставив кому-то двойку в журнал, она тут же забывала за что, и можно было подойти к ней на следующем уроке и заверить, что двойку поставили по ошибке, на самом деле материал был отвечен на четверку, и физичка согласно исправляла плохую оценку.

В седьмом классе мы все ощутили явную перемену в сознании общества. Все реже с утра повязывались галстуки, и родители не ругали нас. Да и многие учителя стали закрывать на это глаза. Исключением были классные часы, все еще посвящаемые чтению вслух статей из газет и обзору политической обстановки в мире: перед этим часом мы бегали по коридорам, выклянчивая у младших учеников галстук, потому что «классуха» просто зверела, если кто-то был без него. Наша «немка» труднее всех смирялась с тем, что этот мир катится в тартарары.

А мы продолжали «качать права». Стали возмущаться необходимостью носить школьную форму, так надоевшую всем за эти годы. Самые смелые парни приходили без пиджаков, девочкам покупали синие платья, завезенные из буржуйской Прибалтики, где школьная форма была гораздо симпатичнее.

Я никогда не отличалась смелостью и протестным настроением, но в девятом классе все-таки решилась — вместо школьной формы стала носить мамино черное трикотажное платье классического покроя, за что удостоилась от нашей «немки» презрительного эпитета «дама с камелиями». Могла ли она предположить, что через несколько лет ученицы старших классов будут напоминать актрис кабаре «Мулен Руж» высотой каблуков, длиной юбок и количеством косметики на лице.

По окончании средней школы всем нам нужно было принять решение — идти учиться дальше в девятый и десятый классы или поступать в училища и техникумы. Брала только тех, кто показал хорошие результаты на экзаменах. Мне тоже предложили остаться в школе. «Классуха», смирившаяся с моим трикотажным черным платьем, отводя глаза, сказала, что голова у меня светлая, стоит подумать об институте.

Но я не могла вынести еще два года в стенах школы. Моя судьба была предрешена — на следующий год я стала студенткой местного техникума, просто потому что он был ближе всего к дому, и последующие 4 года изучала правила очистки канализационных стоков. Совершенно бесполезные четыре года, абсолютно ненужный диплом. Став старше на эти четыре года, я наконец-то выбрала свой путь, по которому решилась идти самостоятельно.

Я не любила школу. И, оглядываясь сейчас назад, не хотела бы повторить эти годы. Но все списывать на учителей тех лет не могу.

Моей дочери двенадцать, сегодняшние учителя не бьют детей и аккуратнее в выражениях. Но и дочка не любит школу, хотя голова у нее тоже светлая.

Светлана Челнокова. От шести до девяти

Обычно школу принято вспоминать словами из песни «Школьные годы чудесные...» Но я, к сожалению, не захожусь в ностальгической тоске, вспоминая этот период. Ничего там чудесного не происходило, кроме разве что детства, юности. А эти состояния и без школы, сами по себе, хороши.

В 1982 году мне исполнилось шесть лет, когда мама упросила директрису принять меня в первый класс начальной школы № 1 города Мамоново Калининградской области, так сказать, условно-досрочно. Родители жили в отдаленном военном городке, детский сад посещать возможности не было, оставлять меня дома одну еще год родители считали небезопасно, так что первый класс стал решением проблемы.

Начальная школа располагалась в бывшем здании немецкой гимназии, вмещала в себя посменно двести учеников, постоянно требовала ремонта и имела тонкую вертикальную перегородку с городской поликлиникой.

Свою первую учительницу, Елизавету Степановну, я откровенно боялась. В нашем классе учился мальчишка из неблагополучной семьи, он плохо разговаривал, и учительница любила, вызвав его к доске, «поболтать за жизнь»: «Ну сто, Сявка, как папку зявут? Воедя? А папка водку пил втера?» Славка, краснея, булькал чего-то в ответ, учительница подмигивала нам. Видимо, это был такой педагогический прием налаживания «дружеских отношений» с классом. Мы солидарно хихикали, при этом совершенно не желая оказаться на месте Славки — не у всех папки вели трезвый образ жизни. Славка после уроков отчаянно лупасил каждого из нас, с кем мог справиться.

Расшалившемуся ученику Елизавета Степановна могла треснуть указкой по спине или ухватить его за ухо. Тогда считалось в порядке вещей орать на нас, детей, хватать, дергать. Даже технички имели законное право запустить в школьника полой тряпкой, если он просто пробегал мимо. Складывалось ощущение, что мы бесим и раздражаем взрослых одним своим видом. На переменах нас заставляли стоять в коридоре вдоль стен или прогуливаться медленным шагом вперед-назад. Все это, как нам объясняли, делалось не со зла, а «по-отечески», в воспитательных целях. Для спасения наших глупых душ и тел. Хм, может и правда?

Один раз мы, четверо ребят, распрыгались по коридору дикими козлами, и уборщица, здоровенная тетя Настя, зашипев матом, поперла на нас огромной глыбой, норовя ухватить всех четверых разом. О, мы, как нечаянные сопли, брызнули от нее по сторонам! Я столкнулась с одноклассником Лешкой и, отлетев от него, угодила задом в ведро с водой, принадлежащее все той же тете Насте. Я думала, она сожрет меня там же вместе с этим ведром! Но нет! Она вытащила меня за шкуру и, мокрозадую, поволокла к учительнице на разборки.

Долго судили-рядили; наконец решили, что во всем виноват Лешка — его тут же отправили за матерью, а меня вроде как признали жертвой и посадили на горячую батарею, «сушить репутацию». Он вернулся через полчаса, уже получивший «люлей» от вырванной с работы мамыши. Елизавета Степановна прервала урок, подозвала меня и начала предъявлять «улики» матери одноклассника: «Посмотрите, что! Посмотрите!» Она развернула меня задом и, встряхивая, как вещь, постоянно выставляла мою пятую точку то перед Лешкиной матерью, то перед классом, то перед Лешкой, восклицая обвинительно-назидательные речи. Лешкина мать согласно кивала: «Уж они такие! Уж я своему поддала и еще поддам!» Учительница наконец отпустила меня досушиваться, а Лешку приговорили к публичным извинениям. Я не знала, что делать: снова слезать с батареи или оставаться на ней. Мне было страшно и стыдно от этой дурацкой «судебной процедуры». Мы же не сделали ничего ужасного, и Лешка не толкал меня. Но мы не смели возбухать насчет каких-то там прав и справедливости. Мы всегда чувствовали себя виноватыми. Поэтому заплаканный и униженный Лешка прошептал: «Прости, Света!», а я со своего «чугунного трона», не менее униженная, так же тихо проговорила: «Прощаю».

Следующим уроком было пение. Я помню слова песни, которую мы разучивали:

Встаньте все люди! Встаньте, чилийцы!

Мы вам еще отомстим, кровопийцы!

Мы никогда не падем на колени!

В наших сердцах русский вождь,

Русский Ленин.

С Лешкой мы больше не дружили. А меня еще долго обзывали «мокрая ж...»

* * *

У каждого в классе была обязательная общественная нагрузка. Редактор стенгазеты, ответственный за дневник наблюдения за природой, санитар (две штуки) — они проверяли у учеников на входе в класс уши и ногти, завхоз, политинформатор, ответственный за цветы в горшках, ответственный за физкультурный инвентарь. Потом, когда нас приняли в октябрята, класс разбили на «звездочки». Это пять групп по шесть человек. Каждая «звездочка» соревновалась между собой по успеваемости, по поведению. На стене в классе висел список и график с показателями. В конце недели подводились итоги, и порой я плакала оттого, что наша «звездочка» не получала призовую картонную звезду.

В конце каждой четверти и в конце учебного года отличившимся ученикам выдавали почетные грамоты и похвальные листы. Я свои тщательно собирала на протяжении всей учебы. Кто-то сказал, что всё это «портфолио» пригодится при поступлении в институт и для вступления в коммунистическую партию. А я тогда очень хотела стать коммунистом! Я хорошо училась, бралась за любую общественную нагрузку. По коридорам больше не бегала... Меня хвалили, ставили в пример. Одной из первых приняли в пионеры — 22 апреля 1985 года, в день рождения Ленина. Правда, нас, десять лучших учеников, приняли в спортзале школы быстренько, скоренько, а остальных, «менее достойных», — 19 мая в день пионерии на главной площади города, с поздравлениями и подарками от председателя горкома. Позже я поняла, что 22 апреля на площади и так было полно мероприятий. Не до нас. Нет, не подарков мне хотелось (хотя и их тоже); мучил вопрос: «Почему двоечника Яковлева почетно приняли в такие почетные ряды — так, а меня лучшую ученицу — этак, и он еще надо мной посмеивался, размахивая подаренными карандашами? Зачем я старалась, если можно было валять дурака и бездельничать?» Обидно. Тогда у меня началось какое-то странное состояние, наверно, «детская депрессия». Мне не хотелось идти в школу, не хотелось быть хорошей. Я придумывала себе всякие болезни и упорно жаловалась маме на плохое зрение и боль в животе, вынуждая ее ходить со мной по врачам. Доктора ничего не находили, но на всякий случай выписывали рецепты и справки для школы. Передохнув таким образом с недельку, я возвращалась в школу и снова распевала со всеми вместе:

Мы проснулись на рассвете, Белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао!

* * *

Но больше, чем школьных успехов, нам тогда хотелось жвачек с мультяшными картинками, цветных фломастеров и переводилок. Эти богатства были недоступны большинству ребят. Но у некоторых счастливиц, как правило, у детей моряков, такие вещички водились. Помню, как одноклассница Жанна восседала на парте, а мы топтались возле нее, предлагая какие-то свои детские сокровища за кусочек розовой прелести «Love is...». А она на наших глазах, полных жалкой мольбы, небрежно отправляла в рот вожделенный кубик и, надувая пузыри, брезгливо перебирала наши дары. Порой у Жанны не было настроения меняться, и мы, несчастные, расползались ни с чем, но кто-то из особенно жаждущих продолжал кланчить у нее «хотя бы дожевать».

Однажды у Жанны пропали фломастеры. Она всегда выкладывала их на стол поверх учебников. Девчонка пожаловалась учительнице. Елизавета Степановна закрыла дверь в классе на ключ, отчитала Жанну по поводу «таскания в школу всякой дребедени» и приказала нам всем приготовить портфели для досмотра. Фломастеры не нашлись. Тогда она приказала нам встать и стоять до тех пор, пока кто-то не сознается. Прошло сорок минут, — никто не признался. Елизавета Степановна сказала, что пойдет вызывать милицию, вышла из кабинета и закрыла нас. Мы начали сами выяснять, кто что видел, кричать друг на друга. Через какое-то время вернулась учительница и спокойно произнесла: «Нашли вора? Нет? Собирайте свои вещи! Две грузовые милицейские машины с охраной и собаками уже стоят возле школы. Всех вас сейчас отправят в колонию. И даже родители не узнают, где вы, и не спасут вас». Ух какой поднялся гвалт, ор и плач! Мы умоляли не отпускать нас, пожалеть, смилостивиться! И, по-моему, нас пощадили. Да наверняка пожалели. Ведь к десятому классу ни у кого из нас не было судимости. Но фломастеры так и не нашлись. С этого случая нам запретили приносить в школу посторонние предметы и выкладывать на парту что-либо кроме учебника, тетрадки, карандаша и ручки.

Каждый понедельник мы сдавали деньги на неделю за завтраки и обеды в школьной столовой. Завтрак на шесть дней стоил 2 руб. 40 коп., завтрак + обед — 3 руб. 60 коп. Это была необязательная процедура. Поэтому я впервые задумала «крамолу»: просила у мамы деньги под предлогом «на обед», а сама прятала рублики в старом валенке. Хранила их там целую неделю, не тратила. А потом... Потом опять не тратила. Впервые тогда я познала это прекрасное чувство обладания собственным капиталом! Нас всегда учили, что деньги — это плохо, это зло. Но какое же чувство свободы давало осознание того, что это «зло» у тебя есть. И тебе почему-то не плохо, а даже наоборот — радостно!

Вот так я помню свою школьную жизнь с первого по третий класс. Может быть, я была слишком мала, чтобы оценивать правильно свои поступки, поступки других людей. Моя первая учительница, Смирнова Елизавета Степановна, уважаемый педагог, прожила долгую трудную жизнь, воспитала несколько поколений учеников. И я не хочу обидеть светлую память о ней своими темными вкраплениями. Но то, что я написала, чувствовала тогда и чувствую до сих пор.

А так — да, все мы родом из детства... Как иначе?..

Марина Шатерова. Не забывается — а хотелось бы!

Недавно призадумалась: десять лет были отданы школе, а что я могу вспомнить о тех годах, кроме тихой ненависти к учебе, ко всему тому, что нам навязывалось через силу, одноклассников, которые меня не любили, да и учителей, которые тоже запросто могли в лицо гадостей наговорить?

Вообще, дети, у которых есть старшие братья и сестры — школьники, знают, что после садика надо идти в школу и что их там ждет. А я сама была старшей сестрой младшего брата, и консультироваться, что и как, мне было просто не у кого.

1 сентября 1989 года в павлоградскую школу № 4 привел меня папа. Я испуганно крутила головой по сторонам и лупала глазами — кругом полно народу и все такие нарядные, радостные, крикливые, а я вообще не могу понять, куда меня привели и что меня ждет.

Учеба давалась мне с трудом, так как по темпераменту я ближе к флегматику, поэтому мне требовалось больше времени, чтобы усвоить материал. Усложняли учебный процесс частые пропуски школы из-за простуды.

В первом классе зимой (было начало третьей четверти) я шла в школу, поскользнулась и повредила спину. Полгода тогда провела в больнице, дома и два месяца в санатории. После этого все оставшееся время в школе и в первом институте нагло «косила» от физкультуры. Вообще, я очень часто ломала руки — чуть ли не каждую зиму ходила в гипсе. Дело в том, что на Украине климат какой-то неправильный в плане зимы. Нет такой зимы, как, например, в Беларуси, куда мы переехали в 1995 году, — выпало много снега, взялся хороший морозец, и так до весны. Там же постоянно оттепели, снега как такового вообще мало было. Что-то выпадет, растает, подморозит, снова растает. И получается каток размером с город Павлоград, где, собственно, мы и жили. Коммунальных служб там не было вообще, либо они работали только в центре. Если что-то где-то и посыпалось песочком, то только возле больницы и то явно своими силами. Поэтому представьте, как я обрадовалась, переехав в Минск, что тут, в Беларуси, не только зима нормальная, но и коммунальщики есть, которые и снег почистят, и лед отковыряют, и песочком посыпят...

Вообще, первый раз я руку сломала в шесть лет и не на льду: ехала с родителями в поезде и упала со второй полки. «Добрый» папа загнал меня на вторую полку, велел не бояться, и я поверила. Это была боковая полка — параллельно проходу. Поезд качнуло, и я спросонья оказалась на полу у ног какого-то мужика, который в это время шел по проходу со стаканами в руках. Вот такой был прикол. Поэтому, собственно говоря, у меня и почерк всегда был корявым. Но если раньше он хоть читаемый был, то теперь я временами сама его понять не могу. Хорошо, что в наш компьютерный век иметь красивый почерк уже не столь важно.

Но раньше были совершенно другие времена, особенно в школе. Помню, во втором классе (через год после моей травмы спины) мы что-то писали, учительница ходила по проходу между рядами и смотрела, кто и как работает. Уж не знаю, проверял ли кто наши тетради кроме лично нее (она же была единственной учительницей по всем предметам и классной руководительницей), может быть, какое-то ее начальство (завуч или кто-то еще), или это была ее личная инициатива, чтобы *все дети писали красиво*, и не важно, кто сколько раз руки ломал, кто левша или у кого-то что-то с мышцами, и он не может писать таким стандартно каллиграфическим почерком, как в прописях.

Вида кривой и косо́й почерк, она впадала в ярость, орала и даже била нас своей метровой деревянной линейкой. Чаще всего доставалось двум толстым мальчишкам-двоечникам, которые были тунеядцами по определению, а не потому, что часто болели и пропускали школу.

Не знаю, насколько больно им было, они ведь не «гремели костями» в отличие от меня. Я это все веду к тому, что однажды от учительницы очень сильно перепало мне. Увидев в тетради мои каракули, она разоралась и отлупила со всей дури меня своей длинной деревянной линейкой. Спина потом ощутимо болела в месте моей прошлогодней травмы.

Дома пожаловалась маме, надеясь, что она пойдет в школу и вставит училке мозги на место, но нет, та сказала: «Передай учительнице, что у тебя больная спина и тебя нельзя бить»... И ладно бы, если бы она работала и ей трудно было бы отпроситься с работы, чтобы в школу сходить, но нет, когда родился младший брат, она из декретного отпуска на работ у так и не вышла — сидела с ним, так как он все время болел.

А были и еще случаи с той же учительницей, когда она мне при всех подзатыльников надавала опять же за корявый почерк. Из одноклассников за меня никто не заступился, а к родителям жаловаться я уже не ходила: поняла, что бесполезно. Да если бы моего ребенка в школе кто-то обидел (тем более взрослый человек, учительница — более сильная по сравнению с ребенком), то я бы его засудила или сама бы пришла в школу и по клюву нащелкала. А тут полная беззащитность.

* * *

Лучше всего мне давались изложения по русскому языку. Это когда нам читали текст, мы его разбирали по абзацам, потом нам надо было его записать в тетрадь по памяти максимально приближенно к тексту. Однажды в третьем классе я такое изложение написала на пять. Это было удивительно для всех: для учительницы, которая гоняла меня и в хвост и в гриву, не видя во мне каких-либо перспектив, для класса, который видел во мне тихую троечницу, и для меня самой — наконец-то я достигла чего-то выдающегося. Когда учительница объявила, что у меня по изложению пятерка, то класс сначала потрясенно замолчал, потом зашумел, закрутил головами, один из мальчиков-отличников нашего класса сказал, что это я у него списывала, хотя мы и сидели в противоположных концах класса. Учительница решила прочесть для класса вслух мое изложение и, пока читала... нашла орфографическую ошибку, а дома, пока проверяла, не заметила, наверное, было поздно, и она была уставшей. И в журнал поставила четверку, а в тетрадке так и осталась красоваться пятерка. Обидно, конечно, но, похоже, это была моя расплата за пять минут славы.

* * *

Первые три класса школы пришлось еще на советский период. Помню сбор макулатуры. Он, правда, не был таким уж массовым, но человек пять-шесть точно что-то принесло. Учительница взвесила их макулатуру, перевязанную веревкой, ручными весами (колечко надевается на палец, а снизу крючок, на который вешается груз) и похвалила тех учеников, чей вес макулатуры был большим. Были линейки на 9 Мая возле памятника воинам Великой Отечественной войны, рассказы о войне нашей учительницы немецкого, настоящей немки, после войны вышедшей замуж за русского.

После травмы позвоночника и больницы я два месяца провела в санатории. Там мы тоже учились в школе, только в классе сидели ученики разных возрастов, и учительница давала отдельные задания разным возрастным группам. Помню, что все дети были поделены на отряды, у которых были названия и девизы. По утрам у нас была линейка, на которой каждый отряд хором прокрикивал свое название и девиз. Мой отряд назывался «Звездочка», а девиз был в стихах:

*Звездочка лучистая, мы твои лучи,
Стать людьми хорошими ты нас научи.*

На линейке также разбирались разные инциденты, произошедшие накануне.

А еще помню, как меня приняли в октябрюта. Нас, второклашек или третьеклашек, точно сейчас не вспомню, вывели на сцену местного дома культуры, выстроили в ряд. Девочки-пионерки с красными галстуками на шее подходили к каждому из нас и прикалывали к лацкану школьного фартука красную звездочку с профилем Владимира Ильича. В пионеры меня так и не приняли — просто к тому времени не стало уже той страны, где бы это могли сделать.

* * *

В старших классах — с пятого по седьмой — у нас в Павлодаре было так: если учитель заболел, а его нечем заменить, то образовывались «форточки» — если тепло, то просто бегали на улицу гулять во дворе школы. Или у нас были «спаренные уроки», когда нас подсаживали к другому учителю, который в это время вел урок у другого класса. Брали стулья в соседнем кабинете, и в итоге за каждой партой сидело по трое-четверо. Вот так и занимались. Это было тяжело и неудобно, но, с другой стороны, если народа в классе в два раза больше, то учительница будет спрашивать учеников из обоих классов, значит, за сорок пять минут урока кого-то «пронесет» (в хорошем смысле слова) — не вызовут.

Школа у меня была с физико-математическим уклоном. Поэтому первый год физики (в седьмом классе она началась, кажется) у нас закончился зачетом — нам заранее выдали список вопросов по всем темам, мы учили ответы на эти вопросы, после уроков надо было приходиться в кабинет физики и сдавать эти темы физичке. Я сдала одной из первых и на пятерку, чем очень сильно всех удивила, так как ни отличницей, ни хорошисткой меня нельзя было назвать: четверок и трояков у меня было где-то в соотношении 50/50. Пятерки бывали, но не так часто, как хотелось бы, — я часто болела, особого интереса к учебе у меня не было, поэтому наверстывала пропущенный материал без особого энтузиазма.

Физичка наша была просто маньячкой от педагогики — из каждой новой темы в учебнике мы должны были выписывать на картонные карточки формулы. На каждом уроке она проводила опрос этих формул: подходит к каждому ряду и задает несколько вопросов наподобие: «Покажите формулу того-то», и весь ряд поднимал картонки с нужной формулой. Определения и какие-то физические законы нужно было зубрить наизусть, как сформулировано в книжке, своими словами пересказывать или хоть немного отступать от «канонического» текста было нельзя.

По математике было много контрольных работ, формулы и правила надо было выписывать в отдельную тетрадку и зазубривать. Все это вгоняло в полную апатию и неприятие всего учебного процесса в целом, так как ясно же, как божий день, что в жизни это все навряд ли пригодится.

* * *

В восьмой класс я уже пошла в Минске (с сентября 1995-го) в школу № 140, там я по-настоящему почувствовала себя счастливым человеком, потому что там педагогический процесс был сравнительно более слабый, и никто нас так не прессовал, как это было на Украине.

Что самое интересное, в школе на Украине у нас в каждом классе было пять букв, например, пятый класс «А», «Б», «В», «Г» и «Д». В «А» классе учились самые глупые дети, а в «Д» — самые умные. Я училась в «Д»-классе и была средней ученицей. Когда я переехала в Минск, то в школе при определении меня в класс с какой-то определенной буквой учителя сильно не парились над тем, «Д»-класс — это «умные» или «дураки»? Поэтому определили меня в «Г»-класс — к «дуракам» (в Минске в «А»-классе, наоборот, умные учились). И... я среди них вдруг оказалась самой умной.

Ну, конечно, там же нас муштровали, как сидоровых коз, а тут все на расслабоне было. Весь класс бегал ко мне списывать, консультироваться и пр. В первое время у меня в четверти было две-четыре тройки (на Украине было пять-семь), в основном по истории Беларуси, которую тут люди три года уже учили, а я пришла в восьмой. А в 9-м по этой истории уже надо экзамен сдавать, как и по белорусскому языку. А мне с украинского перейти на белорусский было довольно сложно. А еще я химию не понимала — могла только списывать у кого-то. Потом я расслабилась: если не муштруют, то какой смысл особо сильно напрягаться? И скатилась к тому же соотношению: 50/50 между тройками и четверками.

* * *

Если брать что-то смешное и более позитивное из школьных воспоминаний, то это было, наверное, уже тогда, когда я в Минск переехала. Классной руководительницей у нас была учительница математики — симпатичная дамочка в очочках, со светлыми кудрявыми волосами до плеч. Как-то во время перемен парень с девушкой из нашего класса — Катя и Ваня — решили над ней приколоться: девушка накрасила губы помадой и обцеловала парню все лицо, и он в таком виде побежал в класс, где классная на переменных обычно консультировала учеников, чьи-то тетради проверяла и пр.

Прибегает он к ней и спрашивает что-то про дополнительные занятия. Она на него даже не взглянула (хотя весь прикол был рассчитан именно на это: она посмотрит на обцелованное Ванино лицо, и было бы очень интересно, как отреагирует). А она сказала: «Да, хорошо, приходите». Ваня вернулся расстроенный.

Были приколы, связанные со мной. Как-то на физике отвечаю возле доски. Не помню, о чем там шла речь, но я упомянула такой нагревательный прибор, как «горелка». Не знаю, может, в Беларуси его как-то по-другому называют, «спиртовка» например. Но слово «горелка» вызвало у класса очень бурную реакцию. Физичка потом толкнула умную речь о том, что если живешь в другой местности, то некоторые вещи называются немного по-другому. Но народ в классе еще долго надо мной прикалывался: «Ну, как там твоя горелка?» или «Ну что? Горелку принесла?»

* * *

О подругах среди одноклассниц.

Когда я пришла в восьмой класс, то начала дружить с девочкой Таней. Тогда она была нормальной милой девочкой, правда, училась не ахти — у меня все время списывала, но общаться с ней было приятно. Она была из деревни Кунцевщина (пригород Минска), а я жила и живу в Минске.

Летом после восьмого класса она связалась с какой-то компанией парней и девушек, начала тусоваться с ними по дискотекам, пить, курить. Я с ней не тусовалась, потому что меня родители просто из дому не выпускали: только в школу и в магазин. Поэтому она пошла по кривой дорожке, а я нет. И вообще, позже она меня так достала, что я прекратила с ней общаться. Ну а что поделаешь, если все разговоры с ней сводились к тому, с кем она накануне тусовалась и выпивала, как ее деревенские друзья несли ее домой с дискотеки вдрабадан пьяную и тому подобное. Мне-то это не интересно. Книжек она не читала (зачем что-то читать, если друзья зовут бухать), уроки вообще учить перестала (раньше хоть что-то сама делала), просто приходила в школу, внаглую вырывала у меня из рук тетрадь и садилась списывать домашку.

Или еще — у каждого ученика должен быть стандартный набор канцтоваров: пара ручек, простые карандаши, линейка, стерка и точилка для карандашей. У меня все это было. У Таньки — только ручка. Когда мы на уроке что-то чертили, то делали это все одновременно. Танька же просто вырывала у меня из рук карандаш с линейкой, рисовала все, что нужно, у себя в тетради, потом возвращала мне — успевай потом чертить как хочешь. Танька была из многодетной семьи, и иногда я слышала от нее рассказы про какую-то гуманитарную помощь родителям со стороны государства. Поэтому говорю ей как-то: «Таня, если у тебя нет денег на карандаши, линейку и стерку, — давай я тебе куплю, я же из-за тебя ничего не успеваю». А она с ухмылкой ответила: «Хочешь — покупай, но я не буду носить их в школу. Если купишь — тогда сама их и носи для меня!»

Кому все это приятно будет? Поэтому я пересела за другую парту, к той Тане, с которой я и теперь дружу по истечении многих лет после окончания школы. А та Танька ходила ко мне извиняться, звала меня обратно сесть с ней, но я не вернулась.

В девятом классе с этой моей бывшей подругой Таней произошла еще одна история, которая началась смешно, а закончилась грустно. В восьмом и девятом классах у нас историю вел молодой мужчина лет тридцати. Не знаю, был ли он женат, но был он каким-то озабоченным по части девочек. Если отвечаешь у доски, то он просит, чтобы становились возле его стола.

И если девочка отвечает хорошо, то он одобрительно похлопывает ее рукой по пояснице и приговаривает: «Очень хорошо, Света (Таня, Оля и пр.), ты все очень правильно говоришь». Если же

халтуришь, то похлопывание все равно будет, только слова другие: «Надо больше заниматься!!! История — это же так интересно!» — и в том же духе.

История — предмет устный, поэтому Таньке я ничем не могла помочь — ей надо было учить самой. А тут ее в очередной раз родители прессанули из-за оценок, и села она вечером зубрить историю, чтобы получить в четверти четверку. За ней приехали друзья на машине, но она не пошла с ними тусоваться — о, как! Наступает урок истории. Танька выходит к доске и отвечает на четверку. Учитель ее похвалил, но за четверть поставил ей трояк, потому что троек же у нее больше было. Танька пришла в ярость. Схватила учебник истории, с размаху треснула им по учительскому столу и закричала: «Да я из-за вашей вонючей истории с пацанами гулять не пошла!» И дальше в том же духе. Учителя эта буря эмоций сильно позабавила: «Так в чем проблема? Выучи историю и гуляй!» Он взял Танькину книжку, поднес к носу, понюхал и говорил: «И ничем эта история не воняет».

Потом как-то Танька не пришла в школу, и нашего историка по совпадению тоже не оказалось. Мы просто тихо сидели в классе и занимались своими делами. Только Танька мне накануне рассказала, что она со своими друзьями гуляла поздно вечером и они не то случайно, не то умышленно встретили этого историка, и пацаны ему сильно наkostenяли. Не знаю, видел ли он Таньку среди этих пацанов, а если видел, то узнал ли...

В общем, Танька не появилась в школе, когда должен был быть урок истории, а меня попросила держать ухо востро и разведать для нее обстановку — что там и как.

Наши девчонки где-то подслушали, что историк пришел в школу с «фонарем» под глазом и наврал директорисе, что его сбила машина и что-то еще в этом духе. Его из школы уволили. Кто-то потом рассказывал, что его видели в магазине, где он грузчиком работал. В общем, сломали человеку жизнь. Почему его уволили, я так и не поняла...

Для меня же школа была очень тяжелым испытанием, поэтому тот день, когда я ее закончила, был одним из самых счастливых дней в жизни!

Дарья Семенюк. Яма с лестницей

Сейчас, оглядываясь на свою жизнь, я вижу на месте временного отрезка — 1995—2005 годов — под названием «школа» черную глубокую яму. Хотя предпочитаю оценивать жизненные ситуации с точки зрения плюсов и минусов, но школа под это правило никак не хочет подпадать.

У нас в красноярской школе № 21 не было школьного братства: дружили по двое, по трое, не более того. Не помню совместных походов классом куда-либо, кроме как убирать мусор в парке. Не помню ярких уроков. Зато хорошо помню различные оттенки разочарования, ощущение потерянности, бессмысленности нахождения в этом учреждении. В памяти всплывают тщетные попытки учителей навести дисциплину. В это время слово «крик» для меня стало вполне осязаемым образом, спутником бесконечных школьных будней.

Позже я узнаю, что такое явление называется двоимирием: в школе я была спокойной, послушной девочкой, почти отличницей, а в душе ненавидела всю школьную систему. Понимала, что бунт не приведет ни к чему хорошему: бежать с тонущего корабля было некуда. В одной из близлежащих школ учились дети богатых родителей, другая была для моих родителей пугающе экспериментальной. До сих пор со страхом вспоминаю это ощущение школьных лет: просыпаться утром с острым нежеланием жить.

Опишу несколько особенно ярко запомнившихся картинок школьного периода.

Картина первая

1995 год. Первый класс.

На линейке мне торжественно вручили букварь и книжку с заданиями. Дома букварь был прочитан за 15 минут. Я была в недоумении: а чему, собственно, он может научить? Бегло читать я научилась по большим интересным книгам еще до школы. Книжка с заданиями в порыве счастья была исписана за пару часов: вот она была совершенно новым для меня явлением. В течение учебного года о ней никто не вспоминал, а в апреле учительница попросила эти книжки принести в школу. Чистыми. Свою, исписанную от и до, я оставила дома. Осталось загадкой, зачем же их выдавали.

Картина вторая

Учительница физкультуры, безусловно, считала, что ее предмет — самый главный. По ее мнению, без тренировки пресса мы не сможем родить, а без отжиманий никогда не накормим ребенка грудью. Она всегда говорила, что ее воротит от курящих и пьющих пиво девушек. Ко мне она обращалась исключительно по фамилии, несмотря на то что я исправно посещала все занятия и, как мне казалось, заслужила хоть однократное обращение по имени. На своих уроках она включала видеокассету с упражнениями, мы повторяли их, а она смотрела на нас, сидя на стуле. Однажды в очереди в кинотеатре я услышала знакомый голос, обернулась и увидела за столиком кафе нашу учительницу физкультуры с бордовым от выпитого алкоголя лицом, сидящую на коленях у мужчины сомнительного вида. Мне стало очень стыдно и захотелось провалиться сквозь землю. Наверное, именно в этот момент во мне родилась острая неприязнь к людям, чьи слова сильно расходятся с поступками.

Картина третья

Дом. Иду к холодильнику. Меня окликает папа, просит подойти к телевизору. Там в новостях показывают мой «второй дом». В сюжете говорят о том, что гражданский муж директора школы, по совместительству учитель физкультуры, приторговывал героином, который расфасовывал в нашем кабинете химии. На заработанные таким способом деньги был построен кирпичный дом рядом со школой и гаражи, где стояло несколько иномарок. Это известие, конечно, сильно удивило меня. Но не шокировало: я ожидала чего-то подобного. Вот такой оказалась наша школа с «эстетическим» уклоном. Нельзя сказать, что наш район был криминализированным, но к виду шприцов с кровью под окнами студенческого общежития я привыкла.

На следующий день директор появилась в школе с сине-зеленым лицом. Ее отстранили от должности. Пришедшая ей на смену директор буквально через пару месяцев стала говорить, что наша школа сама лучшая в районе, стала победителем в конкурсе «Школа России» и т. д. Учителя ей поддакивали. Конечно, «ложь во спасение» иногда является верной тактикой, но тут уж явно был перебор. За кого они принимали учеников? Совсем за безмозглых существ? Причем в это время умер от передозировки наркотиков один из бывших учеников школы (ушел после девятого класса, а через год умер).

Однажды директор собрала старшеклассников на общее собрание-прессинг. Накануне вечером во время дискотеки кто-то засунул на четвертом этаже бутылку в унитаз, и к утру затопило всю школу. Директор толкала нравственную речь, а я не слушала ее и думала о чем-то своем. Вдруг она сказала: «Я по глазам вижу, кто это сделал». И посмотрела на меня. К слову сказать, несколько лет назад директор-2 трагически погибла: не знаю, умышленно или в состоянии аффекта, но бросилась под поезд.

Однажды после очередной пафосной речи новоиспеченного директора я решила, что вытащить себя из этой ямы под названием «школа» смогу только сама. Я начала строить «лестницу»: выходила за пределы школы, больше общалась с людьми, выражала свои мысли на бумаге, начала увлекаться рок-музыкой. В итоге окончила школу с серебряной медалью. Сегодня я вполне состоявшийся человек: получила высшее, к слову сказать, педагогическое образование, работаю заведующей отделом одной из библиотек города. Когда меня спрашивают, почему не работаю по специальности, пытаюсь одной фразой описать то, о чем здесь рассказала. Получается примерно так: «Да я школу не люблю. Саму атмосферу». Тогда собеседники считают своим долгом спросить с укором: «А зачем тогда поступала в педагогический?» Отвечу сразу: обучение в педагогическом вузе для меня из разряда «пути Господни неисповедимы», и рассказывать об этом можно долго. Если бы мне в классе восьмом-девятом сказали, что я буду учиться на педагога, я бы назвала этого человека сумасшедшим. Но я ни разу не пожалела о своем образовании, оно помогает мне в профессиональной жизни каждую минуту. И именно в вузе я встретила настоящих вдохновляющих Учителей, тех, кем восхищаюсь и кого всем сердцем люблю.

А по роду своей деятельности я очень часто общаюсь со школьниками и студентами, учителями, веду мероприятия, провожу мастер-классы, читаю лекции, занимаюсь также репетиторством. Вижу разных учителей. Встречаются и типажи, описанные здесь. Стараюсь жалеть их, ведь это несчастные в душе люди, возможно, не нашедшие себя в жизни и теперь мстящие за это окружающим. Я стала сильнее ценить и уважать гармоничных людей, несущих свет и искренне любящих свое дело. И счастлива, что такие люди есть.

Иногда смотрю на встречи выпускников поколения моих родителей, и чуть моложе их, и чуть постарше. Вижу, как искренне люди радуются возможности встретиться, готовятся, ездят к учителям. Завидую им белой завистью, и такая тоска сжимает в этот момент сердце от мысли, что для нашего поколения это скорее исключение, нежели правило.

Андрей Славин. Школа закончилась, да и ладно!

Я никогда не ностальгировал по школе, ибо благодаря ей твердо усвоил, что процесс обучения не может быть интересным, как и прочая «обязаловка» в жизни. Поэтому самая любимая из школьных фотографий — выпускная на ступенях нашей ногинской школы № 6. Настолько твердо все отложилось, что, много лет спустя, придя работать в госструктуру, ответственную за образование, я искренне удивлялся, что, оказывается, есть школы, где учиться интересно. И где учителя с удовольствием работают, а не несут тяжкий крест.

1 сентября 1970 года я пошел в первый класс в польском костюме в тонкую полоску, добытом родителями в магазине «для своих». На сером (буквально) фоне одноклассников в стандартной школьной униформе это явно был «неформат». Впрочем, про дресс-код тогда и я сам, да и мало кто знал, поэтому стильный пиджак с брюками воспринимался мной просто как элемент образовательного процесса. Зато моя первая учительница отнеслась к этому более чем серьезно. Оценив ситуацию, она по-своему создала гармонию в классе, поместив меня на первую парту среднего ряда. А для лучшего визуального эффекта определила в пару прекрасную светловолосую девочку с огромными серыми глазами. Такие бывают только в первом классе. Создав такую «красоту», педагогу можно было не волноваться за нужный эффект для входящего в класс школьного и не только начальства.

Благодаря костюму я неожиданно стал «голосом» класса и даже школы и декламировал в нем стихи на торжественных мероприятиях. Изюм всей череды запомнился День милиции, когда мне, вместе

с другими школьниками, подарили почему-то голубого пластмассового ежика в милицейской фуражке. Такого необычного зверя я ни до, ни после не встречал ни разу. Тем более в фуражке.

В конце концов я настолько проникся важностью миссии чтеца, что сам написал стихи на тему парада на Красной площади и предложил учителям в качестве следующего выступления перед съездом районных партработников. Однако не нашел среди них понимания и даже вскоре был вообще отлучен от сцены. А костюм продержался на мне полтора учебных года, после чего был отдан соседу-первокласснику на вырост.

* * *

Я был настолько поражен соседкой по парте, что начал старательно учиться, чтобы ей понравиться. Было к чему стремиться: пока мы рисовали кружочки, палочки, яблочки и вишенки, ее тетрадь была недостижимым образцом. Зато когда начались диктанты, пришли в действие «законы блондинки», и ее прекрасная голова во время урока «прописалась» в моей тетради. Все автоматом списывалось, а чувства наши рушились на глазах. Да простят меня читающие, но после бесконечных замечаний классной и внутренних терзаний я решился на эксперимент и в очередном диктанте сознательно сделал кучу ошибок. Даже по прошествии многих лет помнится слово «дойж» («дождь») и вариация на тему «побледнела». Первое было показательно осмеяно учительницей перед классом, про второе она рассказала только вызванным родителям, которые бледнели и краснели, слушая педагога.

* * *

Традиционное домашнее задание осенью: сделать пейзаж из природных материалов. Мне это дело нравилось: набрать в лесу веточек, листьев, мха, желудей, рябины и собирать из этого объемные картины на картоне. Но та красота была застывшей, а хотелось движения, драйва. Выход в итоге нашлся: в коробку из-под египетских духов был помещен найденный под старым пнем сонный ужик. Коробку я обклеил мхом, листьями и травой, но так, чтобы она могла открываться, и замаскировал под природную пещерку. За «оживший пейзаж» я заслуженно рассчитывал на бонусы от ботанички, поэтому в школу «домашку» нес аккуратно в руках, а в классе положил на подоконник на солнышко. Уж выполз раньше задуманного — на уроке математики, которую вела директор школы. Змейка успела прослушать только про числитель обыкновенной дроби, подняла голову, и тут ее заметила директор... Все закончилось, в общем, удачно, но змей с тех пор я не переносу.

* * *

Классе в седьмом до нас дошла информация, что если человека усыпить, надавив на определенные точки на теле, он в «отключке» досконально запоминает все услышанное. Дело казалось интересным, но рискованным. Первым решился человек, которого за не выученный наизусть кусок из «Дубровского» ждала годовая «пара» и вместо заслуженных каникул — жесткие домашние санкции. На перемене перед последней литературой группа товарищей прислонила Костю к двери класса и нажала в нужном месте туловища. И он действительно «отключился». Тело окружили и бережно поддерживали в вертикальном положении, дабы не вызвать подозрений у резвившихся в коридоре школьников. Времени на все про все было не больше десяти минут. Текст, «чтобы с выражением», заставили читать отличницу Киру. Увы, мы не успели, хотя держались до последнего — разошлись, когда грозная фигура учителя литературы была в трех метрах. К сожалению, никто из нас не запомнил, как выводить из транса. В итоге тело аккуратно сползло прямо к ногам заслуженного педагога СССР Марии Никаноровны Спицыной, а непутевая голова прилегла на остановившиеся учительские туфли. И тут произошло невероятное: от грозного марьиного рыка: «Это что такое?!» — Костя очнулся и, глядя на нее снизу, уверенно произнес: «Спокойно, Маша, я — Дубровский!»

* * *

Став пионером, я узнал, что нашей школьной пионервожатой почти пятьдесят. Несмотря на это, Елена Ефремовна профессионально отдавала пионерский салют и ловко маршрутировала на конкурсе «строю и песни». Поначалу в силу возраста я воспринимал все как данность и не удивлялся даме зрелых лет, носившейся по школе в пионерском галстуке и в пилотке. Немного удивляло поведение родителей на школьных праздниках, которые хихикали, а некоторые из них откровенно ржали, наблюдая за церемониями с участием нашего пионерского руководителя.

Она со всеми была на «ты». От этого руководство не только уважало и побаивалось ее, но иногда просто не знало, как себя вести. За какой-то надобностью Елена Ефремовна взяла меня в городской пионерский штаб. Уверенно войдя в кабинет начальника, она увидела на стене в одном ряду с обязательными портретами ильичей лирический пейзаж на деревенскую тему. «Почему у тебя развешена аполитичная чушь? Снять!» — грозно изрекла Елена. И несмотря на попытки хозяина кабинета объяснить, что это награда от подшефного совхоза за помощь в борьбе за урожай, пейзаж был снят и отправлен к штабному завхозу до лучших времен. И они пришли очень скоро: через месяц я с удивлением увидел пейзаж в школьной пионерской комнате. На мой немой вопрос пионервожатая ответила: «Ты что, не понял: пионерия должна быть гибкой!»

* * *

Лучшим пионерам по жребию раздали письма от сверстников из стран соцлагеря. Мне досталось письмо от девочки Елены из югославского города Нови-Сад. В нем, как полагается, была красивая открытка, краткое описание ее жизненного пути и приглашение дружить. Письмо было написано на русском языке с милыми грамматическими ошибками. Ответ я писал, наверное, недели две, стараясь, чтобы текст был содержательным и политически выдержанным, но при этом простым и понятным школьнице не из СССР. Каждый вариант проверялся на родителях. В итоге, по словам мамы, получился конспект статьи на тему нерушимой русско-югославской школьной дружбы.

Я отправил письмо и стал ждать. Месяца через три прямо с урока меня вызвали в кабинет директора. Когда я вошел, увидел следующую картину: на директорском столе лежала посылка, явно не нашенская, и на нее внимательно смотрело четыре пары глаз во главе с директорскими. Далее между мной и директором состоялся следующий диалог. «Видишь?!» — спросил директор. «Да, вижу посылку», — ответил я. «Тебе?!» — то ли спросил, то ли подтвердил он. «Нет?!» — на всякий случай ответил я. «Не ври?!» — в той же тональности сообщил директор. «Не вру?!» — поддержал его я. «Вскрывать?!» — он. «Угу», — уже безо всяких эмоций сказал я, так как все понял. В посылке оказалось банок 5 замечательных югославских консервов, несколько пачек печенья и вафель, пачка какой-то крупы, конфеты, сухофрукты, пачка жвачки, что-то еще и ручной вязки шерстяной шарф и носки. Сверху лежала открытка с трогательной надписью и тремя восклицательными знаками: «Андрэй, его тебе!!!» Добрая девочка Елена по-своему поняла искреннее письмо советского пионера, но почему-то отправила ответ на адрес школы. «Ну как до этого можно было додуматься?! Тебя что, здесь не кормят?! Надо срочно сообщить родителям!» — хором вскричали учителя, когда в коробке ничего не осталось. Я молчал. Тогда директор спросил: «И что со всем этим делать?» — «Отдать в школьную столовую», — уверенно ответил я. «Верное решение, только заведи письмо», — сказал директор. И, подумав, добавил: «...И шарф с носками». Дома я нашел самую красивую открытку, написал большими печатными буквами: «Спасибо, Элэна», — и отправил по уже знакомому адресу.

Первая любовь

Ирина Дементьева. Любовь с улицы Валентины Терешковой

Все мы переехали в новостройки, которые сегодня презрительно зовут «хрущобами», из старых развалюх и бараков. Под нашими окнами грохотал трамвай — и это никого не смущало, потому что казалось отличительным признаком городской цивилизации, а за трамвайной линией были гаражи и буйно цветущие по весне сады... Мы были детьми шестидесятых, жили в городе Горьком (хорошо, что ему вернули историческое название Нижний Новгород!) и были счастливы.

Здесь, в окружении кирпичных пятиэтажек, построили новую школу. Сначала наша улица называлась микрорайоном под каким-то номером, потом Зональной. А потом в космос полетела первая женщина-космонавт, и наша улица стала носить имя Валентины Терешковой. А детский клуб «по месту жительства» и магазин спорткультуртоваров на первом этаже нашего дома получили название по ее радиопозывному — «Чайка». Надо ли говорить, что пионерской дружине школы № 11 тоже было присвоено имя Терешковой?..

Все малолетнее население нашего двора попало в один первый класс. Школа оказалась совершенно замечательным новым миром. Четыре этажа, белый кирпич стен (в отличие от строгого красного кирпича жилых домов), громадные окна, широкие коридоры — удивительный и неведомый мне до сих пор простор помещений, удивительные люди... Там даже завуч и директор носили необычные и странные имена — Диана Ивановна и Глафира Степановна (Береснева, почетный гражданин нашего города). Правда, первую нашу учительницу звали Анной Павловной (Кабанова), и это, несомненно, приближало ее к реальной жизни, но зато потом литературу у нас преподавала блестящая и ироничная Фелицата Павловна (Красильникова), у которой на все случаи жизни находилась цитата из классиков, а библиотекарем была Этта Михайловна (Афраймович)...

И еще в этом мире были красивые мальчики и девочки... Себя к таковым отнести не могу — я была толстушкой, к тому же пошла в первый класс в смешных круглых очках с заклеенным стеклом (ранняя любовь к чтению вышла мне боком) и с мышинными хвостиками вместо косичек — какая уж тут красота! Вот у других девочек были пышные косы и хорошенькие кудряшки, большие глаза и длинные ресницы...

Среди красивых мальчиков класса был Мишка Петров. Боюсь, его красоту никто, кроме меня, тогда не разглядел — при той скорости, с какой он двигался, смеялся, гримасничал, это было затруднительно... Были кроме него и другие шалуны в классе, но не такие веселые и дружелюбные. А с ним было как-то легко. Несмотря на то что он меня постоянно задирает — щипал исподтишка, толкал, дергал за косички, обзывал «очкариком» или «Тумба-Юхансоном» (это какой-то хоккеист, но ко мне относилась только первая часть его имени — тумба)... А еще Мишка очень много знал о животных и растениях, дома у него обитала всякая живность, он лучше нас всех умел различать деревья и всякие цветочки-травки — кажется, его отец был специалистом в этой области. И как же интересно было с этим мальчишкой разговаривать (когда он не кривлялся, конечно)! Я любила его тихо и тайно, как героиня подслушанной на взрослых семейных праздниках песенки Новеллы Матвеевой («Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою...»).

Главным местом нашего общения был двор. Этот маленький зеленый оазис мы сделали своими руками. Конечно, штaketник вокруг газонов, лавочки, лесенки и качели для малышей построил ЖЭК, но все жители и мы, дети, постоянно выходили на субботники — сажали деревья, кусты, цветы, убирали мусор и воевали с теми, кто мусорит.

Когда нас принимали в пионеры, то принимали не всех сразу, а порциями. Я в первый набор не попала из-за плохого поведения (не выполнила общественного поручения по шефству над первоклашками: почему-то их свободное время для занятий с «шефом» постоянно совпадало с моими уроками музыки), а Мишка — попал! Первый прием был самым торжественным — это было 22 апреля, в день рождения Ленина и день всесоюзного субботника. И вот после уроков Мишка вышел во двор на субботник в спортивном трико с отвисшими коленками, но при красном галстуке. С каким рвением он принялся за работу! Вынес из дома ведро и лопату, копал ямки для саженцев, что-то поддерживал, где-то поливал, его красный галстук мелькал то там, то тут... Бурный эмоциональный подъем причастности к какому-то великому общему делу не давал ему сидеть на месте...

А я (без красного галстука) топталась рядом, все делала невпопад и чувствовала себя чужой (на этом празднике жизни) и никому не нужной. Ситуация грозила перерасти в депрессию с тайными слезами... И мой товарищ, хоть и хлопал меня по плечу и пытался утешить — ну подумаешь, примут через неделю! — все же своей радости скрыть не мог, и от этого мне почему-то было грустно... В тот день я поняла, что даже близкие люди не обязаны надевать траур, если у тебя неприятности, а у них — радость. И это именно я должна засунуть свое недовольство в карман и не портить другим праздник...

К тому же моя последующая общественно-полезная деятельность все-таки принесла свои плоды — в пионеры меня приняли и даже выбрали звеньевой, а потом и председателем совета отряда...

Но главное тогда для меня было находиться там, где Мишка... Играть в его команде (зимой — в хоккей без коньков, а летом — в другие шумные игры: «вышибалы», «штандр-стоп», «калим-бамба»...), вместе петь всякие пионерские песни (у Мишки был хороший голос, но музыкой он не занимался), гулять в парке (в парк имени Ленинского комсомола мы ходили на маевки, как первые нижегородские марксисты, пекли картошку в костре, добывали березовый сок и первоцветы). А еще мы ходили на лыжах на Щелоковский хутор (это лесной массив в черте города, недалеко от нашей школы), катались с гор и бегали среди деревьев по многокилометровой лыжне... Там же мы потом играли в «Зарницу», соревновались в стрельбе и ориентировании... Спортивные успехи мне не очень давались, но я тянулась за Мишкой... А ему было важно доказать, что он крутой: «Вот смотри, председатель, какой у тебя звеньевой!» — говорил он, показывая мне очередную рукодельную ловушку или кормушку для птиц, скворечник или собственноручно сплетенную рыболовную снасть... Моя мама как-то сфотографировала нас: девочку с нотной папкой и мальчика с рогаткой — он учил меня ею пользоваться... Фотография, к сожалению, получилась размытой, нечеткой и в конце концов затерялась.

А потом мы повзрослели. Наши дороги разошлись — я переехала с улицы Терешковой, мы стали учиться в разных школах, поступили на разные факультеты университета, изредка сталкивались на общих студенческих мероприятиях, до меня иногда доходили известия о его житье-бытье... И я почти забыла свою детскую любовь.

Только этот двор последнее время все чаще мне снится. Во сне я возвращаюсь в наш оазис тепла, дружбы и любви, бегаю по траве, летаю над домами и клумбами, играю в мяч с моими одноклассниками, пою пионерские песни... И я счастлива, что рядом мой друг Мишка, а дома, на пятом этаже, вон за теми окнами меня ждут папа, мама, бабушка и полосатый кот Малыш...

Но вернуться в страну детства можно только во сне. А наяву... Школа по-прежнему белая и красивая, а улица Терешковой по-прежнему зеленая, посаженные нами акации и прочая растительность заполнили все свободное пространство. Машин стало больше: они не умещаются на пяточке перед домом. И еще — вокруг ни одного знакомого лица...

Светлана Дурягина. Две потери

В конце шестидесятых годов, когда мне исполнилось одиннадцать лет, родители, даже не поинтересовавшись, хочу ли я этого, увезли меня из маленького южного городка в небольшое вологодское село — родину отца.

Здесь все было другое: чужое и даже враждебное. Среди сверстниц, сплошь белокожих, белобрых и голубоглазых, моя смуглая мордашка с карими глазами, видимо, слишком резко выделялась, привлекая чрезмерное внимание и одноклассников, и мальчишек постарше. Это очень раздражало одноклассниц, а также мой акающий говор, банты в косичках, белые гольфы и туфельки, потому, видимо, что они, как было принято в деревне, даже летом ходили в платках и в сапогах. Их ужасно сместило то, что ко всем старшим, и даже к своим родителям, я обращалась на «вы», читала толстые книги и боялась коров.

Говорить мне с девочками было решительно не о чем, поэтому очень скоро самыми близкими друзьями для меня стали живущие по соседству одноклассники Вовка и Ленчик. Несмотря на банты и белые гольфы, я быстро выучилась у них лазить по деревьям, свистеть в два пальца и гонять на велосипеде.

Вовкины родители были учителями, кроме него в семье росли еще три девочки — старшие сестры. Вероятно, поэтому он никогда не ругался матом, как другие мальчишки, не курил и носил костюм. Рослый, сероглазый, он наверняка нравился девочкам, но я не помню, чтобы Вовка за кем-нибудь ухаживал.

Ленчик был девятым ребенком из двенадцати детей колхозного бригадира. Маленький, слегка косоглазый, не унывающий ни при каких обстоятельствах, он знал уйму смешных и страшных историй, ловил руками рыбу в реке, словно кошка, мог залезть куда угодно.

Эти двое частенько ходили с синяками, так как им приходилось вести рукопашные бои со старшими ребятами, которые весьма своеобразно оказывали мне знаки внимания: дергали за косички, выкручивали руки или устраивали в моем портфеле террариум, поселяя в нем лягушек и ящериц. Вовкина мама в разговорах с моей сокрушалась, что ее Володенька часто падает лицом на землю (так мой приятель объяснял ей происхождение фонарей то под левым, то под правым глазом). Родителей Ленчика ссадины и синяки на лице сына не волновали.

До четырнадцати лет мы были неразлучны: вместе ходили в школу и из нее, зимой катались на лыжах, летом качались на качелях, играли в казаков-разбойников, вечерами пекли на костре картошку и пели военные песни, учились ездить на Вовкином мопеде, бегали в кино, а в дождливую погоду я читала мальчишкам вслух свои любимые книги (у меня одной была отдельная комната с закрывающейся дверью). В этой самой комнате однажды, дурачась, Вовка ткнул меня своим выросшим до размеров пудовой гири кулачищем в живот и тут же, увидев, как я с выступившими на глазах слезами хватаю ртом воздух, рухнул передо мной на колени и, целуя мои прижатые к солнечному сплетению руки, испуганно стал просить: «Ну, тресни мне по глупой башке, вот увидишь — тебе полегчает!»

После этого случая дружеское рукоприкладство (например, щелбаны в мой лоб при проигрыше в шашки или шахматы) со стороны приятелей совершенно прекратились. Но разве я смогу забыть, как мои закадычные друзья, взяв меня в плен во время игры в казаков-разбойников, однажды устроили мне допрос с пыткой: Вовка пару раз хлестнул по моим голым ногам крапивой и, увидев, что я, сдержавшись изо всех сил, не заревела, окончательно вошел в роль закоренелого бандита и вдобавок

укусил меня за палец. Тут уж слезы брызнули во все стороны, но опять не у меня, а у Ленчика, который, поразившись жестокости друга, кинулся на мою защиту. Они, пыхтя, катались по траве, а я, подвывая от боли в пальце, пыталась растащить их. Потом мы все трое стояли по колено в речке, остужая мои ошпаренные крапивой ноги, и придумывали, как объяснить Вовкиной маме, почему у его пиджака оторвался рукав.

Когда нам исполнилось по четырнадцать лет, у меня появился кавалер — наш участковый, парень лет двадцати. В клубе он настойчиво приглашал меня на танец, угощал конфетами, говорил какие-то глупости, а мои верные друзья мрачно смотрели на нас из какого-нибудь угла. Сами они никогда не приглашали меня танцевать и вообще не танцевали. Видимо, в этом возрасте танцы для них были глупейшим занятием, а я обожала подвигаться под музыку. Когда мой кавалер после танцев провожал меня домой, два моих приятеля на приличном расстоянии следовали за нами, как бы я ни ругалась с ними, требуя, чтобы они прекратили сопровождать меня повсюду. И всякий раз, как мой ухажер робко обнимал меня за плечи, позади раздавалось презрительное посвистыванье и невнятные угрозы. Вскоре кавалера моего куда-то откомандировали, Ленчик уехал учиться в ПТУ, а мы с Вовкой пошли в среднюю школу, которая находилась в восьми километрах от нашего села, в другом поселке. И тут я влюбилась.

Два раза в неделю (в понедельник и в субботу) мы ехали на попутках, а чаще топали пешком в поселок, который раскинулся по берегам довольно глубокой реки; через нее приходилось переправляться на пароме, чтобы попасть в школу. Народу на берегу всегда было много, особенно «скубентов», как называл школьников вечно пьяный паромщик. Пока ждали переправы, общались на всю катушку. Обязательно находился у кого-нибудь транзистор, настроенный на «Маяк», а то и гармошка или гитара. Тогда устраивались танцы, и всем было весело без вина.

Новая школа мне очень понравилась, хотя жизнь мою здесь с самого начала легкой назвать было нельзя. Учителя наши оказались замечательными людьми, все, кроме одного. Молодой физик Алексей Сергеевич произвел на женскую половину нашего с Вовкой нового класса неотразимое впечатление: атлетическая фигура, безукоризненный костюм, модный галстук, красивое кукольное лицо. Он был похож на артиста с обложки очень популярного среди старшеклассниц журнала «Советский экран». Девчонки млели, глядя, как Алексей Сергеевич выписывает на доске формулы, и зубрили физику больше, чем какой-либо другой предмет. А мне не нравился его слащавый голос, его манера поправлять на моей груди комсомольский значок и обнимать за плечи, когда он склонялся над моей тетрадью, чтобы проверить, как я решаю задачи. Всякий раз, как Алексей Сергеевич это делал, я слышала, что сидящий позади меня Вовка начинал тяжело дышать и стучать под партой ботинками. В классном журнале по физике у Вовки «тройки» часто перемежались с «двойками», у меня практически в каждой клеточке стояли «пятерки». В конце октября идиллия закончилась.

Однажды во время урока Алексей Сергеевич, объясняя новый материал, увидел в приоткрытую дверь класса, как из лаборантской удирают запертые там им в наказание шестиклассники (он был у них классным руководителем). Прервав объяснение, Алексей Сергеевич приказал моим одноклассникам догнать беглецов, наподдавать им хорошенько и запереть их снова. Ну разве могла я, недавно прочитавшая «Педагогическую поэму» Макаренко, усидеть спокойно после всего этого?! Конечно нет. Я вскочила и, глядя физику прямо в его кукольные глаза, решительно заявила:

— Алексей Сергеевич, это непедагогично!

Рванувшиеся было к дверям парни замерли на месте. Лицо учителя стало свекольным.

— Что-о? — полусшепотом переспросил он.

Я повторила свои слова. Тогда Алексей Сергеич вытянул по направлению к двери длинный палец холеной руки и завизжал по-пороссячи:

— Во-он!

Я гордо удалилась, а со мной и мальчишки, отказавшиеся выполнять приказ. Парни гурьбой отправились в школьный сад курить, а я пошла на берег реки, села на скамью и бездумно стала смотреть, как плывут по темной осенней воде желтые листья. Вдруг кто-то подошел и сел рядом. Повернув голову, я увидела карие глаза с длинными, как у девчонки, ресницами и буйные смоляные кудри. Парень, белозубо улыбнувшись, предложил мне свой пиджак. Я его накинула на плечи — в одном свитере мне было холодновато. Так я влюбилась в Сережку из десятого «В».

Мы катались вечерами на его мотоцикле, а когда совсем похолодало, ходили каждый день в кино на последний сеанс, и Сережка, предлагая погреть мне руки, сжимал мои пальцы в своих больших сильных ладонях и целовал их горячими губами, щекоча шелковистыми усиками, едва пробивающимися над верхней губой. Я жила на квартире у колхозного парторга, прийти домой после одиннадцати часов вечера страшно было даже подумать, и мы каждый раз, взявшись за руки, неслись из клуба бегом, боясь опоздать.

Теперь на уроках физики, как бы я ни отвечала, в журнале неизменно появлялась «двойка». Меня это не трогало, так как мои мысли и чувства находились в другом измерении. И если бы не классная руководительница, я так и плыла бы по волнам своей первой любви, нисколько не заботясь об успеваемости. Тамара Георгиевна, обнаружив в журнале среди «пятерок» и «четверок» по другим предметам кучу «двоек» по физике, быстро выяснила, в чем тут дело, и потребовала собрать педсовет, который постановил мне сдавать зачеты по физике другому учителю, а Алексей Сергеевич сделался со мной подчеркнуто вежлив и официален.

Мой друг Вовка вдруг стал молчалив и угрюм. Он наотрез отказался жить на квартире и каждый день ездил на попутках домой, а то и ходил пешком. Я присоединялась к нему по субботам и понедельникам. Однажды, в одну из ноябрьских суббот, рейсовый автобус сломался (с ним это часто случалось), и мы с Вовкой отправились домой пешком. Сережа проводил нас до парома и несколько минут махал мне рукой. Вовка, нахмурясь, отошел в другой угол, а я осталась у сходней, чтобы подольше видеть любимого. На середине реки перевозимые на пароме вместе с людьми телята, испугавшись голоса пьяного паромщика, которому приспичило спеть частушку, кинулись к моему краю. Паром накренился, я едва успела схватиться за поручень и тут же с ужасом почувствовала, как ледяная вода, обжигая мне ноги, хлынула в сапоги. Иссиня-бледный Вовка бросился ко мне, рванул за руку, увлекая на другой конец парома. Он вылил воду из моих сапог, снял с себя носки и велел мне переодеться. Нам повезло: в нашу сторону шла попутка. Через несколько минут у меня зуб на зуб не попадал. Вовка расстегнул куртку, обнял меня, укрывая ее полами. Прижимаясь к его груди, я слышала, как бешено стучит у него сердце. Через полчаса я перестала чувствовать свои ноги, думаю, и Вовка тоже: резиновые сапоги на босу ногу вряд ли грели.

К вечеру я слегла с высокой температурой. Как ни странно, друг мой после этого происшествия повеселел и сделался чрезвычайно общителен и разговорчив. Он продолжал учиться, а я болела. Вовка каждый день приносил мне домашнее задание, делал со мной уроки и трещал без умолку, забалтывая меня насмерть. Мне было грустно: я скучала по шелковым кудрям. И вот однажды, дней через пять после случившегося, вечером под моим окном вдруг раздался треск мотоцикла, и в дверном проеме появилась моя любовь в мотоциклетном шлеме и в грязи по самые уши. Стоя на пороге моей комнаты, он смущенно и радостно улыбался, глядя на меня своими шоколадными глазами; в одной руке он держал заляпанные грязью сапоги, в другой — кулек конфет, а из рваного носка на правой ноге

выглядывал красный от холода палец. Я так обрадовалась, что потеряла дар речи и только протянула к нему обе руки. Сережка, почему-то на цыпочках, подошел к моей кровати, наклонился, отведя назад занятые руки, и поцеловал меня прохладными нежными губами. Это был наш первый поцелуй. Он был таким сладким, что потом мы уже не могли остановиться и целовались без конца и где попало. В школе, одновременно отпрашиваясь с уроков, мы встречались под лестницей на второй этаж и целовались как сумасшедшие. За этим занятием нас однажды и застукала моя классная руководительница. Все могло закончиться исключением из школы. Но спасибо ей, эта умная и добрая женщина нашла для нас такие слова, которыми, не обидев, убедила нас не давать волю своим чувствам хотя бы в школе.

Вовка как-то отдалился от меня, но я всегда чувствовала его неустанное внимание. Его глаза постоянно следили за мной. Ослепленная переполнявшим меня счастьем, я не обращала внимания на то, что теперь мой друг почти никогда не улыбался. Лишь на выпускном вечере, когда он одновременно с Сережей подлетел пригласить меня на танец, я вдруг увидела, какие грустные у Вовки глаза. Тогда я не пошла танцевать ни с одним из них: я заметила, как все в зале с интересом смотрят на нас, ожидая, кого же я выберу. А я пригласила на танец стоящего рядом физрука. После выпускного Сережа пошел провожать меня домой. О Вовке я даже не вспомнила. Восемь километров до моего поселка мы шли всю ночь. У калитки моего родного дома мы поцеловались распухшими губами в последний раз и расстались, как оказалось, навсегда: через два дня Сережу призвали в армию. Писать письма мы оба оказались не любители, а дальнейшая жизнь сложилась так, что больше мы с ним никогда не встретились.

Ночью я ревела от тоски по Сереже, а днем мы с Вовкой готовились к поступлению в институт. Мы валялись на покрывале под палящими лучами солнца у нас в огороде и пересказывали друг другу учебник истории. Однажды, прикрыв глаза, я слушала Вовкин монотонный голос, стараясь не отвлекаться на мысли о Сереже, как вдруг почувствовала на своих губах горячее Вовкино дыхание и услышала хриплое:

— Научи меня целоваться.

Широко открыв от изумления и неожиданности глаза, я спросила у него довольно ядовито:

— Вы, сэр, на солнышке перегрелись, что ли?

Лицо у Вовки стало пунцовым. Опустив ресницы, он тихо сказал:

— Знаешь, сколько раз вы с Сережкой поцеловались, когда шли с выпускного? Я сосчитал: сто шестьдесят четыре раза.

— Ну и дурак. Зачем ты это сделал?

Вместо ответа Вовка поднял на меня невыразимо грустные глаза и спросил, неровно дыша и близко наклонившись к моему лицу:

— Можно тебя поцеловать?

Я молча закрыла глаза, а он на миг прижался к моим губам своими неумелыми губами, потом вскочил, собрал книжки и убежал. На следующий день Вовка уехал в Архангельск поступать в институт, а я отправилась в Вологду за тем же самым. Жизнь развела нас в разные стороны. И только через много лет я поняла смысл очень мудрой русской пословицы: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Лариса Теплякова. Бульвар школьной любви

— В этом классе невозможно вести уроки! — возмущенно сетовала математичка. — Они все поголовно друг в друга влюблены! По классу летают записочки, до перемены дотерпеть не могут. Вызываю к доске задачу решать, а они начинают глазки строить, переглядываться. Какие уж там интегралы с дифференциалами! С этим мириться нельзя! Надо что-то делать, дорогие товарищи родители! Серьезно поговорите с вашими детьми. Ведь класс-то вы-пуск-ной!

Голос учительницы математики звучал пронзительно и тревожно. Глаза горели. Последнее слово она произнесла вразтяжку и с осудительным покачиванием головы. Ей в такт высокой прической кивала наша классная руководительница. Для большего эффекта.

Я знала обо всем со слов мамы и очень живо представляла эту сцену. Родители видели наших педагогов изредка, а мы — каждый день и давно изучили все их коронные номера.

Сухощавая математичка быстро удалилась — ее ждали в соседних кабинетах, на родительских собраниях параллельных классов. Думаю, там она говорила то же самое, слово в слово. Школьная любовь мешает извлекать дифференциалы и строить синусоиды. Дети влюбляются, витают в облаках, а экзамены уже на носу. Эту фразу — «экзамены на носу» — мы слышали ежедневно и уже привыкли к ней. Далее обычно следовало внушение о необходимости получить аттестат зрелости с приличествующими оценками, даже если некоторые не собираются в вузы. Ведь впереди вся жизнь, а это первый важный документ, характеризующий зрелую личность.

Математика — царица наук, предмет серьезный. Потому именно математичке поручили ударно выступить перед родителями. Звали ее Аниса Хуснулловна. Вообще-то она прекрасно с нами справлялась и умудрялась вколачивать в затуманенные головы основы алгебры и геометрии. В ход шло все: резкий голос, острый взгляд, едкие замечания, пассы длинной указкой.

Кому-то ее имя покажется странным, но только не в нашей школе. Я родом из Уфы, столицы Башкирии. Нашу классную даму звали Эфира Давлетовна, а физкультурника — Равиль Гендуллович. Завуч — Римма Сулеймановна. И так далее. Обычные имена для республики, расположенной на Урале, на границе Европы и Азии. Тогда и Башкирия называлась длинно и пышно: Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика. Был намек на непонятную автономность, но мы, как все советские школьники, носили октябрятские звездочки с ликом кудрявого Володи Ульянова, потом алые пионерские галстуки, затем гордые комсомольские значки. Очень часто уфимских ребят принимали в октябрята и пионеры в доме-музее Ульянова-Ленина. Вождь бывал тут в ссылке.

В старших классах к широкой лямке форменного фартука я прикалывала крохотный символ кумачового знамени. Из школы мы уходили в большую жизнь комсомольцами.

На собрании в начале последней учебной четверти была мама. Она прекрасно знала, в кого влюблена ее дочь, и потому мягко сказала:

— Вы уж там с Олежкой аккуратнее, не срываете уроки. И зачем вы эти записки строчите, учителям мешаете? Неужели нельзя на перемене обо всем переговорить?

Эх, мама-мамочка! Ведь даже в песне поется: «Перемена мала, я смолчу, как всегда, очень плохи дела, вот какая беда!». Не все можно сказать вслух. И потом, эти записочки — это же прелесть что такое, их можно хранить и перечитывать!

Маме я свои соображения не озвучила. Чтобы не огорчать. И не усугублять. Мне было некогда, меня на улице Олечка ждал. Поэтому я сделала большие глаза, состроила виноватую рожицу, чмокнула маму и убежала гулять.

Впрочем, особых причин для волнений ни у меня, ни у мамы не было. По математике я имела огромную коллекцию пятерок с редким вкраплением четверок. На строгую Анису Хуснулловну я не держала зла. Вся штука в том, что мы ее любили и знали, что она любит нас. Вот так!

Мы вообще тогда всех и вся любили: свой город; свою страну, самую лучшую и большую; свое светлое счастливое будущее. Другого грядущего у нас быть не могло. Только такое.

Мы обожали свою школу, потому что для нее отстроили новое, суперсовременное здание и оборудовали его круче некуда. Туда перевели самых веселых учеников из двух старых и переполненных школ. В старых стенах постарались удержать будущих медалистов и лучших хорошистов, а здесь собрали самый цвет заводит нашего района: троечников-раздолбаев, хорошистов-пофигистов, начинающих хиппи и пацифистов, искателей приключений и романтиков. Я очень рвалась в новую школу и исхитрилась забрать свои документы сама. За мной последовали мои лучшие подруги. Два мощных потока из разных учебных заведений слились и образовали бурное море страстей. Вот какой замечательной была наша школа!

Наш школьный комплекс возвышался возле огромного лесопарка. Вокруг всегда наперебой чирикали птицы и шелестела листва. Зимой мы прокладывали лыжню среди сонных деревьев вместе с Равилем Гендулловичем. Со всего города к нам съезжались играть в «Зарницу», искать деревянные мины в высоких сугробах и пить горячий чай из термосов. Нам завидовали: у нас был свой стадион с трибунами и свой волшебный лес чудес.

Воздух вокруг изобиловал кислородом и флюидами любви. Мы мечтали и влюблялись, и с этим ничего нельзя было поделать. Ощущение того, что наш возраст «вы-пуск-ной», лишь усиливало эмоции. Мы понимали, что вот-вот все завершится, изменится, и мы уйдем из привычных стен в большую жизнь. От этого наши чувства вообще зашкаливали.

Последняя школьная весна... Теплая, нежно-зеленая, трепетная, чувственная. Каждый день заполнен событиями и радостью. От предчувствия скорых перемен сердца гулко бились. А изменения уже происходили. Даже обычные уроки стали другими. На физкультуре нас учили танцевать вальс, на литературе мы конспектировали напутствия академика Лихачева, на анатомии говорили об отношениях полов.

У меня тогда была коса до пояса. Все уже дерзко стриглись под «гаврош», «финского мальчика» и «сэссун», а я носила простую девичью прическу по настоянию моей мамы. Ах, мама-мамочка, как ты была права!

Моя коса мне шла и очень нравилась моему парню. Каждое утро он ждал меня возле самой ближней к школе пятиэтажки. Зачем? Чтобы зайти в подъезд и поцеловать. Разве это не лучшее начало дня?

Потом я шла в класс, а он — куда душа поведет. Я усердно училась, а он с большим желанием играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле. Тоже по-своему готовился к выпускным торжествам.

Олег учился небрежно и мечтал об эстраде. Мой друг везде ходил с гитарой, как трубадур из «Бременских музыкантов». Он дарил мне незатейливые подарки: шоколадки-миньоны, жевательную

резинку и стихи. Свои стихи, записанные на листочках почтовой бумаги аккуратным почерком. У него был красивый мужской почерк. Олег вкладывал эти послания в нарядные конверты и вручал мне самолично. Я их хранила и перечитывала.

Долго хранила. До замужества. Перед свадьбой сожгла. Жечь пришлось много, но мне не хотелось огорчать будущего мужа. Легко догадаться, Олег не стал моим супругом. В юности мы часто увлекаемся плохишами, разбитными парнями, но спустя годы понимаем, что с ними не создать стабильную семью.

Иногда мы с Олегом ссорились. Из-за пустяков. И тогда тоже писали друг другу длинные письма и обменивались ими на переменах. Летопись нашей жизни складывалась из записок и фотографий. К счастью, черно-белых снимков тех лет осталось немало.

В нашем классе учился паренек, всерьез увлеченный фотографией. Его отец работал в редакции местной «Вечерки» и сына приучал к профессии. Леша зарабатывал опыт и создавал фоторепортажи неформальной школьной жизни. Он снимал нас всюду и щедро раздаривал карточки. Благодаря Леше мы можем всматриваться в свои юные лица. А ему удалось запечатлеть самое главное — наше шальное счастье в обрамлении солнечных бликов.

Вокруг нашей новенькой школы разрастался городской микрорайон с развитой инфраструктурой. Возникали дома, универсамы, корпуса клинической больницы, детсады, даже Дворец спорта с ледовой ареной. Строили дороги, а вдоль дорог сажали деревья. Нас нередко отправляли на субботники — приводить в порядок улицы. Так мы вносили свою лепту в дело благоустройства города.

Столько лет прошло, а мне до сих пор помнится тот долгий солнечный майский день, когда уроки биологии, труда и физкультуры заменили субботником по посадке деревьев! К школе подъехали грузовики с саженцами. Несколько выпускных классов вооружились лопатами, граблями, лейками и растянулись по улице.

Мы рыли ямы и сажали тонконогие березки. К вечеру обычная улица с панельными девяти— и пятиэтажками превратилась в бульвар. Деревца были слабенькие, поникшие, но постепенно они прижились.

Спустя десятилетия наши березы горделиво вытянулись к небу, вольно раскинули ветви, стали настоящими красавицами. Второй такой улицы в городе не сыскать. По одну сторону — большой школьный двор со стадионом, а по другую — жилые дома, и между ними — два стройных ряда наших берез.

Теперь другие дети учатся в нашей школе. У них не бывает субботников и даже уроков труда в расписании нет. Многих учеников в школу доставляют на машинах, а раньше такого не водилось. Мы сами брели по улицам, размахивая портфелями, обсуждая новости, забегая целоваться в ближайšie подъезды. Ныне повсюду установлены домофоны, кое-где сидят строгие консьержи и даже имеются видеокамеры. Никакой подъездной романтики.

На уроках не пишут записки, как прежде. У всех мобильные телефоны, школьники обмениваются эсэмэсками. Может, это и неплохо, но только теперь влюбленные не знают почерка друг друга, и им нечего хранить в личных архивах. Ведь эсэмэску не оставишь на память о первой школьной любви. Но даже на автомобилях нынешние дети едут к школе по нашему бульвару, где уже немолодые березы шелестят листвой и нашептывают им старые добрые истины. Нужно только вслушаться.

Елена Жарикова. Мои глазки, ваши брови — все доводит до любви

Мои первые серьезные влюбленности начались еще в младших классах средней школы № 4 поселка Горячегогорск (Шарыповский район Красноярского края) — классе эдак втором, а было это, если точно, в 1979 году. Примерно с этого времени я уже (отчетливо об этом помню) жила напряженной внутренней жизнью; да, впрочем, делиться-то было не с кем. Мальчика этого, объект моих сердечных волнений, я знала давно, с детсадовских времен, жили мы неподалеку, но столкнулись «нос к носу» только в школе. И я стала внутренне трепетать и замирать, как только он приближался: ну хотя бы в тот момент, когда я дежурила на входе (была у нас такая обязанность), а он являлся вдруг — чарующе-прекрасный, близко-далекий... Разумеется, никакого контакта поначалу — так, внутренний ужас, какое-то девичье «ах!», страх даже взглянуть в его сторону и ожидание нового дня: что сегодня будет хорошего? Увижу ЕГО!

Он был похож на маленького Ленина на октябрьской звездочке, просто копия: хорошенький, с большим лбом, над которым плотно курчавилось темное облачко волос, с совершенно круглым упрямым затылком, с каким-то хитрым прицелом голубых глаз, ямочками на щеках, херувимскими губками... Тоже сын учительницы, как и я. (Кстати, этот кластер внешних данных: кудри, глаз голубой, круглый затылок и ямочки — станет для меня пожизненно-роковым! Вот ужась-то!)

Словом, я млела и цепенела, когда он приближался на пушечный выстрел или тем паче заговаривал со мной. Казалось совершенно немислимым оказаться с ним в одной игре и уж совсем непостижимым — сидеть за одной партой! Помню, мы очень увлекались в те годы маленькими блокнотиками, куда записывали и приклеивали всякий вздор: песенки, стишки, картинки, вырезанные из журнала «Пионер»... И мне папа подарил такой зелененький блокнотик в красивенькой обложке, что я припрыгивала и пела (когда не плакала — я пела!). Я туда приклеила вырезанный портретик обожаемой Яны Поплавской — Красной Шапочки — и любимые песенки. И вот когда Володька очередной раз проходил мимо меня, я осмелилась показать ему этот блокнотик — вот, мол, смотри, что у меня есть! И он, представьте себе, полюбопытствовал, смотрел-завидовал...

То ли учителя уловили электрическую волну, которая пробежала между нами, то ли звезды так сложились — но нас ПОСАДИЛИ ЗА ОДНУ ПАРТУ! Это было потрясение! «В целях профилактики правонарушений» нас время от времени пересаживали, и я непременно оказывалась бок о бок с каким-нибудь сопливым двоечником... А тут! Я и глаз поднять не смела, и с трудом сохраняла равнодушную физиономию, когда это произошло. И самое-самое, о Боже! — я почувяла, что и он ко мне — кажется-неужели?? — неровно дышит: вот как-то боязливо, особенно тихо-нежно спрашивает ручку или ластик, как-то улыбается странно... Я не смела поверить.

Надо ли говорить, что сидеть с ним рядом было сбывшимся счастьем и страхом-мученьем! Я не помню, как училась в третьем классе, какие оценки получала, что вообще было в эти годы — второй, третий, четвертый: все смутно, кроме того, что происходило во мне. Кажется, я училась без напряга, кажется, немного грязными были тетради, и мама заставляла меня переписывать, кажется, я любила петь на классном часе... это тоже было что-то! Учительница Валентина Никитишна (царствие небесное, померла недавно!) говорила: а теперь спойте свою любимую песню! И надо было выйти перед всем классом(!) и спеть, — вы бы не испугались? А вот я, самая трусливая трусиха на свете, словно оторвав внутри что-то, встаю и иду петь (конечно, чтобы показать ЕМУ, как я хорошо пою, какие песни замечательные я выучила с пластинок!). Я пою про жирафа, который беззаботно гуляет по своим африканским просторам; про юного трубача (с комом в горле пою), который «был настоящим трубачом», про карусельных лошадок, что «целый день бегут-спешат»... А потом мы с девчонками еще и сказку поставили — «Золушку». Ну, разумеется, режиссером была я, исполнительницей главной

роли — тоже. Золушка пела, танцевала со шваброй, набросив поверх маминой тюлевой накидушки («бального платья») чей-то дырявый халатик... И ОН все это видел! И точно проникся!

Потом был четвертый класс, и его мама вела у нас географию — такая вся стройная, голубоглазая, узкогубая, в голосе металлические нотки... (Вот пару лет назад мы встретились в банке — она умилилась-прослезилась, обняла меня, назвала красавицей...) А тогда я все время чувствовала, что она СЛЕДИТ ЗА МНОЙ (уж такая проницательная! Наверняка видела, что мы с Володькой не столько географией и историей увлечены, сколько друг другом...).

Грянула очередная пересадка: я не успела и глазом моргнуть, как его пересадили за мою спину — с самой красивой девочкой в классе, с Маринкой, у которой уже пышнела (на зависть всем девочкам) грудь и нежно румянились щеки, а самое главное — на спине ее горделиво покоилась толстенная и длинная темно-русская коса! А ко мне посадили сопливого-нерадивого Ваську, с которым никто сидеть не хотел!

Володька еще долго будет тыкать меня в спину то карандашом, то ручкой — наверное, еще полгода, пока его опять — уже в пятом классе — не посадят рядом со мной.

В пятом классе у нас начал меняться характер поведения: папаны начали шалеть и проявлять к противоположному полу явные (дикарские!) знаки внимания. Володька стал мне дерзить, отворачиваться — словно стесняться меня или того, что на нас поглядывают как-то... Нет, он не носил мне портфель (это в нашей школе казалось диким, невозможным), не провожал до дома, не покупал мне пирожки в буфете, не защищал меня от мальчишек — словом, он никак не выдавал своей долговременной симпатии. По мере взросления его характер стал портиться — прямо на глазах, к ужасу моему! — он жаднел, при общем озорстве прятался за чужие спины, начал списывать, ловчить, соглашаться со всякими негодьями (а я судила своих одноклассников очень строго!)... Мне с каждым днем становилось грустнее. Чувства мои омрачались сознанием того, что я обожаю недостойного человека. А потом в один день все кончилось!..

Я пришла перед началом урока и обнаружила, что у нашей парты нет стульев. Володька притащил откуда-то стул и поставил СЕБЕ. «Эгоист какой!» — подумала я. Да нет, не мог он так сделать, сейчас звонок, а мне сидеть не на чем. Возьму стул себе. Взяла и села. В одно мгновение он вспыхнул, озлился, сжал кулаки и ка-а-ак отвесит мне оплеуху!!! У меня и дыхание остановилось, и я не могла ничего сказать, только: «Ты?! Ты?!» И разразилась рыданиями...

Это была такая страшная точка в наших отношениях, такое оскорбление, от которого долго заживала душа. Сбежались, конечно, все, Петр Васильевич, классный наш (тоже уже покойный), со свойственной ему экспрессией ахнул: «ТЫ ЕЕ УДАРИЛ?»

С того дня словно шарик лопнул — и воздух вышел, словно вытекла вода из треснувшего кувшина: Володька для меня больше не существовал, хотя доучились мы с ним в одном классе до выпуска.

Елена Смирягина. «Дорогая Бредун!»

Портфель купли светло-коричневый с двумя симметричными блестящими застежками. Кроме застежек на портфеле не было ничего — ни зайца из «Ну, погоди!», ни круглобокого Винни-Пуха, ни енота — «От улыбки хмурый день светлей». Скучный был портфель. Я немного расстроилась, но родителям не сказала.

На белый фартук бабушка нашла толстое кружево, на мои жиденькие волосы-пушок привязали огромный бант — гофрированный, праздничный, белый. Еще были припасены два узких коричневых банта с тонкой окантовкой, но это «на каждый день», «на будни», которые начнутся со второго сентября.

Для меня, ребенка, который никогда не был в детском саду, первое сентября первого класса показалось днем чудовищным и страшным. Огромное здание днепропетровской школы № 28, в которой я проучилась с 1976 по 1986 годы, с полутемными лестницами, громкая торжественная музыка, чья-то рыдающая от переполненных чувств бабушка, общий туалет с кафельным предбанником, и люди — очень много людей разных возрастов и назначений: от мелких вертлявых первоклассников до строгих взрослых — учителей и уборщиц. Мне было страшно и одиноко, я лихорадочно пыталась сообразить, что бы такое придумать, чтобы завтра в школу не пойти, чтобы никогда не наступил этот самый «каждый день», на который были отложены скромные коричневые банты.

Меня посадили за вторую парту. За первую сажали отличниц и детей со слабым зрением, за последние — неформальных лидеров и неисправимых двоечников. Серые мышки вроде меня сидели за вторыми и третьими партами в компании двоечников, которых педагоги еще надеялись исправить воздействием на них примером хорошего поведения и старательной учебы.

«Учительницу первую мою» звали Анастасия Тарасовна. Ей было тогда, наверное, под шестьдесят. Она была полной рыхлой женщиной с густыми черными бровями и маленьким тугим кукишем темных с проседью волос. Анастасия Тарасовна носила строгие простые платья с брошами. Однотонное ли платье, в сумрачно ли синих цветах — обязательно крупная брошь на вырезе. Эти броши гипнотизировали меня, как удав кролика. Я могла весь урок следить за перемещением очередного янтарного паука в пространстве, совершенно не слушая, что в это время говорит Анастасия Тарасовна. Наверное, она была неплохой учительницей, наверняка работала в школе давно. Первого сентября она показала, как надо сложить руки на парте — правую на левую, а если что сказать хочешь — эту верхнюю правую руку следует поднять под углом 90 градусов к парте. Так я со сложенными руками все три года начальной школы и просидела. Читала лучше всех, писала аккуратно, все задания выполняла в срок. А руку так ни разу и не подняла — отвечала, только если вызывали. Видимо, я была идеальной ученицей для Анастасии Тарасовны, потому как табель она мне рисовала отличный: и по успеваемости, и по поведению.

Сначала со мной сидел Паша Козенко. Он был двоечником и хулиганом, но я его не боялась по одной простой причине: мы были почти соседями и иногда вместе играли. За год до того, как я пошла в школу, мы переехали в Днепропетровск, и папа купил покосившийся дом-мазанку с большим участком у старой цыганки. Купил, чтобы построить на том месте новый дом — светлый, большой, в два этажа, где жили бы долго и счастливо дети и внуки, а родители старели бы медленно и чинно в достатке и покое.

Та старая цыганка приходилась Паше Козенко родной бабушкой. У нее был сын Степан, могучий мужик с орлиным взором и кудрями до плеч, — Пашкин отец. Он женился на русской — маленькой полноватой женщине с косым глазом. У них было двое детей: высокая, как модель, гуляющая красавица Ленка и маленький двоечник Паша, мой первый сосед по парте. Они жили через три дома от нас, и Пашкина бабушка — старая и страшная, как баба-яга, в многоярусных цветастых юбках, в черном платке с алыми розами, из-под которого мохнатой паутиной выбивались седые жесткие волосы, — эта колоритная бабушка часто ходила по дороге мимо наших окон. Звенели золотые серьги толстыми кольцами в ее ушах, дымила старая трубка во рту. Трубку цыганка вынимала, только когда хотела

проклясть свою невестку — тетю Люду, Пашину мать. Проклинала она ее громко — на всю улицу, смачно и красиво — почти без мата, но так виртуозно, что в благоговейном трепете замер бы любой собиратель фольклора. Пашину бабушку боялись, говорили, что сглазит и порчу наведет — только глянет. Кто знает... Старая цыганка прожила почти до ста лет, пережила весь свой табор и проклинаемую невестку. Говорили, что хорошо она относилась только к моей маме, потому что мама с ней всегда здоровалась. И улыбалась, говорят. А старая ведьма улыбалась ей в ответ, не вынимая замусоленной трубки изо рта. Мою маму она тоже пережила...

Забегая вперед, скажу, что лет в шестнадцать Пашка сел в тюрьму — вернее, за воровство и разбой попал в колонию для несовершеннолетних преступников, если я ничего не путаю.

Но это все случится потом, а первого сентября 1979 года об этом никто еще не знал и не догадывался.

После нового года, когда началась третья четверть, нас переселили. Пашка попал на «камчатку», видимо, как не поддающийся положительному влиянию, а ко мне посадили мою тайную любовь — Костю Спландора. Он тоже был двоечником, но парнем видным, высоким, как по мне — красавцем писаным. Костя был белобрыс и конопат, но брови имел черные и широкие, а ресницы длинные и пушистые, как у восточных принцесс. На меня он не обращал внимания, даже жеваной бумагой плевался в других девочек, через весь класс. Хотя, казалось бы, до меня-то рукой подать, плюйся не хочу. Помню, как он забрал у девочки, что сидела сзади, пенал. Та попыталась вернуть свое, но Костя лег на парту, прикрыв добычу собственным телом, а девочка обижалась, плакала и все пыталась Костю с пенала стащить. Так они возились, пока не появилась Анастасия Тарасовна и не восстановила справедливость.

На следующем уроке я вытащила свой пенал — красивый, желтый, с маленькими красными счетами на внутренней стороне крышки. Вытащила и поставила на парту, ближе к Костиной половине. Пенал так и простоял весь урок, завлекая соседа внутренним содержанием: сине-белой резинкой, простыми карандашами и металлической шариковой ручкой с полуоблупившейся аббревиатурой ГБСМП (городская больница скорой медицинской помощи), которую принес мне с работы папа. Все было напрасно — Костю Спландора не интересовали ни внутреннее содержание, ни внешняя привлекательность моего пенала.

Приближались праздники — 23 Февраля и 8 Марта. Родительский комитет организованно закупил подарки. Помню, мальчикам мы дарили книгу и поделку-сувенир «Веселый человечек» из желудя и шишки. Были такие фабричные сувениры, стилизованные под поделки из природного материала, продавались в местном промтоварном магазине «Лотос». Мальчиков в классе было меньше, подарки им просто разложили на парты. Раскладывали всего три или четыре активные девочки под руководством одной мамы из родительского комитета, остальные девочки просто сидели и смотрели. Мальчики в это время стояли у стенки в коридоре под присмотром второй мамы из родительского комитета и Анастасии Тарасовны. Когда подарки были разложены, мальчиков организованно завели в класс и — сюрприз! — на парте лежали книга и «Веселый человечек» из желудя и шишки.

Костя немедленно отломал человечку желудевую голову, потом тонкие ноги-спички и попытался сделать из образовавшихся частей какое-то непотребство. Когда же конструкция не получилась, вынул из кармана мятый шарик серой оконной замазки, скатал из него толстенькую колбаску и, подумав несколько секунд, вдруг развернул подаренную книгу. Затем, весело подмигнув мне, он засунул «колбаску» в переплет и стал толкать ее взад-вперед.

— Трахает, — пояснил Костя.

Я ничего не поняла: ни действия, ни объяснения — но на всякий случай сделала «козью морду».

Восьмое марта, закономерно наступившее через две недели, было организовано немного по-другому. Мальчики по очереди брали подарки из заранее заготовленной коробки и шли вручать девочкам. Не знаю, по какому принципу были поделены девочки — скорее всего, по алфавиту, но элемент интриги в этом действе был: кто подойдет к тебе с книгой (да, опять книга, а как же!) и набором цветных карандашей и пробубнит, глядя в пол: «Поздравляю с женским днем...»

У нас было два козырных мальчика: Игорь — сын заведующей маленьким продуктовым магазинчиком, который находился рядом со школой и где все учителя отоваривались дефицитными сосисками, и Лобза Спартак. Второй был, видимо, мальчиком из хорошей семьи — спокойный, разумный, всегда аккуратненький и чистенький, на все торжественные мероприятия мама одевала его в белоснежную рубашечку и галстук. Не пионерский галстук, а настоящий, как у взрослых мужчин. Он вообще, наверное, был хорошим мальчиком — Лобза Спартак, несмотря на то что его почему-то так странно назвали.

В то время как другие девочки ждали с карандашами Игоря или Спартака, я все еще надеялась, что судьба благосклонно подарит мне внимание Кости Сплендора. Но увы, увы... Подарок, молча и не глядя на меня, протянул мальчик по фамилии Ахметов, по имени, кажется, Саша. Я была разочарована.

А на втором уроке, сразу после перемены, я обнаружила под букварем, который лежал на парте, открытку. Открытка была двойная, открывающаяся, с тюльпанами на фасаде. Внутри — разлинована простым карандашом, и на ней аккуратно, большими круглыми буквами: «Дорогая Бредун!» (это не обзывалка, это моя девичья фамилия) и далее — поздравление с Женским днем, пожелание здоровья и успехов в учебе. Подписи не было, вместо нее, как и положено, стояла жирная чернильная клякса. Я огляделась. Через ряд от меня неприметный мальчик Володя Ружицкий сидел, втянув голову в плечи, и неотрывно смотрел вниз, под парту, словно там было что-то интересное, а не его собственные ноги в школьных ботинках.

«Дурак какой», — подумала я, вдруг сразу поняв, кто написал эту ужасную открытку.

Я ничего ему не сказала, да и вообще довольно быстро забыла об этом незначительном событии. А Костя мне скоро разонравился, кроме того, он подрался, и его тоже пересадили на «камчатку». Открытка же долго валялась в старых бумагах в пузатом бабушкином ридикюле. Иногда я натыкалась на нее, когда приезжала из Москвы и искала какие-то документы: то свое свидетельство о рождении, то мамино свидетельство о смерти...

Годы прошли, времена изменились, замелькали города и страны. Мы все выросли, у нас у каждого за плечами свой багаж, свои победы, свои воспоминания и надежды, и я не знаю, где сейчас Костя Сплендор, обогативший мой лексикон, и где аккуратненький, в галстучке Лобза Спартак, и Вова Ружицкий, и Саша Ахметов, и как сложились их судьбы, живы ли, здоровы или одиноки и несчастны. И та открытка с тюльпанами и надписью «Дорогая Бредун!» потерялась. А жаль. Это было первое и, возможно, самое искреннее и настоящее объяснение в любви, которое я когда-либо получала.

Александра Сулимина. Когда уходит детство

В 1978 году я училась в четвертом классе, когда умерла моя бабушка — отцовская мать. В тот год мы учились во вторую смену, родители были на работе, и я, оставшись без бабушкиной опеки, кое-как позавтракав, на весь день убегала на улицу гулять. Я боялась оставаться дома, потому что выросла в большой семье и больше всего боялась одиночества.

Не знаю, куда занесла бы меня «вольная жизнь», только за год я из круглой отличницы превратилась в твердую хорошистку с одной пятеркой по пению. Музыкального слуха у меня сроду не было, я просто тихо сидела и широко раскрывала рот, когда остальные в классе пели.

Ужаснувшись, мама перевела меня в среднюю школу № 618 города Зеленограда, где много лет работала учительницей.

Первого сентября мама тащила меня в школу, как деревенскую козу на веревке. Я брыкалась, плакала, но мама была непреклонна. Так я попала под ежедневный мамин надзор. Сначала мне нравился повышенный интерес со стороны одноклассников к моей скромной персоне. Еще бы — дочь учительницы и классного руководителя. Во времена моего детства пятиклассники еще уважали учителей, через год-другой это проходило, и начиналась неравная борьба: учителя — ученики. Конфликты с мамой автоматически ударяли по мне, становилось все тяжелее приходиться в школу, и я находила любой предлог, чтобы остаться дома.

В шестом классе зимой среди года к нам пришла новая девочка. Мама меня заранее предупредила, что Маша — дочь нашей школьной учительницы по биологии. Я не знаю почему, но ждала ее прихода с затаенной надеждой.

Она вошла в класс — маленькая, пухленькая, с острым вздернутым носиком и конским хвостом из пшеничных волос. В руках у нее был набитый портфель из коричневой кожи. «Отличница», — с презрением бросил кто-то из мальчишек.

Машу посадили вместе с нашим толстяком-весельчаком Стасиком. Он целый урок старался, развлекал ее анекдотами, за что оба получили по колу от нашей русички. Правда, Машка потом мне рассказала, что ее это совсем не расстроило. Это был первый кол в ее жизни и первый мальчик, который обратил на нее внимание. Стасика с Машей сразу рассадили: ее — за мою парту, а его, в наказание, — к нашей отличнице Гавриковой.

Мы сразу же подружились с Машей, часами гуляли, ждали наших мам после уроков, просиживали в библиотеке и доверяли друг другу свои секреты.

В конце года на нашу школу выделили одну путевку в знаменитый «Орленок» на Черном море. Я догадываюсь, каких трудов маме стоило добиться этой путевки для меня. Радость моя омрачалась угрызениями совести: я знала, что моя подруга учиться не хуже меня, но отказаться от путевки в ее пользу не хватило смелости. И, честно сказать, очень было жалко отказаться от давней мечты — побывать в «Артеке» или в «Орленке».

Одним словом, жарким июльским летом с такими же счастливыми я сидела в плацкартном вагоне поезда Москва — Туапсе и с нетерпением ждала приезда в лагерь. Этот был год московской Олимпиады. По Москве ходили слухи об ожидающихся терактах и об иностранцах, которые в жвачку добавляют толченые лезвия, чтобы отправить на тот свет как можно больше советских детей. Поэтому детей из Москвы в «Орленок» отправляли очень много.

За окнами уже показалось побережье, в вагоне было солнечно, все были в приподнятом настроении. Наша сопровождающая начала зачитывать списки: кого распределили в какую дружину. Тех, кто постарше, направляли в «Комсомольскую» и «Солнечную», остальных — в «Звездную» и «Стремительную». Я очень хотела попасть в «Звездную», так как с детства зачитывалась рассказами о космонавтах, биографию Циолковского знала почти наизусть и, чего уж скрывать, мечтала побывать в космосе. Но меня определили в «Стремительную». Я расстроилась, но промолчала. В вагоне большинство ребят было из районных пионерских штабов, в том числе из нашего района. В школе учителя всегда ставили нам их в пример, мы же их тихо ненавидели: они были заносчивыми, и дружить с ними никто не хотел.

Рядом со мной раздался громкий плач — девчонка из РПШ со смешными хвостиками, как будто сплетенными из тонкой проволоки, пыталась объяснить нашей сопровождающей, что она едет с подругой, а их почему-то записали в разные дружины. Женщина развела руками: «Все должно быть строго по спискам». Девчонка топнула ногой, сказала, что она не хочет в такой дурацкий лагерь, и заревела еще громче. Мое сердце дрогнуло. Я подошла к ней, тронула за плечо и сказала: «Меня тоже записали в “Стремительную”, если хочешь, будем там вместе». Она подняла на меня красные, заплаканные глаза и буркнула: «Ладно, давай».

Потом нас переодели в одинаковые мальчишеские семейные трусы в странных узорах и выдали синие детдомовские майки. Мы поплакали от стыда и унижения, но, самое главное, нам выдали орлятскую форму! У нашей дружины она была сама я простая: белые сорочки с коротким рукавом и шорты песочного цвета.

С новой подругой Викой мы сразу обежали весь лагерь. И — моя мечта! — в «Орленке» был целый корпус с космическими тренажерами и даже парашютная вышка! В числе первых мы записались в кружок космической медицины и с нетерпением стали ждать первого занятия.

Каждый день мы маршировали, готовились к лагерному смотру строя и песни. Мне нравилось ходить строем и петь хором орлятские песни, но я никому в этом не признавалась, потому что особым шиком считалось пойти в медпункт, настучать тыльной стороной ладони по термометру высокую температуру и освободиться от маршировки на несколько дней. Попасть в изолятор было много желающих.

В один из первых дней после приезда мы пошли купаться на море, и я попросила какую-то женщину, сидящую на берегу, подержать мои очки, чтобы их не затоптала наша дружная орлятская братия. Когда я вышла из моря, женщины на месте не оказалось. Сейчас, став взрослой, я бы за пять минут сообразила, что нужно делать, а тогда — одна, без родителей, в новом детском коллективе, — я просто заплакала и пошла в корпус. Остаться с сильной близорукостью без очков — это сильное испытание. Я ходила как во сне. Ребята в отряде все были глазастенькие и моих страданий не понимали. О чем думали вожатые, теперь уже не спросишь. На следующий день у нас был кросс по пересеченной местности. Мне повезло: упав, я сломала всего лишь одну правую руку.

Врачу в медпункте было лень везти меня на рентген: он заставил медсестру туго перебинтовать мне руку и посоветовал греть ее песком на пляже.

Моя новая подруга Вика ухаживала за мной, как мать родная: убирала кровать, первое время кормила меня с ложки, а потом у какой-то девочки из соседнего отряда выпросила для меня ее запасные очки. Они были сильнее, чем мне требовалось, но я видела! Жизнь вокруг меня снова приобрела цвета. Смена быстро пролетела, мне так и не удалось прыгнуть с парашютом, за что я до сих пор благодарна своей руке: сомневаюсь, чтобы после прыжка родители увидели меня живой.

Остаток лета прошел в мучениях — нравственных и физических. Рука срослась правильно, но была сине-черной и из прямого угла категорически не хотела выпрямляться. По вечерам папа приходил с работы, мама готовила соляной раствор, я размачивала в нем руку и пыталась ее разгибать. От боли текли в три ручья слезы, рядом стояли бледные родители и подбадривали меня рассказами об Алексее Маресьеве и генерале Карбышеве. Иногда ко мне приходила Вика, мы вспоминали «Орленок» и мечтали о встречах с орлятскими друзьями. Викины родители, решив, что я подходящая подруга для их дочери, перевели ее в мой класс. Я не знала, как сказать Машке, что у меня появилась еще одна подруга. О том, что можно дружить втроем, мне как-то в голову не приходило.

Наступило 1 сентября. В отутюженной форме, с новым портфелем я стояла у школы и ждала своих подруг. Первой пришла Вика: «Пошли, познакомишь меня с классом». Я отмахивалась: «Сначала надо Машу дожидаться». Машка, как всегда, опаздывала. Нас уже начали строить по классам на линейку, и вот она — Машка. Я схватила ее за руку: «Знакомься, это моя орлятская подруга Вика».

Девчонки улыбнулись друг другу, и я поняла, что все получилось!

Скоро учителя стали нас называть «золотой троицей»: мы хорошо учились, участвовали в олимпиадах, школьных концертах. Но осенью у моей младшей сестры начались проблемы со здоровьем, и моей маме пришлось бросить работу. Бедные родители, сколько вечеров они провели, подсчитывая, как мы будем жить на одну отцовскую зарплату. Но мама набрала себе учеников и стала подрабатывать репетиторством.

Первое время после маминого ухода из школы я часто слышала в свой адрес: «Все, Сашечка, кончилось твое время, некому тебя теперь защищать». Я тайком плакала, но родителям ничего не рассказывала. Подружки меня защищали, как могли, но все равно мне было очень тяжело. Я вытянулась, ходила худая и бледная. Родители о чем-то шептались на кухне по вечерам. И перед окончанием третьей четверти папа торжественно объявил, что смог достать мне путевку в Анапу в санаторный пионерский лагерь. В то время этот детский оздоровительный комплекс представлял собой нечто среднее между «Артеком» и санаторием Четвертого управления. Попасть туда считалось большим счастьем. Но я после истории с рукой ненавидела всех врачей вместе взятых, к тому же у меня начала расти грудь, и я стала еще более стеснительной. Представив, что целую четверть буду почти на больничном режиме и мне придется каждый день видеть людей в белых халатах, я впала в состояние, близкое к истерике.

Родители стояли на своем: путевка куплена, мой бледный вид их пугает и к тому же в такой шикарнейший лагерь не каждый ребенок может попасть.

— Детство скоро закончится, — добавила мама, — пользуйся.

Помню, в аэропорту я выронила деньги; помню свой ужас от того, что на три месяца осталась без копейки, боязнь полета и мартовскую Анапу — солнечную и бесснежную.

Лагерь мне очень понравился, девчонки оказались из разных городов, я была одна москвичка в отряде. Дети были после тяжелых операций, много пережившие, в отличие от меня — домашнего ребенка с хроническим тонзиллитом, о котором я и не помнила.

Мы приехали вечером, было очень темно, и нас сразу отправили на медосмотр. Боже мой, я до сих пор помню свой страх и ужас! Нас, толпу полуголых девчонок, загнали в большую комнату. За столом сидели врачи и среди них — симпатичный молодой мужчина. Он поднял глаза и назвал мою фамилию. И я начала рыдать, потому что до этого ни один мужчина не видел меня раздетой. Какая-то

молоденькая женщина-врач подошла к доктору, что-то прошептала ему на ухо и отвела меня к своему столу.

— Ты не переживай, он же врач. Он будет твоим лечащим доктором. — Она вытерла мне слезы, что-то записала в карте и отпустила одеваться.

Доктор оказался веселым, много знающим. Процедурами он меня не напрягал: лечить-то было особенно нечего. Видела я его редко, но через несколько дней поняла, что... влюбилась.

Интересно, помнит ли он меня — нескладную тощую девчонку в очках в страшной черной оправе, которая смотрела на него влюбленными глазами, — этот врач из далекой Анапы?

Каждое утро он начинал с пробежки по пляжу. Я и не помню сейчас, как он предложил нам, его пациентам, совместные пробежки. Начали мы лихо, по пляжу за ним бежала колонна из двадцати пяти человек, только к концу недели с ним стала бегать я одна. Знала бы моя школьная физкультурница Елена Викторовна, что я по своей воле каждый день — сама! без будильника! — просыпалась в шесть часов на пробежку! Я, которая была готова ломать руки-ноги, чтобы получить долгожданное освобождение от физкультуры. Меня не интересовали концерты, пионерские костры, купание в бассейне, экскурсии и походы в кино. Я с маниакальной надеждой ждала каждого утра, чтобы встретиться с ним.

В один из дней он прибежал на пляж с маленькой девочкой лет пяти. Это оказалась его дочь. В глазах у меня потемнело, и я с трудом дождалась окончания пробежки. Вернувшись в палату, я прорыдала все утро. Кое-как девочки выпытали у меня, что случилось. Запинаясь и всхлипывая, я им все рассказала. Я ожидала, что они будут смеяться надо мной, но когда подняла глаза, то увидела на их лицах уважение и... зависть. Я — очкастая тихоня, отличница, влюбилась во взрослого мужчину, врача, и он со мной разговаривает как с равной.

На следующий день я проснулась в шесть часов и лежала в постели, с тоской глядя в потолок. Я представляла, как он выходит из корпуса, ищет меня и убегает, не дождавшись. «Хватит с меня занятий спортом», — мрачно думала я. Вдруг тихонько приоткрылась дверь, и тонкий голосок его дочки спросил: «Тетя Саша, ты чего не идешь? Мы же ждем». Я мигом вскочила, кое-как натянула спортивный костюм и выбежала на крыльцо. Он стоял и улыбался:

— Саш, давай бегать, а?

В тот день мы не бегали, а гуляли вдоль берега. Он держал дочку за руку и рассказывал мне, как учился в школе, как поступил в институт, о том, как встретил свою жену и полюбил ее. Я, тринадцатилетняя девчонка, шла рядом, мне было приятно, что он так доверяет мне, и было горько от того, что я еще ребенок.

Пришел день отъезда. Я проснулась на рассвете, вышла на балкон и долго плакала, понимая, что мы больше никогда не увидимся. В шесть утра, как обычно, я вышла на улицу в спортивном костюме. Он стоял немного задумчивый, один.

— Пошли немного пройдемся: я ногу подвернул вчера, не могу бегать, — предложил доктор.

Я улыбнулась. Шел он ровно и даже не прихрамывал. Мы пришли на берег, сели на теплые скамейки.

— Саша, ты умная девочка, у тебя все будет хорошо. Ты скоро вырастешь, станешь красивой и

найдешь своего человека. Не грусти.

Улыбнулся, встал и ушел.

Так в далекой Анапе закончилось мое детство.

Лусине Кандилджян. Зимние цветы

Я училась в простой ереванской школе в начале восьмидесятых. А он сидел за одной партой с Армине. Она была чем-то на меня похожа — такая же голубоглазая, только, в отличие от меня, вечно улыбалась. С ней он был таким хорошим мальчиком. Я ей даже завидовала. А ко мне приставал на каждой перемене: дергал за волосы, дурашливо лез с кулаками. Наконец эта игра в кошки-мышки мне надоела. Как-то я ухватила его за сорочку и начала трясти так, что от нее отлетели пуговицы. В тот же день он пожаловался своей маме, которая, встретив меня после школы, начала отчитывать:

— Ты почему оторвала пуговицы? Разве девочки так поступают?

Я молчала, не оправдывалась. Как же я его тогда ненавидела! Разве жаловаться маме достойно? И, уж конечно, не по-мужски.

Через пару лет его перевели в другую школу, где изучали английский, а наша была с французским уклоном. Сама не знаю почему, мне было грустно оттого, что он уходит. После этого он иногда приходил навестить нас, бывших одноклассников.

Вскоре наступил тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год. Мне тогда исполнилось шестнадцать.

— Папа, ты не поверишь, — возбужденно вбежала в дом из сада моя младшая сестра. — Представляешь, наша вишня зацвела! Второй раз за год. Может, у нас и вишенки будут?

— Вряд ли, — покачал головой папа. — Цветущая вишня в декабре — это, по крайней мере, очень странно. Природные аномалии не к добру.

И действительно: это были всего лишь «цветочки», а «ягодки» не заставили себя долго ждать.

С тех пор прошло ровно двадцать пять лет, но каждый из нас в деталях может вспомнить события того дня.

Я училась в девятом классе. Наша старая школа стояла на возвышенности. Каждый раз, когда внизу мимо проезжал трамвай, стекла школыдребезжали. В тот день у нас был урок русского языка. Мы писали диктант. Вдруг моя ручка стала приплясывать, и, как я ни старалась дописать предложение, не смогла: только замарала тетрадь. В классе поднялся шумок. Все посмотрели на Оганеса, сидящего в среднем ряду. Тот имел привычку притоптывать ногами по полу, а так как он был парень тучный, то обычно парты рядом дрожали. Но на этот раз у него самого был ошарашенный вид.

— Я тут ни при чем, — стал он оправдываться, заметив направленные в его сторону косые взгляды.

Убедившись, что это не Оганес, все посмотрели на учительницу. Стелла Татуловна с ужасом следила за школьной доской, которая то и дело отрывалась от стены и со стуком снова ударялась о

нее. Через окно было видно, как высокие тополя нагибались до земли, и все это сопровождалось каким-то гулом.

Взяв себя в руки, Стелла Татуловна призвала нас к порядку. А поскольку она была для нас непререкаемым авторитетом, мы быстро снова взяли за ручки.

Из коридора было слышно, как ученики с верхнего этажа, толкаясь, спускаются по лестнице. Вдруг приоткрылась дверь и показалась голова директора школы. Она удивленно посмотрела на нас и проговорила:

— Ну что, сидите? Ну, хорошо, сидите, сидите.

А сама вместе с другими поспешила покинуть здание. Мы со второго этажа недоуменно наблюдали, как на школьном дворе собралась целая толпа из учеников и учителей. Только на следующий день, когда стали известны масштабы землетрясения, за считанные минуты унесшего жизни более двадцати пяти тысяч человек, Стелла Татуловна, пряча за иронией запоздалый страх, скажет:

— Представляете, как шикарно мы могли провалиться?..

Когда я вернулась домой, зазвонил телефон. Это был его голос:

— Как ты? У вас все в порядке? Ереван разрушен?

Он звонил из Ленинакана. Там жил его дед, и накануне они с родителями поехали его навестить. Ленинакан был вторым по величине городом Армении. Был... А теперь лежал в руинах.

Я заверила его, что у нас все в порядке.

Связь оборвалась. Удивительно, что он вообще смог дозвониться из этого ада.

Я все не решалась отпустить трубку, надеясь на что-то, и думала о несчастных людях, застигнутых стихией врасплох. Еще долго люди будут искать и извлекать из-под обломков тела своих родных. Многие из выживших навсегда останутся инвалидами.

И в такой трагический день мне было очень стыдно за свое маленькое счастье.

— Он жив!

Ирина Семенова. Две шариковые ручки

Класс у нас был с математическим уклоном. Как туда умудрился попасть чистейшей воды гуманитарий — не спрашивайте, это долгая и печальная история, поэтому будем считать, что так распорядились звезды. Спорить с ними я не рискнула, за что и расплачивалась горькими слезами на протяжении всех оставшихся до выпуска лет: выражение «грызть гранит науки» мне довелось прочувствовать на собственной шкуре целиком и полностью. Хорошо хоть, не все зубы об этот гранит сточила, кое-что к моменту окончания школы еще оставалось...

Другое известное выражение — «мышы плакали и кололись, но все-таки продолжали жрать кактус» — как нельзя лучше описывает мои горестные школьные будни, заполненные теоремами

Пифагора, матрицами и нескончаемыми задачами повышенной сложности. Впрочем, даже среди этого беспросветного математического мрака иногда пробивался лучик света. Точнее, целых два. Назывались они «русский язык» и «литература».

Первое полугодие пятого класса я делила парту с Алексеем — серьезным, вдумчивым товарищем. Отношения у нас были деловыми и взаимовыгодными: Алексей частенько помогал мне с контрольными по ненавистным алгебре и геометрии, я же в свою очередь проверяла его домашку по русскому и выручала во время диктантов, сочинений и изложений.

В общем-то мы с Алексеем были вполне довольны и жизнью, и друг другом, поэтому, когда после зимних каникул учительнице по русскому вдруг взбрело в голову всех в классе пересадить, для нас обоих это стало ударом.

Теперь я делила парту с Димой. В качестве соседа он был приобретением незавидным: кое-как перебивался с троек на четверки, постоянно вертелся, то и дело отпускал идиотские шуточки, а под настроение мог даже какую-нибудь пакость учинить.

Сначала я просто молча скрипела в сторону Димы зубами. Меня раздражало его раздолбайское отношение к жизни в целом и к учебе в частности. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг, и довольно скоро мне довелось испытать это на себе.

У Димы с русским языком — в смысле как со школьным предметом — дела, мягко говоря, обстояли не очень. Зато у него был папа, регулярно катавшийся по заграничным командировкам. Из них он постоянно привозил Диме какое-нибудь очередное диво дивное, чудо чудное: то модный рюкзак с непонятной, но очень крутой эмблемой, то спортивный костюм, переливающийся всеми цветами радуги...

Здесь следует пояснить, что речь идет о временах перестройки и жесткого дефицита, когда прилавки магазинов пустовали. Необходимый школьный инвентарь при случае покупался впрок — вдруг в ближайшее время завоза больше не будет... В шкафах пылились горы разноцветного картона, а на антресолях — рулоны миллиметровой бумаги, заблаговременно припасенные заботливыми родителями «на будущее», для еще одного кошмарного предмета под названием «черчение».

Лучше всего положение дел в то время передает наш разговор с одноклассницей Катей. Как-то раз, подойдя во время перемены к моей парте, она взяла в руки лежащую на парте красную ручку, поднесла к глазам, присмотрелась оценивающе, озабоченно поцокала языком... Потом спросила:

— У тебя сколько еще красных стержней осталось?

— Ну, где-то два-три... — ответила я, немного подумав.

— Беда, — вздохнула Катя, осторожно, словно стеклянную, возвращая ручку на место. — Этого не хватит до конца школы...

И вот аккурат на следующий день после этого трагического диалога Дима притащил в класс очередной отцовский заграничный презент — набор цветных ручек. Двенадцать — вы только представьте себе, *двенадцать!* — цветов.

Разумеется, ахнули все. Даже те, кто до сей поры делал вид, что ему начхать и на модный рюкзак с непонятной эмблемой, и на переливающийся спортивный костюм. Все сгрудились вокруг парты и по очереди аккуратно пробовали каждую ручку на гордо разложенной Димой бумажке.

Мы настолько увлеклись этим занятием, что не заметили, как прозвенел звонок, и в класс вошла учительница.

— Добрый день! — бодро сказала она. — Ну что, я надеюсь, все помнят, что сегодня у нас диктант?

— Ууу... — Из разочарованного вздоха, прокатившегося по классу, становилось ясно, что помнили-то о диктанте все, вот только от души надеялись, что сама учительница благополучно о нем забудет.

— В таком случае достаем двойные листочки и подписываем их, — невозмутимо продолжала учительница. По классу снова прокатился тяжелый вздох, все расселись по местам, и экзекуция началась.

Совершенно не помню, о чем в тот раз был диктант. Зато отлично помню, как после одного достаточно сложного предложения учительница склонилась над моим листочком и одобрительно кивнула. Сие обстоятельство не укрылось от зоркого Диминого взгляда, и он тут же внес аналогичное исправление в собственный труд.

— Ну, месье Дмитрий у нас, разумеется, тут как тут, — с усмешкой прокомментировала это учительница. — На ходу подметки рвет, не теряется.

За несколько минут до окончания урока, пока все проверяли собственные работы, я краем глаза успела высмотреть на листочке Димы еще пару ошибок, о чем и не преминула ему сообщить, многозначительно потыкав ручкой сперва в его каракули, а затем — в свои собственные. Димин радостный взгляд красноречиво дал мне знать, что благодарность его не имеет границ. А после урока он подошел ко мне и протянул раскрытый футляр с набором ручек:

— Выбирай любую!

Это была неслыханная щедрость, и девчонки, находившиеся рядом, тихо ахнули.

Я несколько секунд колебалась — мне больше всего нравились сразу две ручки, розовая и оранжевая, — но потом все-таки потянулась к розовой. Не решаясь взять, вопросительно взглянула на Диму.

— Бери, бери, — расплылся тот в широкой улыбке. — Это тебе в благодарность за помощь!

И мое трепетное девичье сердечко вдруг учащенно забилося — до этого момента я почему-то не замечала, что улыбка у Димы такая очаровательная...

На следующее утро, проснувшись раньше обычного и слушая завывающую за окном вьюгу, через которую мне предстояло впотьмах пробираться к школе на ненавистную математику, я вдруг с удивлением осознала, что мне абсолютно до лампочки и эта темень, и эта вьюга, и математика вкупе с вредной учительницей, и что я хочу только одного: снова увидеть Диму. Дело тут было, разумеется, вовсе не в ручках. Просто в голове после того, как Дима мне так открыто и искренне улыбнулся, словно щелкнул какой-то тумблер. И все его шутки вдруг показались мне смешными, проделки — забавными, а раздолбайское отношение к учебе, которое раньше меня бесило, чудесным образом превратилось вдруг в потрясающую способность никогда не унывать.

А может быть, уже в воздухе, несмотря на все еще бушующие метели, просто ощущалось

приближение весны.

С тех самых пор уроков русского языка — а особенно диктантов, сочинений и изложений — я ждала словно манны небесной. И дело вовсе не в том, что я надеялась «перехватить» у Димы еще какой-нибудь ценный презент. Просто мне было приятно сознавать, что рядом сидит человек, нуждающийся в моем покровительстве и моих знаниях... да еще с такой чудесной улыбкой! Именно тогда я впервые осознала, как приятно помогать людям, а в особенности — человеку, который очень тебе нравится.

Однако все хорошее на свете имеет печальную тенденцию рано или поздно заканчиваться. Учительнице, которая, так сказать, свела нас с Димой, в конце концов начала казаться подозрительной Димина безукоризненная грамотность во время письменных занятий и весьма сомнительная — во время устных, и она решила рассадить нас.

Это было словно удар под дых. Причем не только для меня, но и для Димы, у которого отныне вместо двенадцати оставалось только одиннадцать ручек, а вместо всегда гарантированной профессиональной помощи — фига без масла (ибо новая соседка, безусловно, с радостью помогла бы Диме, но, увы, с русским языком дела у нее самой обстояли далеко не лучшим образом).

Весь остаток того злосчастного дня я проходила словно в тумане, а вернувшись домой, написала свои первые стихи о несчастной любви.

*Мы учились в пятом классе.
Ты всегда сидел со мной.
И давал ты на проверку
Мне листочек свой двойной.
Хорошо нам вместе было,
Но однажды на беду
Нас училка рассадила,
И ты сел в другом ряду...*

Теперь мы уже больше не проводили с Димой бок о бок счастливых сорок минут несколько раз в неделю, а лишь изредка перебрасывались парой слов на переменах. И печаль моя не знала границ...

А в конце года стало известно, что Дима уходит из нашей школы. Насовсем. Это известие окончательно повергло меня в уныние, даже предстоящие летние каникулы не радовали. Честное слово, я готова была рвануть вслед за ним! Да только вот беда: в суворовское училище девочек не брали...

Наверное, для Димы наше остающееся в прошлом «взаимовыгодное сотрудничество» тоже что-то значило, потому что в последний день он вдруг подошел ко мне у всех на виду со словами:

— Это мой прощальный тебе подарок. На память.

Протянул ту самую оранжевую ручку, которая мне так нравилась. И улыбнулся.

На самом деле у этой так славно начавшейся истории было небольшое и печальное продолжение, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.

Что же касается ручек, подаренных Димой, то я расходовала их очень бережно. Я ими только темы уроков и заглавия параграфов в тетрадях выделяла, поэтому стержней хватило мне почти до самого выпуска.

Вячеслав Ерошенко. Лена-отличница

— Давай драться, — сказал мне Тимоха.

Из-за его спины (чуть выше поясницы) выглядывал Арбуз.

Я в ответ промямлил что-то типа «сам дурак».

Драться не хотелось: второй день в новом классе. Новый район (мы только что получили квартиру), новая школа.

— Давай, пошли во двор, — пропищал Арбуз.

Сергея Арбузов решительно не подходил к своей кличке. Вредный, худой и самый маленький в классе. Впрочем, нет — был еще Сева, примерно такого же роста.

Драка во дворе все же состоялась: минут пятнадцать мы с Тимохой сосредоточенно толкали друг друга со словами: «Ты че в наш класс пришел?» — «А че, это твой класс, что ли, купленный?» «Жестокое боя» как-то не получалось. Арбузу надоело на это смотреть, и он предложил пойти в магазин воровать детское питание. Не помню, воровали мы его или нет, но через две недели мы стали не разлей вода, и нас уже не видели поодиночке. Себя мы гордо называли «три мушкетера». Атосом назначил себя Тимоха, Арбуза мы, когда злились, дразнили Портосом, а я был Дартаньяном (именно так я писал тогда это слово).

Примерно тогда же Тимоха, сделав загадочный вид, сказал мне, чтоб я после физры остался в раздевалке. Это было приключение! Во-первых, меня явно собирались приобщить к Великой Тайне. Во-вторых, мы прогуливали следующий урок (что для меня, хорошиста и тихони, было событием). В-третьих, это окончательно доказывало, что я стал своим.

— Скучно чего-то стало, — сказал Тимоха. Потом подумал и добавил: — Надо в кого-то влюбиться. Всем троим.

— Дело хорошее, — поддержал его Арбуз. — На весь год развлекуха.

Ну, надо так надо. Я, в общем-то, был не против. Только вот как и в кого? Ну, это ж... не с бухты-барухты ведь влюбляются, правда? Только я в новом классе еще не всех даже по именам знал, тем более девочек.

— Будем жребий тянуть, — предложил «опытный» в сердечных делах Тимоха.

Тут я открыл рот: такой способ избрания Прекрасной Дамы (и, как я тогда думал, спутницы жизни) мне и в голову не приходил.

Тимоха деловито разорвал листок в клетку, написал на каждом клочке имена всех девочек в классе, свернул их в трубочки и сунул в мешок из-под «сменки».

— Тяни, — великодушно предложил он мне.

Вот так в раздолбанной и прокуренной раздевалке средней школы № 63 вершилась моя судьба. Я это чувствовал...

На листке, извлеченном из мешка, было написано «Лена Рабченко». А я даже не знал, кто это. У

Тимохи и Арбуза скривились физиономии. Они доходчиво объяснили, что Лена — отличница, задавака и дружить с ней неинтересно. То ли дело Машка Сидорова! Она и списать дает, и при удобном стечении обстоятельств ее полапать можно. Что такое «полапать», я, к стыду своему, тоже не знал.

Но мужское слово — кремень: как уговорились, так и будет! Мы тут же уселись писать Лене письмо. Что там было — убей, не вспомню. Что-то неуклюже-гордое. Типа «хоть ты и задавака, давай дружить. Три отважных рыцаря». Ну, или как там еще писали в романах? Дюма был тогда нашим учителем...

Вручить письмо было поручено мне. Это я сейчас понимаю, что сами они трусили, а тогда это казалось мне делом почетным. Возле класса на следующей перемене они мне показали: «Вот она», — и толкнули в спину. И почему вдруг этот звон в ушах?.. И ноги совершенно вот не гнулись, а губы будто замерзшие... Так я впервые увидел ее — девочку, которая снится мне до сих пор.

Арбузу и Тимохе скоро наскучило «дружить» с Леной, тем более что и дружбы-то никакой не было. А я, как дурак... За четыре года мы говорили с Леной раз пять. Может быть, шесть. Один раз я набрался храбрости и позвал ее в театр. Она согласилась. Что происходило на сцене, не помню. Почему-то ярче всего запомнилась ее коленка рядом с моей ногой в школьных штанах. Под тонкой кожей — красные прожилки. Она заметила мой взгляд, торопливо поправила край платья и покраснела. Меня тоже бросило в жар — это было первое в моей жизни сексуальное переживание...

Летом я дежурил под ее окнами. Прятался в кустах сирени, чтоб не заметили одноклассники. Иногда в окне на четвертом этаже можно было разглядеть ее профиль. Один раз я перехватил ее, когда вечером она шла выкидывать мусор. Молча отобрал ведро. До мусорных контейнеров и обратно она молча шла рядом со мной...

Классе в восьмом она вместе со своей подругой пришла ко мне в гости. Мы делали что-то типа стенгазеты. Проигрыватель, Окуджава...

Потом — другой класс (в той же школе). Потом — турсекция. Мы с Леной очень редко пересекались. Но когда даже случайно сталкивались возле булочной, мое горло перехватывала холодная рука.

А потом, прямо перед выпускными, я узнал что Лена — отличница (золотая медаль), самая младшая в классе (она, как и я, пошла в школу в 6 лет) — беременна. И собирается рожать. И поэтому не будет поступать в институт...

Через какое-то время я увидел ее мельком из окна автобуса. Она шла рядом с каким-то парнем, чуть ниже ее ростом. Я не успел рассмотреть, счастлива ли она...

Да, я забыл написать — она была самая красивая в классе. Просто не все это замечали... А мне она снится до сих пор. Но не та девчонка в коричневом фартуке, а моя ровесница, с которой мы вспоминаем школьную любовь, смеемся, какими были глупыми. Но даже во сне горло мне сжимает холодная рука...

Школа жизни

Вера Прокопьева. Как же я хотела пойти в школу!

22 июня 1941 года началась война. Мы жили в Орловской области, в 25 километрах от Орла в поселке Юдины дворы. К концу августа 41-го немцы захватили наш поселок. Два года тяжелой жизни, два года рабства.

Молодежь угнали в Германию. Отцы воевали на фронте. Остались дети, женщины, старики. На окраине нашего яблоневого сада немцы устроили окопы для своих танков.

В 1943 году началось наступление наших войск, фашистов погнали с Орловщины. Когда советские войска подходили к нашему поселку, немцы всё население — то есть женщин, детей, стариков, — погнали на запад, а поселок наш сожгли. Так и гнали нас немцы: мы бредем, по бокам идут фашисты с автоматами. А когда наши начинали стрелять, немцы выставляли нас, пленных, вперед — как живой щит...

После каждого сражения на поле оставалось много убитых стариков, женщин, детей... Так гнали нас фашисты больше двух месяцев. Нас было три сестры: трех, пяти и восьми лет — и мать. Мне было пять. И я своими маленькими ножками прошагала Орловскую и Брянскую области, и мы уже шли по Гомельской области, когда нас освободила Красная Армия. Как началось большое сражение, мать выкопала ямку, сунула туда нас, детей, и накрыла своим телом. И мы так лежали три дня.

Когда наши войска выбили немцев со станции, нашей радости не было предела: мы побежали встречать наших солдат. Они шли грязные, в пыли, крови, бинтах, но счастливые, улыбались нам. А матери плакали от счастья, что вырвались из плены, что живы.

И потом мы пошли назад, домой. Шли почти два месяца. Когда подошли к своему поселку — это было в конце октября, — увидели, что от него остались только печки и трубы: домов нет, сожжены. Женщины плакали, кричали, причитали. Ведь впереди зима, где жить?

Два года мы жили в соседней деревне в доме родственников, которых угнали в Германию. А когда летом 45-го те вернулись, нам пришлось уйти из их дома, потому что он был очень маленький.

Мы пошли в свой поселок. Мать напилела больших суков с фруктовых деревьев, с ракит, построила шалаш, и стали мы жить в шалаше. Нашли на пепелище нашего дома обгорелую кровать, подогнули ножки и поставили в шалаш. Другую кровать сделали из сучьев. В погребке нашли старый улей. До войны отец держал пчел. Этот улей поставили на бок, и получился стол. На нем ели, а внутрь ставили чашки. Еще на нашем пепелище мы нашли маленькую игрушку — белую фарфоровую собачку длиной с палец. У собачки была отбита передняя лапка.

Но эта единственная игрушка для нас, трех девочек, была ценнее всего на свете. Много лет мы хранили ее, берегли.

Моя старшая сестра закончила первый класс. Летом ученики копали торф для школы, чтобы в холода топить печку. Угля не было, так как все шахты были разрушены.

В школу брали с восьми лет, а мне еще не исполнилось, поэтому меня не записали в школу. А я так хотела!.. Я дома училась вместе с сестрой, умела считать и читать. Чтобы меня записали в первый класс, я стала помогать копать торф для школы. Торф — это большие куски земли примерно 20 20 20, а то и больше, мокрые, тяжелые. Старшие ученики копают в яме торф, подают наверх, а мы, мелюзга,

эти кубы оттаскиваем. Очень тяжелый труд.

Надо мной подсмеивались, подшучивали старшие дети: бери большие куски, а то не запишут в школу. И я пыхчу, с трудом тащу этот торф, стараюсь изо всех сил, только чтоб приняли в школу.

И вот наступило 1 сентября 1945 года. Мы пошли в школу. Меня сначала не приняли, но придти в школу разрешили, а к концу четверти оказалось, что я читаю лучше всех и считаю хорошо, и тогда меня записали. Я стала школьницей и очень этим гордилась. В школу мы ходили за три километра. Так как мы жили в шалаше, то уроки приходилось делать на улице, на пеньке. В шалаше темно. А пеньки, где спил, не гладкий, шершавый, писать очень трудно и буквы получались неровные. Да и сидеть на корточках, согнувшись около пенька, тоже неудобно. Но делать нечего. Я писала и плакала. И очень старалась, чтобы было хорошо.

А еще беда. Осенью дожди часто, у нас черноземы. После дождей много червячков дождевых. Я их очень боялась. Обувки не было. Ходили в школу босиком. Бегу, перепрыгиваю лужи, боюсь наступить на червяка, плачу. Ужас! А еще холодно, ноги мерзнут. Пока пробежишь три километра босиком, ноги отмерзнут, становятся красные, как у гуся. Прибежишь в школу, а там печка натоплена, тепло. Сядешь, ноги начинают отходить, покалывают. И когда отогреются, так хорошо становится.

В октябре мама осилила и купила мне галоши. Галоши — черные, блестящие, внутри мягкие с красной фланелькой. До чего хорошо: тепло, сухо! Когда я пришла первый раз в галошах в школу, все сбежались смотреть на эту красоту. До сих пор помню эти галоши.

У всех у нас после войны не было ни обуви, ни одежды. Ходили оборванными, в заплатках. А пальто нам шили из шинелей — неважно, русских или немецких солдат. Что нашли в окопах, тому и были рады. Эти пальтишки мы называли шинелишками. Я свою шинелишку носила до четвертого класса. Потом выросла, и ее стала носить моя младшая сестра.

Школа наша была в частном доме. За перегородкой жила женщина, а в комнате — класс. Вместо парт были длинные лавки. Высокая лавка — это стол, низкая лавка — чтоб сидеть. На лавку вмещалось шесть или семь человек.

Один учитель учил сразу два класса: первый и третий, или второй и четвертый. На двух лавках сидел первый класс, на следующих двух — третий.

Первым учителем у меня был Павел Ильич. Он привил нам любовь к знаниям, стремление учиться, познавать новое.

Когда копали торф для школы, Павел Ильич говорил девочкам, чтобы брали и таскали куски торфа поменьше, не надрывались. Берег нас.

В начальной школе были уроки пения. Музыкального инструмента никакого не было. Пел Павел Ильич, а мы ему подпевали. Пели всегда военные песни: «По долинам и по взгорьям...», «Раскинулось море широко», «Варяг» и др.

Павел Ильич говорил нам: «Учитесь лучше, старайтесь. Тогда наступит хорошая жизнь, вы будете нарядными ходить, конфеты будут у вас всегда». И мы старались. Мы так этого хотели. Всю жизнь вспоминаю его с большим уважением и любовью.

Владимир Рабинович. Спасибо, что поверил!

Что оставляет после себя человек? Рожденных детей, построенные дома, посаженные деревья, воздвигнутые плотины, проложенные трубы, пошитую одежду, написанные песни... Но самое важное, что оставляет человек, — это частичку своей души. Мы можем не помнить имя того, кто родил, построил, написал, но его душа видна, если она там есть. Мы можем не помнить, откуда в нас именно то, что мы имеем, почему мы такие, кто нас такими сделал, но частичка души того человека, который повлиял на нас, в нашем подсознании, внутри... и она определяет нашу жизнь и поступки.

Окончив восьмой класс, я собрался пойти в девятый. Производственные трехлетки тогда только начали организовывать. Но меня не хотели принимать из-за плохого поведения. Никого из учителей не прельщала перспектива возни с трудным подростком. Однако на педсовете, куда меня пригласили вместе с родителями, я поклялся не нарушать дисциплину. Последнее слово оставалось за директором, Петром Васильевичем Бурнашевым. Он принял меня в школу, несмотря на сомнения учителей, за что до я до конца своих дней буду ему благодарен.

В девятом классе у меня появился друг — Вовка Устинов. Мать Вовки умерла, и отец воспитывал его один. Отец — фронтовик, подполковник, начальник медсанчасти крупного ракетного соединения, находящегося километрах в десяти от города. Вовка частенько бывал у отца в части. А отец его еще с войны увлекался стрелковым оружием. Дома он держал карабин, малокалиберку и пистолеты разных марок. Доступ у Вовки к этим вещам, очень привлекательным для каждого мальчишки, был свободным. Мы с трепетом рассматривали оружие, и, конечно, у нас чесались руки проверить его в действии. В городе это было невозможно.

— А не пойти ли нам в лес на охоту? — как-то предложил я.

Эта идея Вовке понравилась.

— Надо только придумать, чем объяснить свое отсутствие на уроках, — осторожно заметил он.

— Ха, тут и думать нечего: зря, что ли, твой «папахен» главным доктором служит, — моментально сориентировался я. — Вот ты бланки с печатями и стяни, когда его в кабинете не будет. А мы их потом заполним. Родителям скажем, что пошли в поход с классом.

Вовка достал бланки, и мы, дождавшись, пока его отец остался ночевать в части, отправились на охоту.

В то время уральская тайга на севере Свердловской области была еще нехоженой. Доехали мы на поезде до глухой станции и поняли, что без лыж нам далеко уйти не удастся. Шли по снежной целине и скоро выдохлись. Хорошо, что в лесной чаще наткнулись на небольшую хижину — зимовье охотников. Мы несказанно обрадовались, потому что там были дрова, чай, сахар и запас продуктов — консервов и круп. А также водка.

Растопили печку, вскипятили чай, разлили в жестяные кружки понемногу водки и открыли консервы. В тепле от выпитого нас разморило, и мы уснули на широких лавках, стоящих вдоль стен, крепким сном праведников.

Потом, через много лет, я удивлялся, как нам повезло. Не заблудились в лесу, не замерзли, не перестреляли друг друга, нашли зимовье охотников. Даже выпив водки, не опьянели сильно с непривычки и ничего не натворили.

Мы смело принесли справки о нашем отсутствии в школе по болезни, которые сами и заполнили, применив при этом свои детские познания в медицине. Однако на классного руководителя наша липа не произвела никакого впечатления. Сразу два ученика заболели одной болезнью и принесли справки, где стояла печать воинской части? Поднялся скандал, родителей вызвали в школу, нас вынудили признаться во всем. Вовкин отец тут же отвез оружие в часть.

Мне, как злостному хулигану «со стажем», грозило исключение из школы. О том, что ничего в жизни не бывает случайного, дошло до меня значительно позднее, но, конечно, не тогда, когда я сидел напротив учителя математики Бориса Соломоновича Гельруда в одном из пустых классов.

Занятия уже закончились, и в школе наступила непривычная тишина.

Математик учил еще мою старшую сестру и никак не мог поверить в то, что я такой непутевый.

— Владимир, давай поговорим по-мужски. Хочу, чтобы ты понял: дело весьма серьезное. У тебя есть два пути: первый — тебя исключают из школы, на работу по малолетству никуда не принимают, и ты сидишь на шее родителей, у которых на тебя нет миллионов. Твоим домом становится улица. Чем это грозит, ты знаешь лучше меня.

Второй — ты оканчиваешь школу и поступаешь в институт, я готов помочь тебе в учебе. Смогу договориться о переводе тебя в свой класс. Не хочу давить и заставлять выбирать то, что тебе не по нраву. Ты должен решить все сам. И еще: я не стал бы разговаривать с тобой, если бы не был уверен, что ты умный и способный человек.

Последняя фраза оказалась тем самым ключиком, который открыл мою душу, прежде наглухо закрытую болезненным подростковым самолюбием и боязнью унижения.

— Мне не нужно помогать в учебе, сам справлюсь.

Этим заявлением, похожим на вызов, я безотчетно убивал двух зайцев: демонстрировал свою независимость и гордость, с одной стороны, и согласие на устраивающий меня второй вариант — с другой.

— Ну вот и прекрасно, я не ошибся в тебе.

— Но у меня есть условие.

— Ух, ты даже способен поставить условие. И в чем же оно заключается?

— У меня есть друг Вова Устинов, я хотел бы учиться с ним в одном классе.

— Понимаю тебя, это сложнее выполнить, но я это условие принимаю.

Через два дня нас с Вовкой перевели в класс Бориса Соломоновича.

Этот класс считался лучшим из десяти девятых классов трехлетки — в него со всего города собрали одаренных ребят, завоевавших на конкурсах и олимпиадах по математике призовые места. Из них должны были готовить программистов вычислительных машин (компьютеров тогда еще не было). Я такой математической одаренностью не отличался, но для Б.С., по-видимому, это не имело большого значения.

Уровень мотивации к учебе в классе был действительно высоким, особенно на фоне всеобщей

ученической безалаберности. В этой атмосфере я быстро перековался. Ребята подобрались дружные, умные, все за одного. Мероприятия проводили вместе: вылазки за город, походы, викторины, вечера отдыха, поездки в далекие города. Эту атмосферу мы сохранили на долгие годы, когда школа осталась уже далеко позади.

На летних каникулах я работал в геологоразведке и заработал первые деньги. Купил подарки всем членам семьи и часть заработанного оставил про запас.

Деньгигодились уже через несколько месяцев. Во время зимних каникул «Соломон», как звали Бориса Соломоновича за глаза ученики, решил свозить класс в Москву. Там он договорился с директором одной из московских школ, бывшим своим сокурсником по Московскому педагогическому институту, о проживании учеников в пустой школе во время каникул. Все запаслись спальными мешками, потому что спать предстояло на полу.

«Соломон» зачитал список учеников, которые едут в Москву: меня и Вовки Устинова в этом списке не оказалось.

— Борис Соломонович, почему нас не берут в Москву? — спросил я.

Мой прямой вопрос требовал такого же прямого ответа, который Б.С. дать не мог.

— Видишь ли, билеты приобретены в вагон для некурящих, а вы курите, — отшутился он.

Я, конечно, не был удовлетворен таким ответом, но из-за своей гипертрофированной гордости переспрашивать не стал. Лишь значительно позже узнал причину.

Зимой уроки физкультуры проводились на лыжах в недалеком хвойном лесу. Лыжами все увлекались тогда на Урале повально, инвентарь закупала школа. Ботинок специальных еще не изобрели, крепление состояло из сыромятного ремешка, вдетого в сквозное отверстие в лыже. И уже в него вставляли ногу в валенке и привязывали веревкой.

Нужно было бежать на лыжах дистанцию в пять километров по накатанной трассе. Мы с Вовкой пробегали треть дистанции, садились на пенек и курили, ждали, пока все ученики пробегут мимо. Потом, не торопясь, вставали на лыжи и бежали не по трассе, а напрямик, срезая ее чуть ли не наполовину. Наст, если погода была морозная, держал хорошо. Мы рассчитывали придти с основной группой, не отставая, но и не забегая вперед, чтобы не заметили. Но, видимо, кто-то выдал. Всегда находится такой человек — из зависти ли, или для того, чтобы выслужиться...

Нас вызвали «на ковер» к директору, где мы писали объяснительные записки. По итогам четверти нам поставили четверки по поведению.

Б.С. не мог включить нас, с четверкой по поведению, в список для поездки в Москву, ведь она была как поощрение и частично оплачивалась Городским управлением образования.

Однако я с детства был мальчиком решительным и упрямым.

— Слушай, Устин, а что, если мы поедем в Москву сами?

— Как это сами? — Вовка непонимающе смотрел на меня.

— Да так: сядем в поезд и поедем.

— А деньги, а родители, а...

— У меня есть немного денег, на поездку хватит, будем экономить. А ты возьмешь у отца. Скажем предкам, что едем в Москву всем классом. Проверять они не будут: мы уже взрослые.

Такой дерзости от меня никто не ожидал. Вовку я позвал с собой потому, что вдвоем казалось менее страшно, все-таки первый раз уезжаем так далеко от дома сами, да еще тайно. Родителям мы, конечно, сказали, что едет весь класс с Борисом Соломоновичем.

Встретили мы наших ребят на Красной площади. Они были очень удивлены, а Б.С. спросил, что мы здесь делаем. Мы ответили, что в Москве проездом. Это было, конечно, натуральное вранье, и Б.С. это понял. Но, как мудрый педагог, не стал славить нас родителям, когда возвратились из поездки.

Хорошо, что билеты были куплены заранее и гостиница оплачена. К концу нашего путешествия денег не осталось вовсе. В поезде, в целях экономии, мы взяли одну постель на двоих. Купили на последние деньги две банки кукурузы и растянули их на все время возвращения. За двое с половиной суток, которые поезд шел от Москвы до Урала, похудели изрядно.

Благодаря Борису Соломоновичу я сумел успешно окончить школу, хотя учился на троечки. Из всех предметов выделял только литературу и немецкий. Учительница русского языка и литературы меня обожала, и я этим пользовался без тени смущения. Мне одному позволялось писать сочинения на любые темы. На уроках частенько кропал учительнице стихи, она знала об этом и редко спрашивала меня по учебной программе. На перемене отдавал ей свои стихотворные наброски. Учительница отнекивалась, но листочки, вырванные из ученической тетради, брала. То, что было положено по программе, я учил небрежно, писал только на свободную тему, и это сослужило мне позже плохую службу.

При поступлении в институт пронесся слух, что свободной темы на вступительных экзаменах не будет. Мне это грозило «завалом» экзамена, но тема свободная, к счастью, была.

Перед школьными выпускными экзаменами Б.С. собрал класс и рассказал, что нужно постараться сдать экзамены как можно лучше, тогда в аттестате будут хорошие оценки. Мы активно обсуждали: кто и в какой вуз хочет поступать, где какой конкурс и как учитываются оценки аттестата зрелости.

Я возразил Б.С., что у меня тройки по большинству предметов, и результаты выпускных экзаменов не повлияют на оценки в аттестате. Тогда он сказал:

— Ты неправ, Володя. Если сдашь экзамены хорошо, то оценки значительно улучшатся.

— Значит, если у меня по истории была все годы тройка, а сдам этот предмет на пятерку, то...

— Если сдашь на «отлично», то есть вероятность, что будет пятерка в аттестате.

— Этого не может быть! — возразил я.

— Я тебе обещаю.

Из принципа я решил сдать все предметы на «отлично». Никуда не выходил из дому весь экзаменационный месяц, спал по четыре-пять часов. Учил, учил, учил. Получил «пятерки» на всех экзаменах, кроме одного.

Борис Соломонович сдержал слово: оценки в моем аттестате значительно повысились.

Я с успехом окончил школу, поступил в институт, а потом и во второй. Три года с Учителем — вот так, с большой буквы! — были одним из самых ярких периодов моей жизни.

Последний раз видел его в 1989 году, когда прилетал на двадцатипятилетие окончания школы. Мы пили в компании повзрослевших и постаревших одноклассников, многих я едва вспомнил, и он все время подначивал меня насчет кооператива, который я к тому времени создал. Он был такой же живой и энергичный, но какая-то печать потусторонности уже лежала на его лице.

Через десятки лет, с грустью разглядывая мутноватое черно-белое коллективное фото, я с трудом вспоминал имена и фамилии одноклассников.

Минуло еще четверть века. Я уехал в другую страну. О том, что Учитель умер, узнал случайно.

Остались у меня только старые черно-белые фото. Да и их я смотрю редко...

Елена Литинская. На Большой Семеновской

В 1955 году мы переехали в Мажоров переулок у Большой Семеновской, и я пошла в первый класс. Время, надо сказать, было унылое, какое-то серое. Ученики носили школьную форму. Белые воротнички меняли раз в неделю, а коричневые платья и сизые гимнастерки не стирались месяцами. В классах тошнотворно пахло потом. Девочкам предписывалось заплетать волосы в косички с бантиками. Мальчиков, как арестантов или новобранцев, брили наголо. Даже чубчик а-ля Тарас Бульба оставить запрещалось. К третьему классу волосы милостиво разрешалось чуть-чуть отрастить.

Школа № 425, что на Большой Семеновской, была обычной средней школой, не самой хорошей и не самой плохой в Москве, но наш класс 1-й «Б» оказался прямо-таки ниже среднего. В классе было более сорока учеников, из них несколько второгодников, три отличника, человек пятнадцать хорошистов и троечников, а остальные, как на подбор, — сплошная серая масса, состоящая из тугообучаемых, проблемных детей, которых и на второй год оставлять бессмысленно.

Учительница начальных классов, А.В., была женщиной средних лет, отнюдь не привлекательной внешности и весьма сурового нрава. Она ухитрялась говорить, раскрывая рот, но почти не разжимала челюсти, демонстрируя вставные зубы. Ее оскал весьма отдаленно напоминал улыбку. За свирепый нрав и плотно сжатые челюсти ей было дано прозвище «горилла». А.В. носила почти всегда одно и то же платье зеленого цвета в крупную клетку, черные туфли-лодочки, которые были ей великоваты и, спадая с ног, звучно цокали, когда она медленно и гордо несла себя по школьной лестнице. Единственным украшением учительницы был белый газовый шарфик, кокетливо завязанный на увядшей шее. А.В. благоволила к отличникам и старательным ученикам. К двоечникам и тупоголовым была беспощадна. Могла оттащить ученика за ухо и даже стукнуть по голове линейкой или костяшками пальцев. Никто и пикнуть не смел, а о том, чтобы пожаловаться родителям, и подумать не могли.

В нашем классе было скопище занятных фамилий. Любимец А.В. — отличник и староста класса — носил веселую огородную фамилию Морковкин. Один из двоечников выделялся ласковой фамилией Кошечкин, да и похож он был на черного худенького котенка. Другой двоечник, низкорослый, угрюмый, низколобый мальчик, не произнесший в классе ни одного слова, носил совсем неблагозвучную фамилию — Сбродов.

Я сидела за партой с круглолицым, как блин, мальчиком по имени Коля Валин, которого мы дразнили Валя Колин. Моей миссией было подтягивать Колю-Валю по арифметике и русскому языку. Несмотря на мои и Колины-Валины старания, его все же оставили на второй год.

А.В. относилась ко мне хорошо, пожаловаться не могу. Но предписание есть предписание. В классном журнале на последней странице указывались анкетные данные учеников: день и год рождения, адрес, телефон, имена-отчества родителей и т. д. В том числе была графа «национальность». Как-то раз во время классного часа А.В. стала вызывать нас, первоклассников, к учительскому столу и задавать личные вопросы для заполнения анкеты. Дошла очередь и до меня.

— Какая твоя национальность, Литинская? — спросила без всякого подвоха учительница.

Я призадумалась и ничего умнее не нашла, как прикинуться наивной дурочкой и промямлить:

— Не знаю! — хотя прекрасно знала, что я еврейка, что мои дедушка и бабушка — еврейские актеры в Варшаве, что моя другая бабушка разговаривала на нашей старой квартире с соседкой Ревеккой Абрамовной на идише. Я все это знала, но мне почему-то совсем не хотелось сообщать об этом учительнице для записи в классном журнале. Чувство интуиции подсказывало мне, что еврейкой быть нехорошо, даже стыдно, что меня будут дразнить за глаза или в глаза и что лучше пока этот вопрос оставить открытым.

— Не знаешь? — удивилась А.В. — Ну, спроси своих родителей. В следующий раз мне скажешь.

— Мам, А.В. спросила, какой я национальности, — сообщила я вечером маме.

— А ты разве не знаешь? — удивилась мама.

— Я-то знаю, но зачем это нужно писать в журнале, не понимаю.

— Я тоже не понимаю. Но раз надо, значит надо. Скажи ей, что ты еврейка, и дело с концом.

— Не скажу! — упрямилась я. — Пускай вызывает вас с папой. Сами с ней разбирайтесь. — Голос мой дрожал, и я вот-вот готова была зареветь.

— Ну, что ты, моя маленькая! Не расстраивайся! — запричитала мама. — Быть еврейкой совсем не стыдно. Надо гордиться этим, а не плакать.

— Ты не знаешь, не знаешь! Переведи меня в английскую спецшколу, ну пожалуйста! — умоляла я, предполагая, что обстановка там будет лучше и по крайней мере я не окажусь единственной еврейкой в классе.

А.В. больше не задавала мне вопроса о национальности, и в этой графе у меня какое-то время зияла пустота, которая в один не очень прекрасный день сама по себе заполнилась словом «еврейка». Впрочем, все ребята и так знали, кто есть кто, и мне доводилось неоднократно ощущать на собственной шкуре нелегкое бремя моей древней, но непопулярной национальности. Витя П., сидя за партой впереди меня, частенько оборачивался и в приступе гордого национализма высовывал язык и повторял, как заклинание: «А я — русский, русский!» На что я реагировала с вызовом: «И все равно — идиот!» В благородном порыве защитить меня и возвысить одна из моих подруг Наташа Б. шипела Вите в ответ: «Молчи, кретин! Ленка совсем не похожа на еврейку». Это был лучший аргумент, на который она была в такие минуты способна. Тут вклинивался в разговор Валера Г. и многозначительно заявлял:

— А моя бабушка сказала, что даже Лазарь Каганович — еврей. — После такого довода все умолкали.

Наташа была из очень бедной семьи. Жила вместе с матерью, женщиной свободных нравов, в двух проходных комнатках, в которых кроме дивана, шкафа, кровати и стола со стульями другой мебели не припомню. Наташа рано познала, что такое секс. В пятом классе она с отчаянной бравадой описывала мне подробности своих отношений с мальчиками старших классов.

Несмотря на бравладу, Наташа сознавала, что растет в гадком омуте, и старалась из него выбраться, подружившись со мной. Во мне она вызывала противоречивые чувства. С одной стороны, чувство дружбы, сопереживания и стремление помочь, с другой — брезгливость и даже гадливость. Она частенько теряла ключ от квартиры (или ее мать просто выгоняла из дома) и, бывало, прибегала к нам в воскресенье с утра пораньше, когда мои родители еще лежали в постели. Воскресенье тогда был единственным выходным днем, и папе с мамой хотелось выспаться, а тут — звонок в дверь, и на пороге — Наташка, зареванная, голодная... Родители вставали, приводили себя в порядок, и мы все садились завтракать.

Что такое антисемитизм? Заразная болезнь или свойство души, вошедшее в плоть и кровь младенца с молоком матери? Не знаю. Несмотря на привязанность к нашей семье, Наташа также страдала этим недугом. Как-то мы повздорили. И она не удержалась и бросила мне в лицо резкое «Ну, ты, еврейка!» Я ничего ей не сказала в ответ, но перестала разговаривать и вообще замечать ее. Мы не общались несколько месяцев, а потом пионервожатая Валя сумела нас помирить. Для Вали, как и для многих, слово «еврейка» было ругательным. И она приняла абсолютно «гениальное» решение, приказав Наташе вообще никогда не произносить этого слова и попросить у меня прощения. Наташа раскаялась в содеянном, попросила у меня прощения, и я, конечно же, простила ее... Вот так решился еврейский вопрос в нашем классе. Слово «еврейка» стало запретным.

Как и все советские дети, мы с благоговением относились к вождям мирового пролетариата: Марксу, Энгельсу, Ленину и Сталину. Портреты вождей висели в каждом классе, в учительской и актовом зале. Однажды подходит ко мне другая моя подруга, Люся Г., показывает рукой на портрет Сталина и громко говорит:

— Мой папка сказал, что он плохой.

— Ты что, обалдела, что ты такое говоришь? — прошептала я в негодовании.

— Плохой, плохой! Не веришь — спроси у своего папки, — со знанием дела предложила политически подкованная Люська.

Я еле дотерпела до конца уроков, чтобы по дороге не расплескать эту потрясающую весть и донести до мамы. Дома мама подтвердила справедливость слов Люси и простыми и понятными словами, как умела, рассказала мне о прошедшем XX съезде партии и разоблачении культа личности Сталина.

— Что же ты мне раньше не сказала? — возмутилась я. — Я перед Люськой выглядела как серость необразованная.

— Пусть лучше об этом вам в школе учителя рассказывают, — ответила мама. — А то я скажу что-нибудь лишнее, ты расскажешь своим подругам, и потом бог знает, что будет... — Мама не могла забыть 37-й год, когда ее тетю арестовали и расстреляли.

В пятом классе стало как-то интереснее, живее, не так беспросветно. Все, кто мог остаться на второй год, уже остались. Все, кто нуждался в специальном обучении, уже отсеялись. Добавилось несколько способных, симпатичных ребят, из которых я выделяла одного. Звали его Володя Х. Меня привлекали его хорошая успеваемость, недрачливый нрав и большие выразительные ярко-голубые глаза, которыми он иногда бросал на меня смелые взгляды. Он что-то хотел мне сказать этими своими огромными голубыми глазами, но, увы, так ничего и не сказал — до конца пятого класса. А потом мы переехали на другую квартиру и меня перевели в другую школу.

В пятом классе мне повезло также и с учителями. Наиболее яркой личностью был учитель математики — Г.И. Он был инвалидом войны, после контузии, и это, бесспорно, сказалось на его эксцентричной манере преподавания. Но предмет свой он знал блестяще и удивлялся с, мягко выражаясь, грубоватой для учителя непосредственностью, если кто-то чего-то не понял.

Например, вызывает он к доске девочку Машу. Просит решить задачку по элементарной алгебре, а девочка ни в зуб ногой. Терпение Г.И. лопается, и он громко и с выражением восклицает на весь класс: «Ка-ка-я дура! Иди на место». Бедная Маша покрывается от стыда и позора красными пятнами и покорно садится за свою парту. А класс веселится, не проявляя к бедной Маше ни капли сострадания. О жестокосердная юность!

А бывало и так. Объясняет Г.И. новый материал, а потом спрашивает отдельных учеников, как, мол, поняли. Одного спрашивает — не понял, другого, третьего... Не поняли. Ну, и в сердцах бросает фразу, запомнившуюся мне на всю жизнь:

— Да откуда вы такие взялись? Сетями, что ли, вас по Москве ловили?

Еще запомнилась мне наша классная руководительница, учительница русского языка и литературы — Г.В., молодая женщина лет тридцати, красивая, почти как Марина Влади. Ее муж был лет на двадцать старше, представительный, удобный для жизни, но явно ею не любимый. Была она беременна, но глаза ее не светились радостью предстоящего материнства. Г.В. целиком сосредоточилась на своей не слишком удавшейся личной жизни и тащила воз преподавания как унылую обязанность. Ученики ее не любили, и кто-то в отместку за «двойки» взял да и сжег «святая святых» — классный журнал. То-то шуму было в учительской!

Географию преподавала симпатичная, спокойная женщина — Е.А. Несмотря на простое русское имя-отчество, видно было, что она была еврейского происхождения, но моих одноклассников это не смущало. Возможно, к пятому классу они духовно выросли, да и время начиналось новое — шестидесятые годы, пик хрущевской оттепели. Антисемитизм не то чтобы испарился, но как-то ушел на задний двор сознания. Географичка и математик дружили... Об их «дружбе» шушукалась вся школа. Когда у Е.А. случалось «окно», она частенько приходила к нам в класс на урок Г.И. И наоборот. Вот такие настали времена, и наша свирепая директриса по кличке Джага смотрела на эти вольности сквозь пальцы.

Прожили мы в Мажорове переулке, худо-бедно, шесть лет. А может, вовсе даже не худо и не бедно. Побывав у меня в гостях, Люся Г., семья которой жила в бараке, пустила слух, что «Литинская живет богато». Таким образом, если согласиться с Люсей, мы прожили эти шесть лет «весьма богато». А потом папе дали от работы аж самую настоящую, отдельную однокомнатную квартиру. И переехали мы на Пресню. Но это уже следующая глава моих воспоминаний...

Владимир Неробеев. Загубленный талант, или О вреде курения

Благодатны наши края воронежские! Чер-но-зе-ем! У нас издавна говорят: весной оглоблю в землю воткнул, осенью — телега выросла. И с духовностью и талантами все в порядке! Вспомните того же Митрофана Пятницкого: свой знаменитый хор он собирал в нашей деревне. Да у нас в каждом дворе поют. Говорок певучий, поэтический к этому располагает. Вот примерно так звучит разговор мужа с женой ночью, спросонок:

— Манька-яя, глянька-яя, штой-та шуршить? Не сынок ли Федя на машине к нам едя-яя?

— Будя тебе! Скажешь тожа-аа... Эт вить мышонок твой ботинок гложа-аа.

Очень ладный говорок. Оттого, наверное, у нас стишок какой или частушку сочинить проще простого: был бы повод, хотя бы махонькая зацепка.

Как-то мой дядя с приятелем (они тогда еще парнями были) под семиструнку репетировали частушки для концерта художественной самодеятельности. Репетируют, а по радио в известиях передают: “В Советском Союзе запущен спутник с собакой на борту”. Петька Поп, дядин приятель, тут же подхватил:

— *До чего дошла наука:
В небесах летает сука!*

В общем, вы поняли, в каких краях я родился: родина Кольцова, Никитина, Тургенева, Бунина. Куда ни кинь — сплошные таланты. Куда ни плюнь — попадешь в поэта либо в композитора. Как не крути, даже если и не хочешь, — ты обречен быть талантом. Лично мне жизнь сулила быть знаменитым поэтом, но одна закавыка помешала.

Уже в начальных классах (а было это в начале далеких пятидесятых) я стал сочинять стихи. Сочинил как-то, переписал их на чистый лист и решил послать в «Пионерскую правду». Послать-то можно, только сначала кто бы ошибки в них исправил: грамотей-то я никудышный (до сих пор). Вот на перемене шмыгнул в кабинет директора.

— Стихи!.. Это хорошо. — одобрил меня Аким Григорьевич, директор наш. — Стоящее дело! Это лучше, чем целыми днями бить баклуши.

Помолчав немного, читая стихи, добавил:

— Иди, я проверю ошибки и принесу.

На уроке математики он вошел в наш класс. Видать, судьба так распорядилась, что речь о моих стихах зашла именно на математике. Перед этим уроком на большой перемене со мной произошел конфуз, о котором узнаете чуть позже.

Как только Аким Григорьевич вошел в наш класс, у меня где-то под ложечкой сразу похолодело, словно я мороженого переел. Нутром почувствовал: эх, не ко времени я затеял дело со стихами! Нужно было денек-другой погодить. Говорить о моих стихах на математике при учителе Василь Петровиче?! У этого человека не язык, а бритва — не почувствуешь, как бреет под ноль (хватать, хватать, а ты уже лысый!). Нет, не ко времени я со своими стихами.

— Ребятки, — обратился к нам Аким Григорьевич, жестом руки велел нам садиться. — Я всегда считал, что вы замечательные люди... — Надо сказать, что директор наш был романтиком, в своих

речах любил «подъезжать» издалека. — Не знаю, кто кем из вас станет, но уже сейчас некоторые сидящие среди вас... — И так далее, и тому подобное...

И прочитал стихи, не называя автора. Сказал по поводу газеты. В классе воцарилась тишина. Василь Петрович, глядя на директора немигающим взглядом, от удивления деревянный циркуль уронил на пол. Вскоре ребята оживились, кто-то даже захлопал в ладоши, стали оборачиваться друг на друга, искать глазами, кто бы мог написать эти стихи. Под одобряющие голоса класса Аким Григорьевич назвал-таки автора, то есть меня. Последние слова будто электрическим током выпрямили сутулую фигуру Василь Петровича. Он изменился в лице, подошел к директору и взял листок со стихами. Он не читал их, а медленно и основательно обнюхивал каждый уголок бумаги, вертел в руках так и эдак и снова обнюхивал. Поведение учителя математики заинтриговало ребят. Директор же застыл в немой позе.

— Нет! — отрицательно покачав головой, наконец произнес Василь Петрович. — Эти стихи... — нюххх-нюххх... — не напечатают... — нюххх-нюххх... — в газете...

— Почему? — удивился директор, забрал у Василь Петровича стихи и тоже стал принюхиваться к бумаге. А учитель математики — как всегда в таких случаях, чтобы скрыть эмоции на лице, — отвернулся к доске и стал чертить циркулем фигуры. Мол, моя хата с краю, ничего не знаю...

— Почему? — недоумевая, повторил Аким Григорьевич.

Ученики, как галчата, рты пооткрывали: ничегошеньки не понимают. Больше всех, конечно, переживал я... И не только по поводу стихов.

Василь Петрович, выдержав актерскую паузу столько, сколько этого требовали обстоятельства, быстро метнулся от доски к столу.

— Да потому что вот! — Он достал из своего портфеля пачку папирос «Север» и швырнул ее на журнал. Все, кроме директора, знали, что это моя пачка, только что на перемене конфискованная Василь Петровичем. Пачка новенькая, не мятая: всего-то одну папироску удалось мне выкурить из нее. Глядя на нее, я глотал слюнки, а учитель математики резал правду-матку:

— Да потому, что от его стихов за версту несет куревом.

При этих словах директор сразу принял сторону учителя, начал поддакивать ему, для убедительности приложился еще раз носом к листу бумаги. За партой кто-то ехидно хихикнул в кулачок, а Василь Петровичу того и нужно было. Он продолжал разносить в пух и прах юное дарование:

— Что ж там, в газете, дураки, что ли, сидят? Сразу догадаются, что автор этих стихов (кстати, недурственных) курит с пяти лет... Посмотрите на него! Он уже позеленел от табака! Его впору самого засушить под навесом и измельчить на махорку!

И пошло-поехало! То прямой дорогой, то пересеченной местностью. Укатал математик лирика вдрызг!

Аким Григорьевич был добрее. Старался притушить пожар страстей и сгладить резкость упреков. Даже все-таки посоветовал послать стихи в «Пионерскую правду».

— Может, и напечатают, — подмигнул он мне одобряюще.

Правда, однако, оказалась на стороне учителя математики: стихи мои не опубликовали, хотя ответ из газеты пришел. В нем ничего не говорилось по поводу курения, как, впрочем, и о качестве стихов. Витиеватым тоном литературный сотрудник газеты Моткова (инициалы, к сожалению, запомнил) намекала мне показывать во всем пример другим ребяташкам, к чему, собственно говоря, призывал и Василь Петрович.

Светлана Муромцева. Он ведь с красным знаменем цвета одного!

Октябренком мне быть не довелось. В городке Острино в октябрюта вступить я не успела, а в Минске процесс политизации первого «Д» класса, по-видимому, уже состоялся до моего приезда. Опоздала. Ко времени моего появления в Минске все одноклассники уже были украшены красной звездочкой с анодированным, ядовито-желтым кучерявым Володей в центре. У меня звездочки не было. Как принимают в октябрюта, я потихоньку выяснила у соседа по парте. Оказывается, надо, чтобы был важный праздник 7 Ноября. В этот великий день, по словам Миши, требовалось прийти в школу нарядным, чисто вымытым и принести с собой эту самую звездочку. Потом на торжественной линейке такие же нарядные и чистые пионеры, то есть практически уже взрослые, состоявшиеся люди, прикалывают к твоему передничку красную звезду. И все: ты уже октябренок.

Несколько удивило то, что звездочку надо было принести с собой. Мне казалось, что это орден, которым должны торжественно награждать. То есть подарить, как дарят все нормальные ордена и медали. Второе. Где взять такую вещицу? Неужели столь важные ценности могут запросто продаваться в магазинах? Если да, то в каких? Не в гастрономах же. И главный вопрос: мне что, ждать опять 7 Ноября?! И целый год ходить неизвестно кем, быть каким-то изгоем?

Спросить у строгой Натальи Петровны, как мне быть, и в голову не приходило. Еще выяснится, что я вообще не имею права ходить в класс, где все, кроме меня, — октябрюта.

Отсутствия на мне звездочки никто не замечал. Более того, я увидела, что некоторые одноклассники не всегда надевали этот знак отличия.

Мой старший брат первые пять классов учился в городе Дрогобыч, на западной Украине. Там у них вообще все было по-другому. И потом, он был уже настолько старым пионером, что даже красный галстук носил преимущественно в кармане. К нему со своими вопросами не подойдешь: обсмеет.

Так я и мучилась в одиночку, ощущая себя неполноценным человеком, да к тому же обманщицей.

Мучиться пришлось долго: аж до следующего великого праздника — Первое мая, с которым ко мне пришла настоящая беда. Наталья Петровна объявила, что состоится общешкольная торжественная линейка, на которой надо быть при полном параде. То есть опять-таки: чисто вымыть руки, уши и девочкам завязать исключительно белые банты на головах (даже тем, которые носили стрижку), надеть белые парадные передники и — обязательно! — приколоть октябрютскую звездочку. Вот ее, звездочку, не забыть ни в коем случае!

Вот так дела... Мало того, что у меня просто не было этой чертовой звездочки, так я еще и не имела права ее носить. Наверно, не имела. И не скажешь никому: тогда всё обнаружится и величайший позор обрушится на мою бедную голову. На линейку меня точно не допустят, даже если я вымою руки и уши не просто мылом, а со стиральным порошком.

Прибежав домой, я быстренько кинулась перебирать мамины брошки: вдруг да найдется что-то,

напоминающее звезду. Одна ерунда всякая: какие-то цветочки, квадратики, бантики, да и те — синие, зеленые, фиолетовые. Ничего пятиугольного и красного не было. Попался на глаза большущий кусок янтаря, привезенный летом из Паланги! Вот оно! Он был темно-оранжевым, почти красным и размером как раз таким, как надо!

Вытащив папины тиски, не без труда я приспособила их к кухонному столу (семилетний ребенок, девочка!). Зажав с трудом в тисках кусок янтаря, принялась треугольным рашпилем выпиливать из него предмет нужной формы. Дело оказалось не таким уж простым: рашпиль царапал янтарь вкривь и вкось, отчего тот становился некрасивым, тусклым и никак не хотел напоминать звездочку. За этим занятием, всю грязную, лохматую, исцарапанную и мокрую от трудового пота, и застал меня брат. Пришлось сознаваться.

Хорошенько отсмеявшись и подняв с пола выроненный от смеха портфель, брат куда-то ушел. Вернулся быстро. На его раскрытой ладонке прямо перед моим носом сверкала настоящая октябрятская звездочка, которая и была мне немедленно вручена. В ответ на мой идиотский вопрос:

— А имею ли я ПРАВО ее надеть? — последовал очередной взрыв братского хохота:

— Цепляй на грудь, да и носи! Нужна ты им...

Мой мудрый брат был старше меня на целых пять лет, в том далеком 1965-м он многое понимал и уже знал настоящую цену разным вещам, про которые я по малолетству понятия не имела.

И вдруг наступила весна! Яркое майское солнце било толстыми лучами прямо на стол, где валялся испорченный янтарь. В открытую форточку, вместе с громким пением птиц, ворвался теплый свежий ветер, на мокнувшей в стакане ветке раскрылись настоящие маленькие зеленые листья! Мир опять сделался большим и красивым.

На первомайской торжественной линейке я стояла в белом переднике, на голове красовался огромный белый бант, а на моей груди сверкала новенькая звездочка. И я поняла важную вещь: счастье в том, чтобы быть как ВСЕ.

Потом принимали в пионеры. В первый эшелон меня не записали, несмотря на то что я училась хорошо и ничего не нарушала.

Потом опять принимали в пионеры, а я простудилась и проболела это событие, отлеживаясь дома с перевязанным горлом.

И потом принимали в пионеры уже последних: второгодников, просто двоечников, нарушителей и прочий асоциальный элемент. По злой иронии судьбы я опять болела — на сей раз каким-то гастритом.

Так мне и не удалось стать пионеркой, несмотря даже на то, что «Клятву юного ленинца» я заранее добросовестно выучила: к тому самому, первому разу...

Когда же наступил очередной «великий праздник» и было велено прийти на праздничную линейку в парадной форме и — естественно — в отглаженном пионерском галстуке, я спокойно пошла в магазин, заплатила семьдесят копеек и купила себе галстук. Даже отглаживать утюгом его не стала. Так и алел он на мне, изгибаясь во все стороны девственными магазинными изломами. И мне было нисколько не стыдно.

К десятому классу, уже будучи комсомолкой, я поняла, что в этой стране все можно делать понарошку. Не просто можно, но даже нужно. Кругом было вранье. Тот, кто врал наиболее красиво и убедительно, жил лучше, чем те, которые врать не умели или не хотели. Тот, кто не только не врал, но и пытался говорить правду, из страны изгонялся с позором. Как Солженицын, чье имя учительница Наталья Петровна произносила шепотом, говоря о «запрещенной литературе».

И вся страна годами наблюдала за тем, как взрослый и даже старый человек цеплял на себя звезды совсем не октябрятские. Был он в той стране главным. И потому над ним смеялись потихоньку, беззвучно.

Аннета Мейман. Когда бьют — больно, а когда молчат — больнее

Я пошла в 5-й класс в 60-м (неужели это было так давно?!). И почему-то именно в этот момент у меня возникли проблемы с самооценкой. Я была худенькой, невысокого роста, с толстенной, до попки, косой и веснушками по всему лицу. Мнения по поводу моей внешности в нашей семье кардинально расходились. Папа считал, что я красавица. Мама же, глядя на меня, вздыхала:

— И в кого ты такая уродилась? Конечно, не в меня, а в папину родню. Такая же страшилка, как и его сестренки.

Еще за мою любовь к некоторым старым вещам она называла меня «синим чулком». Например, сколько раз прятала и даже пыталась выбросить обожаемый мной китайский синий берет с красными бабочками, которые победно летали над моей головой, удерживаемые лишь фетровыми ножками! И почему-то не хотела понимать, как сказочно все, что с ним связано. Как-то, когда я в своем любимом берете вместе с мамой ехала в вагоне метро, к ней стал приставать чужой дядька. И ужасно противным голосом на весь вагон сказал: «Что это у такой красивой женщины такая некрасивая дочка?» А мама даже не заступилась за меня... «Ну и что, что некрасивая, — успокаивала я себя. — Ведь я еще ребенок, могу и измениться».

Раньше в нашей жизни все было хорошо и просто. Я, мама и папа, дедушка и бабушка жили все вместе в центре Москвы в замечательном, полном тайн желтом доме с белыми колоннами, что на углу Волхонки и улицы Маршала Шапошникова. А напротив, прямо через дорогу от нашего дома, за красивой металлической оградой возвышался роскошный особняк. Это был Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Туда меня и детей из ближних домов пускали без билетов. И мы играли в больших залах музея в казаки-разбойники, рисуя мелом на полу указательные стрелки. Я пряталась за египетскими надгробиями и с замиранием сердца следила, чтобы меня не нашли, перебегая от одного места к другому. Случалось, эти стрелки выходили на улицу и вели всю нашу компанию к Цветному бульвару и на Арбат, за что родители нас ужасно ругали.

Когда мама особенно сильно сердилась на меня, и все могло закончиться поркой, я убегала и пряталась у маминой подруги тети Зины, которая жила в нашем доме, в своей мастерской в полуподвале под аркой, где на стеллажах стояли ее скульптуры, и там пережидала грозу.

Но вдруг неожиданно умерла бабушка. И сразу вся жизнь полетела кувырком. Мама стала ругаться с дедушкой. Папе от работы дали квартиру, и мы уехали в Тушино, на улицу Свободы. С чем я никак не могла смириться.

Размышляя как раз на эту тему, я в первый раз подходила к своей новой школе № 820. У входа стоял крупный мальчишка — Васька-Сыч, как я потом узнала, — с двумя шестерками и отбирал у тех,

кто послабее, деньги. И никто даже не пытался протестовать. Меня это так возмутило, что я решила: буду стоять насмерть!

Ко мне подошли два парня, которым я была по пояс:

— Ты что, малявка, новенькая? Давай-ка, быстро плати за вход.

Один из них обошел меня со спины и попытался схватить за косу. Тогда, не долго думая, я подпрыгнула, и изо всех сил впелась в лицо стоявшему напротив горе-грабителю, и висела на нем, царапая его лицо. От неожиданности и боли он стал кричать. Двое других, щедро осыпая меня тумаками, пытались меня от него оторвать. Но не тут-то было! Услышав крики парня, на крыльцо выбежала завуч. Тут массовка быстро рассосалась, и на поле боя остались только я и расцарапанный верзила, истошно вопящий:

— Спасите, уберите от меня эту сумасшедшую!

Завуч за ухо оторвала меня от него и велела нам обоим следовать за ней. В этой школе было два завуча: Рыжая — добрая и Черная — ну очень злая. Именно злой — Черной в первый же день я и попалась. Верзилу завуч сразу же отправила к медсестре. Потом она повернулась ко мне:

— Ты кто?

— Я новенькая. В пятый класс.

— Не успела прийти в школу и уже отличилась! Сейчас ты идешь в свой 5-й «А», а завтра жду твоих родителей.

Я поднялась на второй этаж и пошла по длинному, залитому солнцем широкому коридору к двери в неизвестность... Урок уже начался. Я растерянно стояла у входа, не зная, куда сесть: почти все парты были заняты. Вдруг рыжая девчонка, сидящая за четвертой партой в левом ряду, вытолкнула свою соседку так, что та чуть не упала на пол, и громко сказала:

— Иди сюда, садись со мной.

Я с облегчением вздохнула и прошла на свое новое место. Так началась моя жизнь в Тушине. Препод по имени Александр Александрович сразу вызвал меня к доске: доказать какую-то теорему. Я никогда не учила доказательства: мне это было скучно. Но всегда как-то выкручивалась, доказывая теоремы по-своему. Так же я поступила и на этот раз. Ал-Ал, как сокращенно его про себя назвала, окинул меня ироничным взглядом:

— Ну, что ж, барышня, четыре за сообразительность, но все же я бы вам рекомендовал материал учить.

Остальные уроки прошли достаточно весело. Моя соседка, которую звали Галя, и на переменках, и на уроках вводила меня в курс школьной жизни. Оказывается, в этом классе была группа девочек и мальчиков, у которых родители занимали высокие посты. А у одного из них, мальчика с большими черными глазами по имени Валя Подерин, папа был известным писателем и имел две машины. Меня это как-то не впечатлило: родители давно мне объяснили, что наличие у моего папы личного шофера и высокой должности не дает мне повода считать себя чем-то лучше других. Ну, я как-то и не стремилась в число классной «элиты».

Васька-Сыч с приятелями делали вид, что в упор меня не видят да и раньше никогда не видели.

Более того, они не только никогда ко мне не подходили, но даже тех, кто шел рядом со мной, не трогали. Так что некоторые стали у входа в школу делать вид, что они мои друзья.

После прихода родителей в школу по вызову Черной месяца полтора прошли относительно спокойно. И вдруг меня на перемене вызвал из класса мальчик, передал записку и, сказав, что будет ждать ответ, отошел к окну. Записка была от того самого Вали Подерина, у которого черные красивые глаза и папа — писатель. Раньше у меня приятелями были дворовые мальчишки — в их компании я играла, лазала по деревьям и крышам домов на любимой Волхонке. И вдруг: «Давай с тобой дружить, мне без тебя не жить. Я буду очень рад видеть нежный твой взгляд»...

Я покраснела до корней волос и в полном смятении спряталась в классе. Мне почему-то было ужасно стыдно, записка жгла руки. Исписав и изорвав немыслимое количество бумаги, вся перемазанная синей пастой от шариковой ручки, когда уже за окнами потемнело и в школе зажгли свет, я, наконец, оглядываясь по сторонам, как преступница, вышла из класса. Тот же самый мальчик, что принес записку, по-прежнему стоял у окна и ждал. Я с колотящимся сердцем подошла к нему, протянула свою записку с ответом и мгновенно умчалась, съехав по перилам. Плодом моего эпистолярного творчества явилось вымученное послание: «Я согласна с тобой дружить. Но только так же, как со всеми девочками и мальчиками нашего класса».

Приближался конец четверти, и надвигалось родительское собрание. И вот этот день наступил. Мои родители решили пойти на собрание вместе. Я осталась дома и, сидя за фоно, старательно разучивала вальс Шопена, готовясь к экзамену в музыкальной школе Дунаевского, в которой параллельно училась. Родители что-то задерживались. Я даже подумала, что они пошли к кому-нибудь в гости. Вернулись они какими-то мрачными. И я не могла понять, в чем дело: отметки у меня были хорошие, к поведению после той истории с компанией Васьки-Сыча больше претензий не было.

Как самый дипломатичный, первым со мной решил поговорить папа:

— Доченька, какие у тебя проблемы с Валентином Подериным?

Меня всю как огнем обдало:

— Он мне написал записку, а я ему ответила. Вот и все.

Папа нахмурился:

— Но на родительском собрании выступила мама Валентина и попросила оградить ее сына от нашей дочери. Она утверждает, что ты ему каждый день звонишь и требуешь, чтобы он шел с тобой в кино и покупал тебе конфеты. Мы что, не даем тебе конфет или в чем-то отказываем?

Я видела, что папа сильно расстроен:

— Папочка, я никогда ему не звонила. Честное слово!

К моему удивлению, мама вдруг за меня заступилась:

— Если девочка говорит, что не звонила, значит, не звонила.

Папа набрал телефон Подериных. И женщина, которая, не задумываясь, опозорила чужого ребенка перед родителями всего класса, услышав мой голос в телефонной трубке, тут же извинилась, признав, что звонил им кто-то другой. Но о ее извинениях кроме моих родителей так никто и не узнал.

На следующий день весь класс стоял в два ряда в коридоре перед дверью классной комнаты. Я шла через живой коридор, в начале которого стояли Валька Подерин и его ближайший друг Мишка Славин. Они попытались меня остановить. Но я, гордо подняв голову, прошла, не отвечая, мимо: я никому ничего не хотела объяснять...

Тогда я не знала слова «обструкция», но что это — почувствовала на своей шкуре: со мной почти все перестали общаться, а по школе гуляли слухи, что я обрываю телефон Вальке Подерину, а Галя — Мишке Славину.

Злая Черная разбираться, кто прав, кто виноват, не стала, отреагировала по-своему: вызвала наших родителей и заявила им, что девочки дурно влияют друг на друга. И Галю перевела в немецкий класс 5-й «Б». Теперь Галя училась на первом этаже и каждую перемену бежала ко мне на второй. Мы демонстративно под руку ходили по коридору все перемены.

В классе я оказалась совсем одна. А Мишка Славин меня начал преследовать и при большом скоплении школьного народа все время говорил что-то обидное. Я решила, что не стану жаловаться родителям, а сама с ним разберусь.

Я собрала все свои ценные вещи: велосипед, коньки, лыжи — и спрятала, а родителям сказала, что потеряла. Потом все это богатство подарила Лиде из моего класса. Она была крупная и очень сильная девочка, но училась плохо, была второгодницей, над ней все насмехались и никто с ней не дружил. Я же стала помогать Лиде с уроками, а та стала верным моим пажом и телохранителем. Сколько раз она появлялась вовремя и меня выручала! Теперь в школе уже никто не мог безнаказанно меня обидеть. А Мишку Славина после очередных его издевок в мой адрес при большом скоплении народа Лида отмугузила и скрутила ему руки за спиной, а я тонкой кожаной перчаткой отхлестала его зловредную физиономию, приговаривая:

— Будешь уважать девочек, скотина (ну просто как в моем любимом фильме «Мичман Панин» — «Будешь замечать офицера, скотина!»)!

Фильма этого, похоже, Мишка не видел, а если и видел, то в тот момент аналогии не понял. Но от меня отстал.

А к концу учебного года папе дали квартиру в центре Москвы, и мы переехали в Фурманский переулок. Там прошли счастливые годы моего взросления. Туда из роддома номер один я привезла своего первенца... Только это уже было в другой жизни. А та, тушинская, горьким осадком осталась в памяти навсегда.

Алексей Завьялов. Утро в сосновом бору

В нашей волости, Сондоге, что в Вологодской области, в начале шестидесятых была только начальная школа — четыре класса, а потом все шли в восьмилетку за тридцать километров на Вожбал. Жили там в интернате, а в субботу после уроков бежали домой. В воскресенье после обеда возвращались. И так весь год: и в мороз, и в дождь, и в грязь со снегом, по тракторной дороге лесом, гатями. Зимой иногда нас подвозили в санях на тракторе, но половину дороги все равно приходилось бежать, чтоб не замерзнуть.

Нас у родителей было четверо: три брата и младшая сестра Света. На Вожбале пришлось поучиться только старшему, Саше. Полтора года он там отбыл. А начиная с моего года родившихся в

шестидесятом стали отправлять в райцентр, что за семьдесят километров, в Тотемскую школу-интернат. С Вожбала-то на каждый выходной домой можно было прибежать, а из Тотьмы — только на каникулы.

Начальную школу я окончил почти отличником (чистописание хромало) и в интернате год еще по инерции хорошо учился, хотя мысли были больше о доме и о еде, а не об учебе. Народ в интернате собирался самый разный. Были там и детдомовские, были и из детских колоний, была тотемская блатная шпана, ну и мы, деревенские, мужики. Воспитатели и учителя подобались хорошие, нормальные люди, желавшие нам добра и жалевшие нас.

После зимних каникул, на третий день, я сбежал. Накопил хлеба, украл два кухонных ножа в столовой (от волков). За картиной Шишкина «Утро в сосновом бору», что висела напротив кабинета директора, я оставил записку, чтоб меня не искали: «всё равно не найдете». Морозы стояли ночами за тридцать градусов. Добирался я по узкоколейке на лесовозах. Выловили меня только утром следующего дня в лесопункте Крутая Осыпь, это за семнадцать километров от дома. Там бы уже пешком пошел и дошел бы — мы подготовленные все были, не мороз это был для нас и не расстояние (знайте, дети, любой пятиклассник может пройти 17 километров по тридцатиградусному морозу). А в Осыпи меня уже ждали: директор с воспитателем (они на машине по зимнякам доехали) и отец на лошади с санями. Родные из-за меня натерпелись.

Меня отпустили домой на неделю. Святые люди! Тогда-то я обрадовался, но зря они это сделали (хотя если б не отпустили, то снова бы сбежал). У них не было выбора, наверное, но они создали прецедент (как сейчас говорят) — в интернате начались побег, порой с драматическим и даже трагическим исходом.

Вот Серега Ульяновский ушел весной в свою Гарногу — сто километров по бездорожью, дошел, но стоптал ноги так, что отслоилась кожа на пятках, а две девчонки замерзли на дороге зимой в сорокаградусный мороз, не дойдя до дома километров десять из сорока: сели отдохнуть... Говорят, какой-то говнюк на бензовозе не взял, хотя они и голосовали. Да хоть бы и не голосовали! Моего младшего брата Ивана тоже через год сняли с лесовоза: моим проторенным путем пошел.

А учеба? Да какая там учеба! Три года я отбыл в интернате, брат Ваня — два, Саша — два с половиной, его после моего побега тоже перевели в тотемский интернат, чтоб мне было веселее. Сестре не пришлось, к счастью, — семья переехала в Тотьму. Учились ни шатко ни валко: все дни считали до каникул, вычеркивали в календаре. Нас, сондогских, вместе с девчонками было человек двадцать. Мы держались все вместе. Скидывались, у кого были деньги, и на всех покупали в пирожковой булочки.

В город было опасно выходить. Тотемская шпана лютовала: братья Тиховы, Цыка, братья Хрычи, Суббота, Аника — всех не помню. Они все с ножичками ходили, многие через колонии прошли, могли подколоть или запинать до полусмерти. Были случаи. Мы их побаивались, но все равно делали вылазки, — по двое, перебежками, от угла к углу. Городские шарой ходили, жестокие были, звери. Из тюрем не вылезали, многие там и сгинули. Мы в драки с ними не ввязывались, да и драться-то не умели. Мы и драк-то до интерната не видали: у нас в деревне как-то все мирно жили, мужики даже по пьянке не дрались. Недавно один старик сказал: как в лукошке там жили.

До сих пор у меня к Тотьме нет теплых чувств, хотя столько лет прошло. Не было там праздника без поножовщины, чтоб кого-нибудь не убили или не покалечили. Многие имели тюремный опыт, молодежи было у кого учиться. Север. Кругом зоны и поселения, леспромхозы с вербованными, бывшими уголовниками. По Тотьме и мужику-то не местному опасно было ходить даже днем —

законы действовали тюремные.

Голодные мы были всегда. Лет десять назад Ванино письмо на чердаке родительского дома нашли. Ваня пишет, что живем хорошо, учимся тоже, ну и все такое на страницу, а в конце приписка, чтоб прислали «мяса печеного и паренцы (пареная репа). Побольше». Передачи нас выручали, мы их все вместе ели.

Кормили нас в два захода: вначале младшие классы, потом мы. На обед отпускали после последнего урока, а на ужин — после домашней подготовки. Толпа из всех классов вначале сбивалась, неслась, как голодное стадо, вниз по широкой лестнице, потом сужалась в коридоре к столовой, размазывая зазевавшихся учителей по стенам, а потом ломилась в узкую дверь, за которой была крутая лестница вниз, шесть ступеней. Протиснувшиеся, продавленные напором толпы ученики сразу валялись, прыгали вниз, но внизу были еще одни узкие двери, — создавалась буферная подушка из тел, поэтому травм особых не было. В столовой порядка было больше, так как места за каждым классом и учеником были закреплены, и можно было тем, кто дежурил по столовой, «паснуть» другу побольше еды.

Очень жалко было детдомовских ребят из младших классов. У нас родители, дом, мы на каникулы домой, а они весь год там, и передачку им никто не пришлет, голову не к кому приклонить. Мы некоторых подкармливали и старались быть с ними приветливыми. Помню, в первый класс пришел Гоша из детдома — крепыш такой, рыжий, на моего брата Ваню, что дома остался, похож. Мы спрашивали его: «Гоша, ты почему такой рыжий?» — «Я, — отвечал, — трактор ржавый проглотил». Он так «р» выделял, будто недавно выговаривать стал. Я его очень жалел, делился иногда, чем мог. До сих пор их жалко. Как будто долг какой-то перед ними.

Да, еще об учебе. Помню, в пятом классе, в начале зимы я заболел, температура высокая. С температурой пришел вечером на подготовку домашнего задания, мы все вместе его в классе делали, так мне старожилы у виска пальцами крутили: радовался бы да лежал в спальне. А я тогда не мог, но через год уже мог.

Детдомовские и те, что из колоний, ушлые были. Мы с ними не так боялись в город выходить. Они нас учили фене, учили воровать пирожки в тотемских столовых. Меня Васька Антонов натаскивал, я несколько украл, каюсь: на десять копеек покупали пару, а два-три еще в карманы совали. Возможно, женщины столовские видели это, но закрывали глаза, жалея нас, «инкубаторских», голодных.

Разные в классе были ребята. Были и одаренные. Вот Толик Красильников из Великого Устюга почти не занимался, но контрольные по физике и математике за десять минут решал, а потом нам помогал. Все мастерил что-то, красивые перстни напильником вытачивал из бильярдных шаров, наушники делал в коробках из-под гуталина — магнит, обмотка из медного провода, мембрана. Мы радио слушали, закинув из форточки на уличные провода один выход, а другой, землю, к батарее прицепив. Но психованным был, учителям грубил, и в седьмом классе его в колонию упекли. Яшка Коротаев из Тарноги ночами книжки у окна под уличным фонарем читал. Музыканты были. Был и свой вечный второгодник, Коля Некипелов, на задней парте сидел. Мы учились в пятом, а он должен был быть уже в восьмом. Такой мужик! Голос уж сломался, но добродушный, никого не обижал. Учитель пения ему говорит: ну, «недокипяченный», иди, пой. Коля только лыбится, а мы ржем. Он редко в классе появлялся: кочегарам помогал уголь таскать, они его подкармливали.

В седьмой класс к нам из детской колонии поступил Толик Федосеев, отец его привез. Такой небольшого роста паренек, и не качок, а дрался как в кино. Жил независимо. Никого не трогал.

справедливый был. Блатные старшеклассники Япончик, Макака, Боцман, Баланда его однажды в коридоре возле туалета поучить смирению решили. Рожи у них после этого неделю светились, у Макаки два ребра было сломано, у Боцмана нога не гнулась, а у Толи — ни царапины! Его даже тотемская шпана боялась, черным дьяволом звали, он в черной кожаной куртке ходил. На поговорку «дают — бери, а бьют — беги» он говорил: не побегу. Смелый был парень. Потом его отец забрал. Интересно, как сложилась его судьба?

Зимой в спальнях было холодно, вечно пьяные кочегары топили не очень и плюс высокие потолки и большие окна — это был старый купеческий дом, да и зимы здесь морозные. Спали под двумя байковыми одеялами и простыней вместо пододеяльника. С простыней теплее, хотя она и тонкая, но воздушная прослойка сохраняет тепло, греет (так нас учили воспитатели, и это действительно так). А вот в Вожбальском интернате, где пришлось поучиться брату Саше, зимой спали в одежде под тюфяками, все вместе, так теплее (наверно потому, что простыней у них не было). Сдвигали кровати и освободившимися тюфяками укрывались, а на полу делали ледяной каток, чтобы быстрее добираться до своего места.

Раз в полтора месяца каждый класс, начиная с пятого, дежурил неделю по столовой. Там приходилось делать все: от самой приятной работы — хлеборезом — до мытья посуды. Очень много посуды. Меня часто ставили хлеборезом: я умел ровно половинить буханку, а потом каждую половину разделить на восемь равных кусков. Вася Климов с клинообразной, вечно стриженной головой (мы все там часто ходили стриженными наголо, чтоб вши не заводились) под общее восхищение колол об свою макушку крупную картошку — пополам! А парикмахеры обычно появлялись неожиданно, и всегда на вечерней подготовке, чтоб никто не сбежал. Дверь запиралась, и, пока карнали первого несчастного, мы судорожно чесали головы гребнями, выхватывая их друг у друга, чтоб доказать, что у нас вшей нету. Но гниды-то все равно оставались. Коля Конев вычесал однажды сто двадцать пять вшей, мы считали, пока его не увели под наши восторженные возгласы. Такой рекорд и слава! Коля остался навеки в нашей памяти, многое уж забылось, а это нет.

По воскресеньям нас строем водили в кинотеатр. Я до сих пор не люблю смотреть кино в кинотеатрах, в темных залах, хотя сам много лет работал киномехаником, в том числе и в том самом кинотеатре. Я не любил то удручающее состояние, когда выходишь на улицу из темного зала, где два часа был в каком-то другом, ярком, захватывающем, нездешнем мире, а этот, реальный, сильно проигрывает киношному. Я и сейчас иногда испытываю нечто похожее: по сравнению с кино мир статичен, малоподвижен. Я сейчас понимаю, что это хорошо. Но хорошо, когда ты свободен, а тогда было только плохо, потому как тянулось долго. Тогда, в школе-интернате.

До интерната мир был лучше кино. Выходя после фильма из деревенского клуба, мы возвращались к жизни счастливой: стоял родительский дом, падал снег или солнце светило, все было хорошо! Паслись овцы, шли коровы, текла река, в реке — рыба, дома ждали родители, бабушка с дедом, в печке — каша, стояла школа с первой учительницей, доброй Галиной Васильевной, за деревней — бор с грибами и ягодами. И уже никогда не вернуться в тот красочный, полный жизни мир детства...

Недавно был в Тотьме, зашел в интернат — там сейчас сельскохозяйственный лицей. Ком к горлу. Батарей под окнами всё те же, мы около них вечерами грелись, паренцу жевали. Напротив кабинета директора — глазам не поверил — так и висит картина «Утро в сосновом бору». Я даже невольно проверил: не там ли моя записка? В конце коридора к столовой все такая же узкая дверь, но новая. Добрый охранник, выслушав про мою здесь учебу когда-то и про коридор этот, сказал, что сейчас в столовую можно зайти с улицы и пообедать недорого. Да только вот есть расхотелось...

Юрий Лукин. Про физику и многое другое...

От слова «косинус» во мне тоска и трепет, как от всего, что не вмещает разум. Из теорем помню лишь про квадрат гипотенузы, да и то благодаря анекдоту про Пифагора. Но физика...

У физики был шанс стать одним из любимейших моих школьных предметов, когда я впервые увидел Его.

Какой размашистой энергичной походной Он вошел в наш класс Кушвинской средней школы № 3, что в Свердловской области, с какими интонациями гулко-бархатистого голоса объявил физику важнейшей из наук!

Каждый Его урок был потрясающим спектаклем, где все крутилось, вертелось и даже закручивалось вокруг Него — худощавого и нескладного двадцатидвухлетнего выпускника Нижнетагильского пединститута, с горящим взором подвижника и сеятеля Доброго и Вечного на ниве народного просвещения!

Он неизменно начинал с фразы: «На все, что происходит в жизни, физика задает вопрос: “А почему?!” При этом дугой оттопыривал указательный палец, подносил его к правой щеке и, вывернув руку кругообразным движением, с силой втыкал в ближайшую горизонтальную поверхность — чаще всего в столешницу второй парты среднего ряда, отчего Леняка Большаков сперва вздрагивал, а потом целый месяц таскал с собой стыренную у младшеклассников чернильницу-непроливашку, и — что самое удивительное! — сумел-таки однажды подловить физика. Физик, кстати, на наш взгляд, повел себя не совсем адекватно: всего лишь удивился, обнаружив на пальце нечто, вернул чернильницу Леняке и протер палец носовым платком, не переставая интригующим, как у Пуаро Агаты Кристи, голосом рассказывать историю про буравчик.

После первой четверти он уволился по собственному желанию. Естественно, обстоятельства, мотивирующие это желание, мне неизвестны, но подозреваю, что таковое было прямым следствием фатальной ошибки: представляясь традиционным «Здравствуйте, дети! Я ваш новый учитель физики, а зовут меня...», помимо имени-отчества, он назвал свою фамилию: Вовкотруб. Имя-отчество из моей памяти стерлись, а то, как эта фамилия пишется, я узнал много позже. Думаю, некоторые из моих одноклассников по-прежнему воспринимают ее только по звучанию.

* * *

В 1973—1974 учебном году, когда некоторым еще казалось, что распад «Битлз» — чья-то неумная шутка, когда из каждого утюга с хрипами и всхлипами звучали «Дым на воде» и незабвенная «Шизгара», а переписать на магнитофон «Обратную сторону Луны» с пласта почиталось за счастье, когда «Марш рыбаков» Доривала Каимми перепевался пацанами во дворах словами «Погасло солнце, и в песках темно, прошедший день принес печаль, а генералы уже спят давно, и их мечты уносит вдаль», когда Костя Ионов, которого я знаю из прожитых пятидесяти пяти лет пятьдесят три года, играл в школьной группе «Квинта» на фирменной с виду гитаре (сделанной моим соседом по парте Сашкой Татауровым), — в третьей школе девятиклассники вели войну с учителями за право носить длинные волосы и покидали поле боя (временно) лишь из-за предательства коллаборационистов-родителей.

Я держался до последнего.

Обвинения в пресмыкательстве перед загнивающим Западом меня не впечатляли. Проживание в маленьком рабочем городке на Урале, куда ссылали столичных вольнодумцев, иногда провоцирует

«Тихое доброе слово» педагогов было слишком тихим по сравнению с тогдашними моими комплексами. Был я толстым и некрасивым, поэтому девчонкам хотелось нравиться более чем, а волосы у меня и сейчас пышные и шелковистые.

Родители работали по сменам, даже в детский садик из-за отсутствия мест меня устроить у них не получилось, и с трех лет я был предоставлен сам себе.

Конкретно удалось надавить на меня военруку Михаилу Егоровичу (за глаза — Горынычу) Храмцову: за ним стоял авторитет советской армии и реальная для меня перспектива в скором будущем на два года влиться в ее ряды. Но тройку по военному делу вряд ли можно засчитать его победой, а поскольку троек у меня в аттестате навалом, на Горыныча я почти не обиделся.

Более чем приблизилась к успеху завуч Балабкина, однажды заявившая, будто я своей прической напоминаю ей евнуха. Повторяю: я был тогда толстый и некрасивый, поэтому допускаю, что действительно напоминал. И это меня задело по-настоящему. До зубовного скрежета. До желания бросаться на стенку. До готовности кого-нибудь убить. Например, себя.

Спасла, как ни странно, общегородская допризывная комиссия. Проводили ее в Кушвинском ГПТУ, и это был классный перформанс времен развитого социализма: штук двести шестнадцатилетних гавриков голыми слоняются по актовому залу от стола к столу, за которыми восседают узкие специалисты в белых халатах... И вот когда я стоял перед пожилым и невеселым хирургом, меня и осенило попросить заверенную его личной печатью справку, согласно которой с репродуктивными органами у меня все в порядке. Дядечка просветлел лицом, не чуждый, как выяснилось, того специфического юмора, который отличает медицинских работников от нормальных людей, справку мне выдал с легкостью и, я бы даже сказал, с радостью.

В день, когда справка была предъявлена по назначению, наша классная вошла в кабинет, сгибаясь пополам от смеха, и выгнала меня с урока. Под предлогом, что мое присутствие мешает ей сосредоточиться и абстрагироваться от пережитого в учительской, где Ирина Николаевна Балабкина долго и весьма нелестно выражалась в мой адрес, пока ей кто-то не посоветовал ни в коем случае не озвучивать столь сильных выражений в моем присутствии во избежание еще одной справки, согласно которой все, обо мне в сердцах завучем сказанное, мягко говоря, не будет соответствовать действительности.

В конце апреля, когда озабоченные моральным обликом советских школьников товарищи перестали обращать внимание на мои роскошные локоны, а я решил, что себе уже все доказал, я подстригся.

* * *

Есть мнение, что пионерская организация и комсомол были хорошей школой менеджмента и именно поэтому бывшие комсомольские активисты оказались неплохими бизнесменами. Признавая правомерность такой оценки, все-таки рискну предположить, что школой менеджмента комсомол был не ахти, судя по состоянию современной российской действительности, на фоне которой преуспевают отдельные господа из бывших комсомольских товарищей. Это во-первых.

А во-вторых, с раннего отрочества мне несимпатичны люди, выработавшие в себе умение держать нос по ветру и, пританцовывая от вождения грядущих благ, двигаться в фарватере руководящей партии, как бы она ни называлась. Или это всего лишь бухтение неудачника, у которого

не получилось стать бизнесменом или чиновником?

А не заладилось у меня с комсомолом опять-таки в школе — уже с процедуры вступления в его стройные и сплоченные ряды. На мою беду, приглашенный товарищ из горкома ВЛКСМ слишком ответственно отнесся к своей роли — потому, наверное, что его карьерный взлет только-только начинался.

Каждого из соискателей товарищ из горкома дотошно спрашивал про ведущую роль Советского Союза на международной арене, про решения Съезда КПСС, про комсомольскую символику и атрибутику.

Моей тогдашней эрудиции для ответов хватало, и это ему не нравилось. И прежде чем расписаться в списке рекомендаций напротив моей фамилии, он стал задавать самые «каверзные» вопросы:

— Скажите, юноша, какой праздник отмечает все прогрессивное человечество 1 Мая?

— 1 Мая все прогрессивное человечество отмечает праздник солидарности трудящихся, — не будучи еще комсомольцем, с комсомольским задором ответил я.

Товарищ нервно сглотнул и задал следующий вопрос:

— А какой праздник отмечает все прогрессивное человечество 14 июля?

Когда я ответил:

— 14 июля все прогрессивное человечество вместе с французским народом отмечает День взятия Бастилии! — товарищ из горкома не смог скрыть досады.

— Тогда скажите, молодой человек, какой праздник отмечает все прогрессивное человечество 18 марта?

Тут моя эрудиция дала маху, и я удрученно опустил голову.

Товарищ расслабился и отечески просветил бестолкового восьмиклассника:

— Запомните на всю оставшуюся жизнь, юноша: 18 марта все прогрессивное человечество отмечает дату начала Парижской Коммуны! — После чего с чувством глубокого самоудовлетворения расписался в рекомендации и отпустил меня из пионерской комнаты небрежным мановением руки.

Я запомнил и уже больше сорока лет 18 марта обязательно поздравляю всех со столь знаменательным событием.

Только вот когда кто-нибудь из нынешних политиков, чиновников или бизнесменов напоминает мне повадками комсомольского активиста, я становлюсь очень смешливым. Поэтому, наверное, у меня не получилось и уже никогда не получится стать политиком, бизнесменом или чиновником.

Да и не хочу, если честно. По профессии я учитель русского языка и литературы с тридцатилетним стажем, и быть учителем мне все еще нравится. Как нравится каждый будний день приходить в школу, где происходящее вокруг напоминает мне то, чем я был счастлив в своем отрочестве-юности.

Татьяна Мальцева. Танечка

Несколько лет назад я научилась свободно гулять по бескрайним просторам Интернета, освоила почту, завела странички в «Одноклассниках», «Моем мире», «Facebook», «ВКонтакте». Сидя у монитора, с замиранием сердца находила кого-то из старых знакомых, постепенно увеличивая их численность, даже считала — десять, двадцать, тридцать, сорок человек в друзьях. Этот процесс казался очень увлекательным, почти азартным. Каждый день новая встреча, письма... «А ты как? А как ты? А помнишь?..» Как-то в очередном рвении я зашла на сайт своей школы и в блоге одного из учителей увидела фотографии своих одноклассников, свою фотографию в том числе. Учителя, создавшего блог, я не узнала, вспомнила только, что именно эта женщина настойчиво предлагала мне дружбу в социальных сетях. Несколько раз я нажимала «Отклонить», потом перестала обращать внимание, как-то так все и закончилось.

Надо сказать, что многие люди моего поколения после распада СССР потеряли Родину, разъехавшись кто куда, пустили корни вдали от дома, поменяли гражданство. Так случилось и со мной. Я родилась в одной из республик бывшего СССР. Вышла замуж за военного и в 1987 году уехала с мужем и сыном служить в Германию там-то и накрыло нас известие о распаде Советского Союза. Возвращались мы уже с двумя детьми и не в СССР, а в Россию.

Забрав родителей из ставшей чужой мне Родины, я крепко захлопнула за собой дверь и стала осваивать новые просторы. Что-то получилось в моей жизни, что-то нет. Но все, что у меня есть, люблю и, как могу, стараюсь беречь.

На Родине я не была больше двадцати лет.

Редко вспоминала школу, в которой проучилась десять лет, еще реже — своих одноклассников, совсем не вспоминала учителей — я их благополучно забыла, всех! Почему? Да, наверное, потому, что в моей жизни никто из них не сыграл значимой роли. Никто не запомнился как талантливый педагог или врачеватель детских душ. А с одноклассниками не было романов, душевных разговоров, тайн с замиранием сердца. Мои подруги учились в других классах. Первый роман случился уже после школы. Я шла в школу, как на каторгу, и вприпрыжку бежала из школы домой, потому что у наших соседей была огромная библиотека, и мне было разрешено в ней жить.

Я была уверена, что меня так же никто не вспоминает.

И вот фотографии моих одноклассников, и под каждой имена: Саша Иванов, Сережа Гутман, Ира Смирнова, Катя Белова, Лена Конева... почти весь класс, и только под моей фотографией — Танечка (Сомова). Почему вдруг Танечка?! Кто эта женщина, создавшая блог? Учитель? Что она вела? Почему так активно пытается со мной «дружить»?

Я начала прыгать по страничкам и выяснила, что она заслуженный учитель, сейчас на пенсии, преподавала физику в нашей школе, самостоятельно создала блог для того, чтобы общаться со своими учениками.

И тут я вспомнила! Вспомнила и эту женщину, и историю, благодаря которой только под моей фотографией есть надпись «Танечка». История совершенно не выдающаяся — наверное, поэтому я и забыла всех ее участников.

Началась она в девятом классе, кажется, в конце второй четверти. Весь класс решил сбежать с физики и пойти в кино. Меня не спрашивали, пойду я или нет — это не обсуждалось, мое мнение не имело никакого значения. На физику не пойдет никто!

Может быть, если бы это случилось в другой день, я тоже с удовольствием сбежала бы с уроков, но в этот день я не могла не пойти на занятие. Я выучила урок! В отношении физики это случилось так редко, что пустить прахом свой труд я была просто не в состоянии. Сказать, что я не знаю физику, — ничего не сказать! Я абсолютно убеждена, что физику надо вести как факультативный урок, по желанию учеников. Хотя вряд ли такие желающие найдутся.

На физике я выезжала на контрольных, которые, конечно, писала не сама — списывала всегда! Давал списать отличник — получала пять, троечник — получала тройку. В итоге у меня выходила крепенькая четверка. Фантастика, но по физике у меня и правда всегда была четверка. Когда я чувствовала, что меня должны вызвать к доске, я срочно заболела. Придя после «болезни» на урок и услышав «Сомова, к доске», я вставала и говорила, что только после болезни, знать не знаю, что задано на дом.

Но сколько веревочке ни виться, а конец все равно объявится. И этот конец был назначен как раз на тот самый день, когда мои одноклассники решили не идти на физику.

Физика была последним уроком — очень удобно, в школу возвращаться больше не нужно. Классная в очередной раз на больничном, в общем — зеленый свет по всей дороге от школы до кинотеатра.

Активисты «физиковой» забастовки уверенно уговаривали сомневающихся отличников в том, что всем двойки не поставят, а если и поставят, то только так, для острастки, а им, отличникам, и вовсе бояться нечего, «физичка» показатель успеваемости в классе снизить не посмеет.

— Я не пойду в кинотеатр, я пойду на физику. — Наверное, я сказала это очень тихо, потому что никто не обратил на мои слова внимания.

— Я пойду на физику. В кино я не пойду. — Кто стоял рядом, услышал, показывая на меня пальцем, стал кричать, чтоб услышали остальные.

— Сомова на физику хочет! Народ, хватит орать, Сомова не идет с нами.

Я оказалась в самом эпицентре землетрясения. Еще минута, и земля у меня под ногами обвалится, и я вместе с ней. Класс у нас был еще тот! Как-то в очередной раз, издеваясь над девочкой (она была просто крупнее остальных), мы облили ее маслом, надели на голову мешок и отлупили. Мальчишки — ногами. Я была вместе со всеми.

Вспоминать об этом сегодня стыдно, но это было.

На ее месте в тот день могла запросто оказаться и я. У меня не было свиты поклонников, я не могла похвастаться отличным аттестатом — в наше время это давало защиту: будешь наезжать на отличника — списать не даст. У меня не было даже такого друга, который бы впрягся за меня. Я стояла одна в орущей толпе и слушала, как мне будут отрывать разные части тела, если я посмею пойти на физику.

Объединенный в едином порыве против общего врага, мой класс отправился в кинотеатр, выкрикивая по дороге, что, мол, она не посмеет, пусть только попробует!

Как я решилась? Наверное, мне было трудно; не помню. Скорее, класс мне просто не оставил выбора: если бы я тогда на физику не пошла, меня бы начали так же травить, как ту девочку. Но я пошла. Физичка спросила меня, так, чуть-чуть, поставила пятерку и рассказала тему для меня одной.

Она меня не хвалила, не ругала. Просто я пришла на урок, а она, учитель, этот урок провела.

На другой день я шла в школу умирать. Я сидела за партой, а вокруг меня бушевал класс. Причем я помню, что бушевали в основном мальчишки. Девчонки с презрительным видом предлагали объявить мне бойкот. Я сидела молча, каждую секунду ожидая подзатыльника сзади, но вместо подзатыльника услышала, как сказал староста Женька Дмитриев: «Она ведь сказала, что пойдет на физику. Отстаньте от нее». А потом начались уроки — первый, второй, третий. Все вели себя так, как будто ничего не произошло. На переменах ко мне никто не приставал, после уроков никто не караулил. Казнь была отменена.

На следующем уроке физики физичка рвала и метала. Всем поставила не по «единице», которую при желании можно исправить, а по «паре». Всем, и отличникам в том числе. Ругалась на чем свет стоит, при этом не забывала нахваливать меня, какая я умница, честная да порядочная. У меня началась на физике жизнь принцессы. За контрольные, даже те, которые я списывала у троечников, она ставила мне как минимум четверку, при этом те, кто давал мне списывать, сами получали честные тройки. Если подходило время вызывать меня к доске, она делала так: «К доске пойдет... пойдет к доске...». Смотрела на меня, я, естественно, стыдливо опускала нос в парту, и она называла любую фамилию, но только не мою.

Скажу честно, я долго не замечала такой перемены; скорее всего, поняла, что ношу корону, только в десятом. Наверное, поэтому вела себя тихо, скромно, без претензий на индивидуальность. Мои одноклассники не роптали, подлизой меня не называли, так же давали списывать.

Почему вспомнила эту историю? Потому что все как-то сложилось: огромные возможности Интернета, учительница физики, мой класс, с подачи которого я приняла первое в моей жизни трудное решение, и, конечно, подпись к фотографии «Танечка».

Ирина Завьялова. Детские судьбы и взрослые игры

Работая с 1985 года учительницей, понимаю, каким подарком в детстве была для своей классной руководительницы и вообще для школы, где училась. Сама удивляюсь теперь: в двенадцать-тринадцать лет ребенок сочинял и воплощал сценарии общешкольных праздников, литературных вечеров, а летом вместо какой-то официально оформленной дамы работал старшей пионервожатой городского лагеря («площадки»).

И, думаю, если б не произошла история, о которой я хочу рассказать (и, конечно, если б не «пятый пункт»), то наверняка сделал бы этот ребенок семидесятых карьеру — в масштабах Ленинграда, а то и до депутата Госдумы бы дотянул или до его помощника... Да... Но меня однажды «задвинули».

Я была членом совета дружины нашей петродворцовской школы, и мы периодически обсуждали рекомендации для приема в комсомол. Сама я уже стала комсомолкой. Помню, меня разочаровало собеседование в райкоме: мы учили Устав, конспектировали труды Ленина, выпытывали у старших ответы на каверзные вопросы, типа: «Сколько стоит Устав ВЛКСМ? Две копейки? Ты что?! Он бесценен. Ха-ха!..» А на меня там посмотрели, переглянулись, услышав фамилию, — и радостно объявили, что со мной все ясно: единогласно.

Чтоб не разочаровались другие, мы с «боевыми товарищами» стали требовательно подходить к обсуждению кандидатов и... почти никому не давали рекомендацию в ВЛКСМ: ведь у наших семи-

восьмиклассников не сформировалось нужное для борьбы за коммунизм сознание... Вскоре мне шепнула наш организатор внеклассной работы Ирина Георгиевна, что ее отругали в райкоме за невыполнение плана приема в комсомол. Абсурдность ситуации для меня была очевидна. Меня это потрясло. Начитавшись книг про пионеров-героев (слава богу, школьный библиотекарь Инна Ефимовна подкладывала к «Улице младшего сына» «Кондуита и Швамбранию», а дома благодаря маме звучали Окуджава, Дольский и Высоцкий), я решила действовать.

В то время в 16.00 по радио шла передача «Ровесник», частым гостем которой был инструктор ЦК ВЛКСМ, толково отвечавший на волнующие нас вопросы. Туда, «дорогая передача», я и написала письмо, наполнив его болью за существующие (?) планы приема в комсомол.

В марте я собиралась в «Артек» — не от школы, а от моего отряда, победившего в телеигре «Один за всех — все за одного», в которую я втянула одноклассников.

...На днях мне исполнилось 50 лет. Мама принесла папку моих бумаг — дипломы победителя олимпиад, грамоты за отличную учебу и активную общественную работу, газетные заметки обо мне — участнике бардовских фестивалей (это уже студенческая пора). Между нами — конверт. В правом верхнем углу его — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Под этим подчеркнутым призывом чернеет: Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи. Затем еще чернее, жирнее и крупнее: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ну и адрес отправителя: Москва, ул. Богдана Хмельницкого, дом 3/13. (Интересно вам, что там сейчас? Поселок Минвнешторга!)

Вот текст письма Исх. № 10/11:

Ира! В ВЛКСМ нет нормативных документов, устанавливающих план приема юношей и девушек в члены Ленинского комсомола, не высказывались и рекомендации по определению разрядки на прием молодежи в ВЛКСМ.

Мы поручили Ленинградскому обкому комсомола внимательно разобраться с фактами, о которых ты пишешь, принять конкретные меры по повышению уровня работы комитетов комсомола по подготовке к приему в члены ВЛКСМ и дать тебе подробное разъяснение по поднятым вопросам.

Зам. зав. Отделом школьной молодежи ЦК ВЛКСМ С. Дармодехин. 16.02.1978

Из-за ошибки в нумерации квартиры (небрежность секретарши?) письмо нашло адресата только в марте, за несколько дней до моего отъезда в Крым. Помню, что, вытащив его из ящика, я побежала к маме на работу, чтоб похвастать, что меня заметили в самой Москве. Что-то павлико-морозовское скребло в душе, но правда была на моей стороне! Я взлетела на чердак здания РОНО, где обычно до 22—23-х вечера работала моя мама, инспектор.

— Ты кому-нибудь показала письмо?

— Нет, я сразу к тебе.

— Ну вот, иди домой, спрячь его и никому не рассказывай. Иначе тебе не то что «Артека» — даже не знаю, что будет...

Как меня ни распирало, я продержалась — и через несколько дней уехала в лагерь. А к исходу смены пришло письмо от товарища по оружию, Светы Ш., из которого стало известно, что нашей пионерской дружине впервые за много лет не дают звания «Правофланговая». Виновата я, написавшая в ЦК какое-то письмо, из-за чего трясут наш райком.

Я вернулась домой. Мама грустно и твердо попросила меня не ходить никуда, куда бы меня ни вызывали, и обо всем, что со мной будет, сообщать ей.

В первый же день в школе Ирина Георгиевна схватила меня, подкараулив у столовой, за шиворот, вбросила в свой маленький кабинет, закрыла дверь на ключ и стала «промывать мне мозги». Из ее уст я слышала, что Александр Матросов не совершил бы своего подвига, если бы не был комсомольцем, потому что он был плохим, а в комсомоле его исправили. Что планы есть, даже точные цифры — и они были мне показаны. И, устав от собственного крика, подытожила: к сожалению, исключить меня из комсомола они не могут (а я уже этого захотела), но уж общественной работой заниматься мне никто теперь не позволит. Меня изолировали. «Школа без тебя обойдется, а вот ты...»

Потом, через много лет, я узнала от мамы, что меня вызывали на заседание райкома комсомола, на какие-то совещания директоров, но ходила она, и ее вместо меня там «песочили», и что два директора из тринадцати после такого совещания пожали ей руку, а один из них — даже при всех! — посоветовал мною гордиться. Это была Вера Георгиевна Черкасова. (А шесть лет назад она ушла на пенсию, подготовила к блестящей сдаче творческого экзамена в университет мою дочь, и мы с ней, Почетным жителем Петергофа, иногда за кофе и коньяком вспоминаем дела давно минувших дней: оказывается, она сбежала из райкома на заре своей взрослой жизни, категорически не приняв этого, чем и какими методами он занимается.)

Конечно, сознание правоты и сочувствие друзей придавали сил, но теперь я понимаю, что должность мамы смягчила удары. Как понимаю, что взрослые нас обманывали и сами заигрались до искреннего лицемерия. И масштаб этой игры и этого вранья — целая страна...

Ирина Красильникова. Язык твой — враг твой

«Язык твой — враг твой!» — твердили мне, естественно, из самых лучших побуждений. Я всегда согласно кивала головой. Хотя... Как выяснилось, на латинском эта фраза звучала несколько иначе: *Lingua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum* — Язык — враг людей и друг дьявола и женщин. Только мне лично он другом так и не стал...

Баба Аня меня учила: «Все что-то обсуждают, а ты молчи, молчи». Учитель химии вторил: «Запомни, ты ничем не отличаешься от других детей!.. Только немного лучше рисуешь». «Ну вот, все дети как дети, а ты опять отличилась!» — вздыхала мама, в очередной раз посетившая школу по поводу моих «новых художеств». Лишь один папа, к счастью, ничего не твердил. Его нельзя было волновать такой ерундой, как мое школьное поведение: он в космос ракеты запускал.

Итак, хоть мне все и «твердили», и в 1979 году, в момент написания годового сочинения по окончании девятого класса нашей московской средней школы № 531 имени Героев Перекোпа я была уже вполне взрослой и, казалось бы, должна была понимать, чем грозит «свободное волеизъявление», но... Вот уж тридцать пять с хвостиком лет я нет-нет да вспоминаю этот случай и в который раз задаюсь вопросом: что за странная муха цеце укусила меня в солнечный майский день 1979 года, на который и назначено было написание злополучного сочинения «Будущее моего города»? Могла ли я тогда — как все — «накатать» про высотные дома из стекла и бетона, чистые светлые улицы и счастливых людей, спешащих на любимую работу? Могла! И... не могла одновременно. Потому что одна детская обида не давала мне покоя.

Была у меня с самого раннего детства — это лет эдак с четырех — заветная мечта: мультики

рисовать. Но первое же наше с мамой посещение «Союзмультфильма» показало, что мечтать об этом мне, дочке инженеров, не стоит. Потому как в детский кружок рисованной мультипликации можно было попасть, только имея родителей-режиссеров или на худой конец какую-нибудь тетю Машу, виртуозно разливающую сок по стаканам в буфете Дома кино. Об этом и поведал нам тихонько руководитель кружка. «Ищите дядю-режиссера, — сказал он маме на прощанье. — И я с удовольствием возьму вашу девочку: у нее рисунки добрые и живые».

«Дядю-режиссера» мне-таки через пару лет отыскали: он в местном детском садике Дедом Морозом подрабатывал. Так что в кружок желанный я попала — правда, «переростком», — и долго еще с нескрываемым изумлением взирала на детишек режиссеров, от скуки пуляющихся на занятиях шахматными фигурками. Они ведь не по призванию сюда пришли, эти дети, не потому, что с «дядей Котеночкиным» хотели, как я, волка рисовать. Вот такая у меня была детская обида, и забыть ее, как мне этого ни хотелось, я не могла.

Итак, быстрехонько отстрелявшись в итоговом сочинении дежурными фразами про дома с яркими фасадами и простых советских трудящихся, разгуливающих в отпусках по цветущим садам далеких планет, я перечитала все написанное и... призадумалась. Как-то фальшиво у меня получилось, хотя вроде все было правильно и красиво написано. Нет, слишком много у нас еще несправедливости, чтобы люди ходили по улицам города с блаженно-счастливыми лицами, столь красочно мною описанными.

И черт-таки дернул меня за шариковую ручку. А может, это ангел перышко из крыла своего услужливо протянул — как вам больше нравится. И я приписала к практически готовому сочинению одну «совершенно ненужную и глупейшую» — как меня потом убеждали учителя — фразу. Смысл ее был в том, что главное все-таки не в домах из стекла и бетона и не в полетах на другие планеты. А в том, что в будущем у каждого человека будет любимая профессия, потому что скоро, совсем скоро исчезнет из нашей жизни всяческий блат. И если, скажем, сын дворника будет прекрасно рисовать, никто не посмеет препятствовать ему стать художником.

С сознанием выполненного долга я захлопнула тоненькую тетрадочку в зеленой обложке и отнесла ее на стол учителю...

Что было на следующий день — это может представить себе лишь тот, кому повезло учиться в то время. «К счастью, — как убеждала “мою терпеливую мать” учитель литературы, — перед тем как отправить сочинения на районную комиссию, их читают школьные учителя». «Ну, и что нам теперь с этим делать прикажете? Тетрадки-то все помеченные, с печатью! — чуть не плакала завуч старших классов. — Ну и где, скажите на милость, ваша дочь видела в нашем социалистическом обществе блат? И слово-то ведь такое где-то услышала!»

Надо отдать должное моей маме: она лишь вздохнула и, глядя на меня, произнесла знакомое: «Ну вот, опять все дети как дети, а ты отличилась!» Промучив нас с мамой полчаса, учителя удалились «для принятия решения». Не знаю уж, что они там с моим сочинением решили, но за содержание я схлопотала «тройку». За запретное слово «блат», не иначе.

Сейчас, по истечении стольких лет, пора бы, наверное, выбросить из головы этот случай. Но — не выбрасываю. Смеяться будете, но я до сих пор им себя «меряю и чищу». «Ну что, побоишься на сей раз слово “блат” написать?» — ехидно вопрошает Ирка-маленькая Ирку-взрослую в особо экстремальных ситуациях. И мне очень сложно предать ту смешную девчушку, глядящую на меня чуть исподлобья. «Ну вот, все дети как дети, а ты...» — с улыбкой отвечаю я Ирке-школьнице и... смело опять наступаю на те же грабли.

Профориентация — такое серьезное слово вошло в нашу жизнь, когда мы перешли в девятый класс. Нет, конечно, мы и раньше знали, что далеко не всем нам по окончании школы посчастливится поступить в вуз, а значит, мы уже сейчас должны готовиться к взрослой жизни, получая некие профессиональные навыки. У нас в районе для этой цели даже школьный завод «Чайка» организовали, где мы раз в неделю после уроков собирали дверные замки из готовых деталей, до крови расцарапывая руки жесткими пружинами.

Но в девятом классе нас явно ждало нечто более серьезное, чем сбор замков. Это мы поняли сразу, как только узнали, что четверо девочек из нашего класса будут получать профессию секретаря-машинистки. Почему только четверо — история умалчивает, но ходили слухи, что у этих девочек просто «родители вовремя подсуетились».

А что же оставалось делать нам — тем, кому не хватило мест за пишущими машинками? О-о-о, нас прямо-таки заждалась одна замечательная профессия: шить лифчики на МПШО «Черемушки»! Нам даже платить за это что-то обещали, и мы с подружкой Ирккой уже заранее облизывались, предвкушая, как на большой перемене будем покупать у кинотеатра «Одесса» не фруктовое мороженое в стаканчике за 7 копеек, а эскимо с орешками за 28, на которое нам так редко хватало выпрошенных у родителей денег.

Однако, ознакомившись с будущей трудовой деятельностью и расценками на оную, мы с подружкой несколько приуныли. Ибо нам с Ирккой предстояло... пришивать к лифчикам резинки, и стоило это всего-то 3 копейки за сотню «притачанных деталей». Конечно, мы сами были во многом виноваты: на уроках труда в школе больше хулиганили, чем ночнушки шили и борщи варили, — вот нас так учитель труда и отрекомендовала! Типа, только на резинки мы с Ирккой и годимся...

Как бы то ни было, работать за 3 копейки было настолько влом, что мы с подружкой соскользнули со стульев у швейных машинок и пошли шататься по цеху. Дабы лишний раз убедиться, что с дешевыми резинками «повезло» только нам.

Представьте себе, мы не ошиблись. Наши одноклассницы уже вовсю сострачивали швы на чашечках лифчиков, а Верке, как самой послушной и умелой, даже поручили «обтачку изделия на оверлоке» — так именовалась эта жутко сложная операция, цена коей была аж 79 копеек за сотню! Это сколько же мороженого за 28 копеек сможет слопать Верка, если сотни три-четыре лифчиков вокруг обошьет!

...Уж не помню, кому из нас от безделья пришла в голову сия безумная идея, но уже через час Ирка магически перевоплотилась... в Мадам Суперлифчик. Через плечо ее, подобно орденской ленте, было перекинута нечто, состроченное из чашечек лифчиков самых разных размеров — от «нулевого» («прыщики надо йодом мазать!») до восьмого («парашюты у нас в спортивном отделе продаются!»).

В таком, скажем прямо, ослепительном виде Ирка — Мадам Суперлифчик — безнаказанно дефилировала по цеху аж полчаса, пока не столкнулась бюстом к бюсту с нашей наставницей, кою мы с подружками при первой же встрече окрестили Женщиной С Усталыми Глазами (или ЖСУГ сокращенно).

Скандал на МПШО, конечно, был невероятный. Оказывается, такое ЧП на «Черемушках» произошло впервые за всю славную историю его существования. Нас с Ирккой на следующий день «повесили на доску бракоделов» — то есть не нас, конечно, а наши фамилии и наше совместное

суперизделие. Пригрозили, между прочим, что вычтут стоимость испорченного материала из зарплаты. Может, и вычли бы, но зарплата наша была столь «велика», что мы и так практически ничего не получали.

Так и ходили мы честно на МПШО аж целый год, благо от школы оно недалеко располагалось. Многие, правда, пытались выгадать себе за счет практики свободную среду, «набивая температуру на батарее». Или, попросту говоря, прислоняя на секунду-другую градусник ртутным концом к батарее центрального отопления. Правда, для этого нужно было иметь недюжинный опыт и сноровку: у меня, например, взбесившаяся ртуть упорно скакала до конца шкалы, и все попытки отправить ее обратно, хотя бы к отметке 39, ни к чему не приводили. Так что пришитых резинок на мою долю за год пришлось более чем достаточно.

А в конце года к нам подошла ЖСУГ и осторожно так поинтересовалась, а не хотим ли мы теперь, получив замечательную профессию швей-мотористки, прийти после школы работать на МПШО «Черемушки»? И если кто-то из нас, не желая огорчать эту хорошую и добрую женщину, отвечал: «В институт не поступлю — приду!» — ЖСУГ прямо-таки расцветала и поспешно делала какие-то пометки в своей записной книжке.

Мне тоже не хотелось ее огорчать, но, еще в первом классе определившись с выбором профессии, я честно ответила ей: «Не-а, я к Котеночкину пойду, “Ну, погоди!” рисовать!». И, чтобы не выглядеть в ее усталых глазах Хрюшей, добавила: «А хотите, я вам оду напишу?»

Наставница моя, понятно, сразу просияла: ну конечно, она очень хотела, чтобы на нашем «выпускном» прозвучала ода родным «Черемушкам»!

Ода написалась с полпинка и столь же быстро была подвергнута жесточайшей цензуре со стороны ЖСУГ и других наставниц. Безжалостно вымараны были сатирические строчки, кои, как мне казалось, весьма удачно высмеивали девочек, набивавших себе температуру «на батарее» и тем самым тормозивших обеспечение женского населения Москвы высококачественными лифчиками. Эти строчки я до сих пор помню наизусть:

*Если нет температуры —
шей детали без халтуры.
Будет очень неопрятно, сами посудите,
Коль в неровном лифчике
В класс войдет учитель!
И не спеши класть поскорее
Ты градусник на батарею,
А лучше, если нездоров,
Ты посети-ка докторов!*

В результате цензуры от моей «Оды “Черемушкам”» осталось одно четверостишие, кое, по мнению наставниц, достойно было прозвучать со сцены в день торжественного окончания нашего профобразования. И я прочла его — громко и гордо, как мне и велели:

*Я обожаю вас, «Черемушки» родные,
Ни дня я не смогу без вас прожить,
И на прощанье вам я обещаю,
Что шила, шью и вечно буду шить!*

Ирина Озеркова. Белая ворона и ее родители

Насколько я любила учиться, настолько же не любила школу. С первого по третий класс было все хорошо, в четвертом тоже. А вот в пятом классе я начала думать. И мои не очень веселые размышления касались двух основных пунктов: общественной работы и отношений в классе. В сущности-то, как сейчас понимаю, думала я правильно, только говорить вслух об этом было не обязательно.

Возможно, я не просто «белая ворона», а «белая ворона наследственная». Мой отец никогда не воровал и не брал взятки, хотя и был военный со строительным дипломом. Его даже за глаза называли «динозавром». Не состоял в партии. В итоге ушел в отставку в звании подполковника. Мне говорили (этот эпизод не помню, а родителям вот запомнилось), что однажды я рассказала в школе политический анекдот, услышанный дома. Как ни странно, последствий это не имело. Меня по этому поводу точно никто дома не «воспитывал».

И политикой самой по себе я не интересовалась: очень нудно. Читала, как все в городке, «Правду», «Красную звезду» (вот уж тоска зеленая!) и «Пионерскую правду», конспектировала для уроков истории бесконечные съезды и пленумы (еще и заучивать эту жуть предлагалось!), раз в месяц по графику готовила политинформацию.

Ну так вот, об общественной работе. В конце семидесятых — начале восьмидесятых во всех школах Советского Союза она считалась обязательной. В том числе и в нашей. Человека, который ей не занимался, ругали не просто так, а перед строем на пионерском сборе. Соответственно, у каждого была какая-то должность. У меня, поскольку я училась практически на отлично, она называлась «руководитель учебного сектора». Это значит: заниматься с отстающими, следить за дисциплиной на уроках и вывешивать «экран успеваемости класса» на всеобщее обозрение. Вот против последнего я и восстала. Не то чтобы это отнимало уж очень много времени, хотя, конечно, отнимало. Просто противно было, потому что начиналось: «А можно не ставить мою двойку?» Я, честно говоря, не понимала, почему Пете надо всё выставлять, а Марине не всё. Я и себе всё подряд выставляла. Правда, у меня двоек не было, но меня и за тройки ругали, и четверку считали не вполне подходящей отметкой. Чуть что: «Твой отец окончил школу с золотой медалью, а мать с серебряной, а у тебя никакого прилежания!» Но это мама. А папа, похоже, совсем не интересовался моей учебой. Или интересовался, но так, что я об этом не знала. Он был в курсе того, что у нас происходило, и писал по разным поводам небольшие стихи. Я, к сожалению, помню немногие. Записывала их в тетрадку, а потом, когда однажды принесла ее в школу показать подруге, один одноклассник вытащил ее у меня из портфеля, начал читать вслух, а когда я попыталась отобрать, просто порвал на кусочки. Переписывать ее заново я не стала, думала, и так помню. А теперь уже и не восстановить.

В шестом классе мне стали выписывать «Пионер», и мои мысли начали обретать формулировки. Я, как бы сказали теперь, фанатела по повестям Крапивина. Мне казалось: вот где-то там, в Свердловске, совсем другая жизнь. Там пионерские сборы — не копия классного часа, там понимают, что общественная работа — она потому так и называется, что делается для общества, а не для отчета. А друзья — это те, с кем делаешь общее дело.

И, конечно, я нарвалась. Однажды в ответ на упреки, что мои действия вредят коллективу, я заявила, что никакого коллектива у нас нет, а есть сборище мальчиков и девочек. Фактически я процитировала «Колыбельную для брата», но этого никто не заметил. Мне объявили бойкот. А в конце недели пропесочили меня на пионерском сборе за то, что я же его и нарушила, когда помогла подруге выполнить домашнее задание. Какая в этом была логика, мне непонятно до сих пор. Но, несмотря ни на что, несчастный «учебный сектор» с меня не снимали аж до восьмого класса.

Мне оставалось тихо завидовать параллельному классу, у которого классным руководителем была пожилая математичка: она не предъявляла ко мне никаких претензий, но посоветовала моим родителям выписать мне «Квант», а в восьмом классе я начала ездить в МГУ в вечернюю математическую школу.

Смена классного руководителя в седьмом классе ничуть не помогла мне во взаимоотношениях с одноклассниками — я так и оставалась фактически вне класса. Мне еще раз объявляли бойкот. Несколько раз я демонстративно прогуливала уроки после очередного конфликта. При этом, как ни странно, воображала себя сильной личностью. К восьмому классу у меня уже было несколько подружек.

В восьмом классе произошла одна дикая, с моей точки зрения, история. Дело все в том, что нас в классе было очень много — больше сорока. Видимо, и в параллельных тоже — и тогда не было практики делить большие классы. И вот однажды среди учебного года прислали еще одну новенькую. В отличие от тех, кто появился 1—2 сентября, эту встретили не просто плохо, а очень плохо — возгласами: «Ну вот, еще одна», — и намеренным игнорированием. Она как-то сжалась и даже не делала попыток общаться. И я не подошла. Не потому, что чего-то боялась — я к тому времени не боялась ничего. Просто каждый раз находились другие дела: дописать самостоятельную, доделать уроки, просто идти в столовую или другой кабинет... И через несколько дней она исчезла. Сначала сказали — заболела, а потом мы узнали, что ее отдали в другую школу, в колхоз, так как в городке была только одна наша школа. Я потом очень долго винила себя за то, что она ушла.

С середины седьмого класса отличников начали принимать в комсомол. Обо мне речь не шла: я то практически отличница, но вот с общественной точки зрения... Во всяком случае, когда я поинтересовалась рекомендацией, отказали наотрез. Вспомнили обо мне только в середине восьмого, когда неохваченными оказались совсем уж неуспевающие да еще я. Тогда как-то неприлично стало: человек с всего двумя четверками, одна из которых по физкультуре, даже общественную работу какую-то делает, профориентацией занимается, и как, почему... В срочном порядке приняли. Как оказалось, мне повезло: на собеседовании в элитную столичную школу № 179 вопросом членства в комсомоле интересовались, без него могли и не взять.

А вопрос, оставаться ли в своей школе после восьмого класса, для меня вообще не стоял — я была готова уйти даже в ПТУ. Но тут — взяли в Москву, чего никто, кажется, не ожидал. Выпускного вечера после восьмого класса не было. Моя мама предложила отпраздновать это событие мне с подругами, но каким-то образом об этом узнал практически весь класс, хотя большинство из них никогда не бывало у нас в гостях. Все пришли и стали веселиться, напрочь забыв, что делают это у классной «белой вороны», которую так долго бойкотировали.

Ни на один вечер встречи выпускников этого класса меня не приглашали под предлогом «Ой, а мы не знали, где тебя искать», хотя я до сих пор прописана в городке, а он не так уж сильно разросся со времен моего детства.

Может, никак не могут смириться с тем, что мне на это наплевать?!

Елена Курдюмова. Комсомол и я

Вначале небольшое уточнение по времени и пространству: я училась в средней школе (без номера, иногда писали № 1) поселка Великий Бурлук Харьковской области в 1977—1987 гг., время событий рассказа — 1983—1986 гг.

По дороге в школу мы, трое друзей, обычно встречались на углу: со стороны рабочих домиков колхоза имени Димитрова подходили Олег с Аленой, а я — с улицы Чкалова. Дальнейшие полчаса пути до школы мы преодолевали вместе. Я и Алена были подружками и ровесницами, Олег — на год старше нас. Он нравился мне, и это было моей тайной. Алена в нашей небольшой компании всегда являлась центром внимания: маленькая и ладненькая, очень красивая, юморная, она никогда не лезла за словом в карман, а поэтому скучать рядом с ней не приходилось. Я в ее присутствии всегда оставалась в тени и в основном больше молчала.

В тот день Олег появился на месте нашей встречи сам. Он сказал, что Алена с мамой срочно уехали к родственникам: там заболела бабушка.

Оставшись впервые с Олегом один на один, я вдруг поняла, что нам сейчас будет совершенно не о чем говорить, и очень растерялась, ведь главным связующим звеном между нами была Алена. Некоторое время мы помолчали. Потом Олег взял инициативу на себя, беседа завязалась и вошла в обычное русло. Сначала говорили о школе и об уроках, остановились на литературе, он сообщил мне, что любит Есенина и не любит Маяковского, потом читал мне Есенина, потом читал свои стихи...

Когда уже почти дошли до школы, Олег вдруг сказал:

— Мне через неделю исполняется четырнадцать. Надо вступать в комсомол. А так не хочется!

— Ты что? — удивилась я. — Как можно не хотеть в комсомол?

— Я про то, — ответил Олег, — что мне дадут какое-нибудь общественное поручение. И надо будет тянуть эту нагрузку! Ведь комсомольцу стыдно не выполнять поручение!

Как в воду глядел мой товарищ. Примерно через полмесяца он стал комсомольцем. А еще через пару месяцев его, скромного, ничем не выделяющегося хорошиста, вдруг выбрали комсоргом школы. Как это произошло — для меня осталось загадкой. Теперь в подчинении у восьмиклассника Олега находилось около двухсот пятидесяти комсомольцев нашей школы — ученики восьмых-десятых классов. Он оказался на виду, и многие интересные девочки обратили на него внимание. А я вдруг решила, что мне совсем не светит быть рядом с ним...

Прошел год. Было 20 сентября — день моего рождения. У нас в школе в комсомол принимали двадцатого числа каждого месяца. Мне не терпелось попасть туда, поэтому я написала заявление заранее, чтобы стать комсомолкой прямо в день своего четырнадцатилетия.

Комиссию по приему возглавлял Олег, а в саму комиссию входили члены школьного комитета комсомола. За порядком следила вожатая, но, так как наши комитетчики были ребятами серьезными, она там просто отдыхала. После школьного этапа, примерно через неделю, нас водили в райком и там уже принимали окончательно. Задачей школьного комитета комсомола было подготовить кандидатов, а именно: заставить выучить все то, что полагалось знать настоящему комсомольцу.

Для поступления в комсомол прежде всего требовалась серьезная теоретическая подготовка. Перво-наперво учили комсомольский устав. Вообще само поступление напоминало мини-экзамен по истории КПСС и истории комсомола. На вопрос «Для чего ты поступаешь в комсомол?» полагалось отвечать: «Чтобы быть в рядах передовой советской молодежи!» Этот ответ звучал как клич, как

призыв, как заклинание, как пароль к будущей комсомольской жизни. А главное — мы свято верили в эти слова.

В школе я была отличницей, у меня была хорошая память. Выучить устав и историю для меня не составляло труда. Но вот материалы пленумов... Так до сих пор и не поняла, как их можно запомнить.

В день рождения родители подарили мне наручные часы минского завода «Луч» — самые красивые часы в Советском Союзе. Они были маленькие, изящные, золотистые — мечта любого! Но в нашей школе запрещали носить часы до четырнадцати лет — считалось, что это предмет роскоши, и, кроме того, отвлекает детей от учебы. Поэтому мои законопослушные родители позволили себе купить такой подарок дочери только в день моего четырнадцатилетия.

Итак, я стояла перед комиссией. Часики приятно и непривычно оттягивали мне левую руку, я была вся во внимании, готова ответить на любые вопросы. Сначала все шло замечательно. Для порядка у меня спросили имя и фамилию, хотя все сидящие хорошо меня знали. Потом спросили дату рождения. «Так ты у нас сегодня именинница! — сказал Олег. — Ну тогда с днем рождения!»

А дальше последовали вопросы и ответы. Сначала я отвечала блестяще, потом раза три «сыпанулась» на пленумах. Меня приняли с условием, что перед приемом в райкоме пленумы я должна еще подучить. В перерыве Олег подошел ко мне. «Ты что так плохо подготовилась? — возмутился он. — Не вздумай меня опозорить в райкоме!»

Вопреки нашим опасениям, в райкоме все прошло гораздо проще. Первое, о чем меня спросили: «Как ты учишься?» Я ответила, что на отлично. «Отличница?! — переспросил секретарь райкома. — А чем летом занималась?» Я ответила, что работала в колхозе в огородной бригаде по уборке овощей. «Я предлагаю принять!» — сказал секретарь, и все проголосовали единогласно. Впрочем, как еще могли проголосовать в то время?

Через некоторое время, довольно быстро, я тоже стала членом школьного комитета комсомола, где выполняла обязанности секретаря: писала протоколы заседаний комитета и школьных комсомольских собраний. Попросту говоря, я стала личным секретарем у Олега.

3

Близился день рождения комсомола. Мы готовили праздничный концерт. К мероприятию подходили ответственно и серьезно.

Несколькими годами ранее в нашей школе был замечательный хор. Его организовал новый учитель музыки Николай Викторович Мозговский. Он начинал с того, что записывал учеников четвертых-седьмых классов на хор практически принудительно. Но надо сказать, что, попав туда однажды, дети ходили на хор с большим удовольствием.

Мы были обычными учениками без специального музыкального образования, но тем не менее пели на два голоса. Хор занимал на областных смотрах города Харькова не ниже третьего места среди всех районных и городских хоров. Наши выступления были сделаны профессионально и всегда занимали основную часть всех школьных и районных праздничных мероприятий.

Но в последнее время Николай Викторович начал очень усиленно заниматься своей карьерой, и это пошло не на пользу нашему хору. Во-первых, Мозговский решил, что учителем музыки, скорее всего многого не добьешься, и поступил на исторический факультет, чтобы получить второе высшее образование. Во-вторых, он вступил в партию и стал парторгом школы. С этого момента наш хор

попросту прекратил свое существование.

Шел концерт. Каждый класс приготовил свои художественные номера, основой которых все равно были те песни, что мы когда-то выучили на хоре.

В середине концерта в актов^{ый} зал завалила группа подростков хулиганского вида. Они уселись на последнем ряду и стали вести себя развязно: громко разговаривали, бросали в адрес выступавших непристойные реплики. Несколько раз им делали замечания. Дважды прерывали концерт, чтобы призвать их к дисциплине. Потом хулиганов попросили уйти. Они на время замолчали, но вскоре снова принялись за свое.

После того как пропели последнюю песню, на сцену поднялся Николай Викторович Мозговский. На правах парторга он заявил, что концерт был практически сорван, и поэтому все комсомольцы нашей школы лишаются праздничной дискотеки. Я думала, что все сейчас обиженно и обреченно разойдется: в наше время учителей было принято слушаться. Но не тут-то было: на сцену к парторгу вышел наш комсорг Олег и заявил, что мы, добропорядочные комсомольцы, концерт не срывали, осуждаем поведение этих хулиганов и не собираемся разделять наказание, предназначенное им. Николай Викторович ответил, что если комсомольцы, считающие себя добропорядочными, допустили подобное поведение в своих рядах, то должны быть лишены дискотеки в обязательном порядке. Страсти накалялись. На сцену поднялся директор школы Николай Алексеевич Корякин.

Наш директор запомнился мне прежде всего своей золотозубой и при этом ленинской улыбкой. Никогда не помню, чтобы он ругался или повышал на кого-то из учеников голос. Этим занимались завучи. Вообще у наших завучей был имидж церберов: всегда свирепый вид, взгляд исподлобья и ужасно злые глаза. Когда они подходили к нам, то у нас тут же невольно, холодком по спине, пробегало чувство, что мы в чем-то провинились. Улыбка директора, напротив, всегда внушала доброжелательность, была вывеской нашей школы, а самого директора мы видели в основном только на общих праздниках. Как он работал с подчиненными педагогами, мне неизвестно, но в нашей большой школе на полторы тысячи детей всегда был порядок.

Директор сказал: «Ребята, раз уж мы с вами здесь собрались вот так подискутировать, то давайте проведем внеочередное комсомольское собрание. Пусть каждый, кто хочет, выйдет и выскажет свое мнение». Собрание так собрание: я быстренько достала блокнот и ручку и приготовилась стенографировать.

Наши комсомольцы выходили один за другим. Каждый говорил примерно одно и то же: что все мы ждали этот день, что с удовольствием трудились и готовили концерт, что мы заслужили эту дискотеку, и было бы несправедливо в день рождения комсомола лишать нас праздника... Николай Викторович Мозговский стоял на своем, говоря, что дискотеки быть не должно. А Николай Алексеевич, с одной стороны, совсем не хотел наказывать нас за то, в чем мы были не виноваты, а с другой стороны, пытался вырулить перегиб Николая Викторовича, не уронив при этом его достоинства перед лицом учеников. Но тот не знал меры. В конце концов Мозговский заявил: «Перед вами здесь стоят директор и “выше”, а вы так себя ведете!» На что Олег ему ответил: «Вы считаете, что вы выше директора? Да если хотите знать, то, что сейчас говорит нам Николай Алексеевич, верно и справедливо, а то, что говорите вы, нам вообще до лампочки!»

Сообразив, что ему все равно придется капитулировать, Николай Викторович решил сдаться малыми потерями. Он закончил словами: «Что ж, пусть тот, кто считает себя настоящим комсомольцем, перед лицом своей комсомольской совести откажется от дискотеки, а все остальные могут туда идти, и пусть им будет стыдно!» — и с этими словами ушел со сцены.

Писать протоколы — очень нудная работа. А я была человеком творческим. Очень часто, чтобы не умереть со скуки от нудной формы и регламента, я писала протоколы в виде интересных диалогов, которые у нас порою случались на комсомольских собраниях.

Никто не ругал меня за такие протоколы, я подозреваю, что их вообще никто никогда не читал. В протоколе этого собрания я описала все, что говорил каждый, со всеми их репликами, даже самыми резкими. Это было целое литературное произведение; жалко, что я не сохранила его для себя.

Мне не нравились наши школьные дискотеки. Музыка там гремела очень громко, а я не люблю, когда много грохота. Но все равно ходила туда, ведь дискотеки любили мои товарищи, а мне хотелось быть рядом с ними. В тот день мы плясали с огромным удовольствием и с чувством победы, воплощая в танце всю страсть своей детской наивной души. После дискотеки шли домой в том же составе: я, Олег и Алена. Нас обогнали Мозговский и моя классная руководительница и так и шли почти всю дорогу в десяти метрах впереди нас. Людмила Николаевна что-то страстно пыталась доказать Николаю Викторовичу, очень темпераментно жестикулируя при этом. А Мозговский все время крутил головой и не соглашался с ней.

«Когда он был простым учителем музыки, то был моим любимым учителем. А теперь я даже не знаю», — сказала Алена, смотря ему вслед...

Алексей Курилко. Про немца, волка и драки до... дружбы

В первый раз в первый класс я отправился не первого сентября 1983 года, как все нормальные дети, а второго. Первого сентября у мамы случился острый приступ бронхиальной астмы: под утро дважды вызывали «скорую помощь». Словом, было не до школы.

Школьную форму мне мама купила, а вот на портфель денег не хватило. В киевскую школу № 94 я пошел с полиэтиленовым пакетом, на котором была изображена Алла Пугачева. К этому позору прибавилось отсутствие приличной обуви. Туфли были недоступны, сандалии прохудились. Пришлось идти в кедах. Даже я осознал, что вид мой жалок.

Оказалось к тому же, что я самый маленький в классе. Меня посадили за первую парту, напротив учительского стола.

На ближайшей же перемене я сообщил одноклассникам, что я немец. Это была наглая ложь. Немкой была моя сестра, да и то наполовину.

Одноклассники мне не поверили. Вернее, засомневались.

Кто-то попросил:

— А ну, скажи чего-нибудь на немецком.

— Ладно, — говорю.

Я выдержал паузу, а затем изобразил что-то дикое вроде:

— Схайне бит дрите лайн хуц глите!

Я выкрикнул этот нелепый текст громко и звонко, так же как говорили фашисты в советских

фильмах. Прозвучало похоже и убедительно. К тому же я несколько раз слышал, как сестра разговаривала по телефону со своим отцом. И всякий раз ее передразнивал довольно похоже. Так что имитация удалась.

Одноклассники спросили:

— И что ты сказал?

— Сказал, — говорю, — какие же вы дураки, раз не верите.

— Это какая-то абракадабрица, — фыркнул самый здоровый из мальчишек.

Я закатил глаза и сказал то, что частенько повторяла мама:

— О, майн гот! Фома ты неверующий. Заткнись, раз не знаешь.

После чего я усугубил ситуацию тем, что сообщил по большому секрету, будто у меня дома живет волк. Хотя на самом деле это была всего лишь моя мечта.

— Какой волк?

— Обыкновенный, — говорю. — Серый такой.

— Откуда? — спросил тот самый здоровенный мальчишка, которого, как я понял, звали Сашей.

Сквозь презрительный прищур я оглядел Сашу с ног до головы и ответил:

— Из леса, откуда же! Или ты думаешь, волков в магазине продают?

Все кругом рассмеялись. Саша насупился:

— Врешь ты все! Диких зверей нельзя держать в городе.

— Сам ты, — говорю, — дикий. Но тебя ж держат в городе.

Он пихнул меня в грудь. Я упал. Назревал конфликт. Поэтому я применил излюбленный прием.

— Извини, — сказал я и протянул руку для рукопожатия. — Давай дружить?

Саша растерялся. Он стоял и не знал, как поступить — отпихнуть меня или пожать мою руку. В следующее же мгновение я ударил его кулаком в нос и сразу кинулся наутек. А догнать меня никто не мог. Бегал я легко и быстро.

Конечно, это было подло. Но в открытом противостоянии с этим бугаем мне ничего хорошего не светило. Я никогда не переоценивал свои физические возможности.

Я и во дворе своем так поступал. Я был хилым мальчишкой, но при этом болезненно гордым и самолюбивым. Грубость или малейшее пренебрежение со стороны сверстников могли вывести меня из себя.

Тактика «ударить и бежать» в итоге всегда приносила свои плоды. Со мной предпочитали не связываться. Меня это устраивало. То, что это подло и трусливо, меня не трогало. Пусть! Зато меня даже Куренной — заводила и главарь нашей дворовой компании — опасался провоцировать.

Итак, я ударил Сашку Брюховецкого и убежал. После звонка вернулся в класс. При учительнице Сашка не мог мне ничего сделать. На следующей перемене я в коридор не вышел.

Когда за мной после пятого урока пришла мама, ее окружили мои одноклассники.

— А что, — поинтересовались они, — Алеша немец?

— Кто вам такое сказал? — удивилась она и зыркнула в мою сторону.

Я виновато опустил голову.

— А правда, — к маме протиснулся Сашка, — а правда, что у вас дома живет волк?

В глазах матери вновь сверкнуло раздражение. На этот раз я не потупил взор. Глядел исподлобья, с вызовом. Мой взгляд красноречиво говорил: да, мама, я им наврал! Наврал! Я! Так было надо.

Мать все поняла. Поняла все, а может, даже и больше. На то она и мать, чтобы хоть иногда понимать и чувствовать ребенка без лишних слов.

— Конечно, — ответила она детям. — У нас в доме живет волк. А точнее, волчица.

— Так ведь она же может кого-то загрызть!

— Даже хомяк может загрызть, если его довести.

Эту фразу, кстати, Саша Брюховецкий запомнил надолго. Когда мы с ним впоследствии подружились, он частенько цитировал меткие изречения моей матери, и это — про хомяка — в том числе.

Домой шли некоторое время молча. Я ждал маминой реакции.

Наконец она задумчиво произнесла:

— Хорошо, что еще не слон.

Мысленно я согласился. Слон был бы явным перебором.

Уже дома мать полюбопытствовала:

— И зачем оно тебе понадобилось? Врать про волка?

Я не сумел толком объяснить. Только теперь понимаю: этой наивной ложью я, по всей видимости, хотел компенсировать временную ущербность из-за отсутствия портфеля и туфель. Дескать, да, я в кедах, с простым кулечком вместо портфеля, но это все, потому что я немец, а в квартире у нас настоящий волк живет, может, он и съел мои туфли — они же были из кожи... Что-то в таком роде...

* * *

Самым крупным мальчиком в нашем классе был Саша Брюховецкий. Крупный такой мордovorотик спортивного направления, у которого ко всему еще имелся старший брат, он учился в третьем классе. То есть ссориться с Брюховецким было бы себе дороже. Но между нами с самого начала, что называется, кошка пробежала.

Брюховецкого все боялись и лебезили перед ним. Мне подобное поведение претило. Я его дразнил и провоцировал. При этом делал вид, что шучу. По-дружески, так сказать.

Например, я знал, что его бесит, когда к нему обращаются по фамилии. Еще хуже он относился к прозвищам, образованным от фамилии.

Но стоило нам повздорить, и я тут же начинал дразнить его Брюхой. Он принимался гоняться за мной, но бег — не его вид спорта. Запыхавшись, он останавливался, а я, стоя на безопасном расстоянии, скандировал во все горло: «Бедный Брюха! Устал, толстожопик? Конечно, с таким брюхом Брюхе меня не догнать!»

Сашка багровел от ярости и снова бросался в безуспешную погоню.

Раза два-три, правда, он меня подлавливал, было. Тогда приходилось тяжело. Я сопротивлялся как мог, пускал в ход и кулаки, и ногти, и зубы, а также все, что попадалось под руку, включая камни.

Победы надо мной давались ему нелегко. Но он привык быть самым сильным и не мог позволить мне хамского поведения.

Меня считали психованным, потому что однажды я ударил старшеклассника граблями. Нас, второклашек, безбожно эксплуатировали в качестве дармовой рабсилы. На уроках труда мы красили в спортзале батареи, а на продленке вместо положенной прогулки убирали территорию.

И вот, значит, убираем мы территорию. У меня развязался шнурок. Я нагнулся, чтобы завязать его, а проходящий мимо парень влупил мне под зад. И зашагал дальше как ни в чем не бывало. Я схватил грабли и со всей дури засадил их этому уроду в спину. Вернее, хотел засадить. Но зубцы были не такими уж острыми, да и силенок не хватало. Испортил ему куртку и слегка покарябал спину, но зато сколько было крику!..

Маму вызвали в школу. Но в принципе все обошлось. Он был намного меня старше, и у меня было с десяток свидетелей, видевших, что он «первый начал».

Мама меня не наказала. Хотя была недовольна, что ее вызывают в школу, да еще и дают советы касательно моей агрессии. Ей даже советовали сводить меня к психологу. Но сама мама полагала, что я поступил правильно. Я это знал. Она неоднократно мне говорила: «Запомни, за тебя заступаться некому. Ты должен сам уметь постоять за себя».

Она часто повторяла: «Мы с тобой никому не нужны. Ты у меня полусирота. А я схохну — вообще один останешься. Бабушек и дедушек нет. Отцу ты не нужен. А сестра твоя — немецкое отродье, только о себе думает. Так что ни на кого в этой жизни не надейся!»

Но вернемся к Брюховецкому. Наши стычки и ссоры учащались и становились все более угрожающими. Я нередко приходил домой грязный, в синяках... Брюне тоже доставалось. Мои синяки и ссадины маму мало интересовали, а вот за грязную или изодранную одежду мне от нее здорово перепадало.

«Да сколько можно, — кричала она, — я не могу каждый божий день чистить твою форму. Я и так уже чуть ли не зубами эту грязь отдираю! Еще раз придешь в таком виде — убью!»

Но уступить Брюховецкому я не мог. Даже будучи сопливым щенком, я понимал: стоит лишь раз уступить — и никто с тобой считаться не будет.

Как-то раз братья Брюховецкие вдвоем подловили меня. Неравная схватка закончилась быстро. Они повалили меня на землю, скрутили... Но закрыть рот мне они не могли, я лежал на земле и материл их: «Две толстожопые Брюхи от самой брюхатой в мире мамы! Я же видел вашу мамашу, ох у нее и брюхо, в нем столько Брюховецких поместится...»

Один из братьев ударил меня ногой в живот. Я скривился и заорал громче: «Брюхундель ты сраный! Вонючее ты Брюхадло! Чтоб ты не дожрал. Чтоб ты сгинул вместе со своим ненасытным брюхом».

Они стали бить меня вдвоем. А я еще сильнее орал: «Сранные Брюхастики! А, Брюхопилы!...»

На мои крики прибежала какая-то тетка, и я был спасен.

На следующее утро я повстречал их у школы. Они ждали меня у ворот. Обойти их не было возможности. Не пойти в школу тоже было нельзя; во-первых, за прогул меня бы мать убила, а во-вторых, это означало бы, что я их испугался. А проигрывать я не желал. Ни о какой капитуляции у меня и мысли не было. Поэтому я похромал в их сторону. Я хромал не из-за вчерашней драки, вернее, избиения. Просто после того, как я вернулся домой, мать, увидев, в каком состоянии моя форма, достала из шкафа солдатский ремень с металлической бляхой и всыпала мне таких люлей, в сравнении с которыми Брюхины удары теперь приравнялись к легким дружеским похлопываниям.

Порка ремнем — страшнее наказания мать придумать не могла. Признаюсь честно, это было ужасно больно. Задница потом синего цвета, и для сидения непригодна, и еще долго хранит на себе отпечатки звезд от солдатской бляхи.

И вот, значит, подхожу я к братьям. Внутри все сжалось от страха, а внешне расслаблен. Невозмутим, словно облако. С отрешенным, как у мумии Тутанхамона, лицом. Короче, как говорила моя мама, с понтом под зонтом, а сам под дождем.

Тут Сашка преграждает мне путь и... протягивает руку.

— Давай, — говорит, — дружить.

Хочет усыпить мою бдительность, решаю я. Надеется застать меня врасплох. В общем, думаю о нем плохо. Сужу по себе.

Ладно. Пусть бьет.

Я протягиваю руку навстречу. Внутренне я готов ко всему. Я протягиваю руку с обреченностью приговоренного к казни. И с удивлением принимаю крепкое, но дружеское рукопожатие.

— Ты молодчина! — восторженно восклицает Брюня-старший и тоже пожимает мою вялую ладонь.

— Ты даже не плакал вчера, — сообщает мне Брюня-младший.

Он произносит это с восхищением. И очень доверительно. Так, словно делится со мной некой тайной. Как будто меня там с ними не было вчера.

Мне все еще не верится. Я жду подвоха. Но скоро выяснится — подвоха нет. Я обрел друга. Точнее, двоих друзей.

С Сашкой Брюховецким мы еще не раз будем ссориться, но уже как друзья. А друзьям можно многое простить. Друзьям можно простить все, кроме предательства.

Поступок и проступок

Вадим Богуславский. Опасное увлечение

Эпиграф — брат эпитета и муж эграммы.

Н. Ляпис-Трубецкой

Шутить приятно, но не безопасно. В этом я убедился еще в начале пятидесятых — в годы учебы в родной киевской школе — и запомнил на всю жизнь.

Тогда, в старших классах писали так много сочинений, что, казалось, нас готовят в литературные критики. Мои сочинения были, по-видимому, совсем не плохи. По крайней мере, учительница время от времени читала их перед классом. Считалось хорошим тоном снабжать сочинения эпиграфами, что показывало высокую эрудицию учащихся.

И вот именно с эпиграфами было связано одно мое весьма странное увлечение, которое впоследствии принесло неприятности.

Дело в том, что каждое сочинение я непременно предварял эпиграфом, причем эпиграфы были собственного изготовления. Обычно я придумывал какое-нибудь многозначительное изречение и подписывал его некой не очень популярной фамилией. Особый шик был, если фамилия была двойная.

Например, сочинение на тему: «Темное царство» в произведениях А. Островского» я снабдил фальшивым эпиграфом: «Душно в этой стране, господа, очень душно. Хоть бы кто-то форточку открыл» (А. Сухово-Кобылин).

К сочинению об образах лишних людей в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова я придумал эпиграф: «В России безделье и безумие — родные братья» (С. Сергеев-Ценский).

На разборе сочинений учительница Ната Марковна спросила:

— По-вашему, Онегин и Печорин были сумасшедшими?

На что я дерзко ответил:

— Во-первых, это утверждал не я, а Сергеев-Ценский. А во-вторых, всякий нормальный человек должен трудиться.

Учительница покраснела и отвернулась.

Это была как азартная игра. Каждый раз я ждал разоблачения, но, как ни странно, все сходило с рук. По-видимому, никто не мог предположить такой наглости. Со временем я так наловчился, что, как мне казалось, мои эпиграфы были ничуть не хуже настоящих. Я втайне ими очень гордился.

Например, к образу Иудушки Головлева я предложил эпиграф: «Иудушка Головлев жив и будет жить, пока не исчезнет общественный строй, этот образ порождающий» (В. Бонч-Бруевич).

Кое-кто из моих друзей пытался следовать моему примеру, но это оказалось совсем не просто, в результате мой авторитет среди них рос так же стремительно, как сорняки на дачном участке.

Неприятности пришли, как всегда, с самой неожиданной стороны. Мы писали сочинение на

тему: «М. Горький — буре­вестник ре­во­лю­ции», ко­то­рое я по привычке снабдил э­пи­гра­фом: «О, ветер! Развей тучи над Рос­си­ею! Сдуй с нее пену!» (Карл Кау­т­ский).

Если вы не помните, кто он такой, смотрим в энциклопедию: Карл Кау­т­ский (1854—1938) — немецкий теоретик-социалист, идейный враг В.И. Ленина.

Через какое-то время меня прямо с урока вызвали к директору. Я за собой никакой вины не чувствовал и поэтому был относительно спокоен.

Иван Иванович Один встретил меня какой-то странной, натянутой улыбкой. Он казался взволнованным.

— Присаживайтесь, молодой человек. Тут с вами хотят поговорить. Впрочем, не буду вам мешать. Я должен присутствовать на уроке в 10 «Б». Беседуйте, тут вам никто не помешает.

И Иван Иванович поспешно вышел из кабинета.

Внезапно я заметил, что кроме директора и меня присутствовал еще один человек. Он был одет в серый костюм и темную рубашку и почти сливался с портъерами в глубине комнаты.

После ухода директора незнакомец не спеша перебрался в директорское кресло. С минуту он меня внимательно разглядывал, потом дружески подмигнул и спросил:

— Ну, как жизнь?

Я не был готов к такому вопросу и в ответ промычал что-то невнятное.

— Расскажи о себе, — попросил незнакомец, — начни с фамилии, имени и отчества, с кем живешь, какие планы и так далее.

Я представился, все еще ничего не понимая. Потом рассказал, что живу с матерью и планирую поступать в институт, причем в какой, еще не решил.

— Еще не решил, — воскликнул человек с отеческой интонацией, — пора бы и решить. Ну, хотя бы в технический или гуманитарный?

Я ответил, что мечтаю о факультете журналистики, но туда очень трудно поступить.

— Трудно поступить! — повторил мужчина. — Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет, — продолжал он нараспев. — Главное — идти к своей цели и не бояться трудностей. — Он задумался. Пауза затягивалась, и он протянул мне пачку сигарет: — Закурить хочешь?

Я отрицательно покачал головой и сказал, что не курю.

— Ты, наверное, много читаешь? — возобновил опять он странный разговор.

— Да нет, не очень, — отвечал я, — только то, что по программе.

— А библиотека у вас большая? — он метнул на меня быстрый взгляд.

Я объяснил, что у нас двадцать — двадцать пять книг, одна полка, и та не заполненная.

— А какие у вас книги? — продолжал он задавать праздные вопросы.

— Полное собрание Джека Лондона, Пушкин, «Анна Каренина» и еще что-то, не помню, — отвечал я, теряясь в догадках.

— А старые книги — дореволюционные или первых лет советской власти — есть?

Я ответил отрицательно.

Он помолчал. Мне показалось, что он чем-то разочарован.

— Я читал твои сочинения. — сказал он после паузы. — они неплохо написаны. Особенно последнее. Там очень удачный эпиграф. Как ты его раскопал?

Сердце мое оборвалось, и я сидел молча, чувствуя, что мои щеки пылают.

— Ты его сам нашел или кто-то подсказал? — продолжал он с некоторым торжеством, пристально глядя на меня.

Я молчал.

— Да, я забыл представиться. Майор Гвоздикин, вот мое удостоверение.

Я мельком взглянул на удостоверение и чуть не упал со стула. Потом дрожащими руками вынул из его пачки сигарету. Он предупредительно щелкнул зажигалкой. После первой же затяжки я надолго закашлялся. Он смотрел на меня с доброй улыбкой.

— Лучше не кури. Так ты хотел мне рассказать об эпиграфе? Давай, я тебя слушаю, — сказал он спокойно.

Я понял, что нужно признаваться.

— Я его сам придумал, — сказал я дрожащим голосом.

— Как сам? — не понял майор.

— Ну, просто придумал. Спросите у наших ребят, они подтвердят.

— Постой, постой! Ты утверждаешь, что сам придумал эпиграф? А подпись?

— И подпись тоже. Все ради шутки.

Он был явно озадачен.

— Ну, это мы проверим и насчет библиотеки тоже. И часто ты так шутишь?

— В каждом сочинении. — сокрушенно сказал я. — но теперь я уже больше не буду. Это были глупые шутки.

— А ты знаешь, кто такой Каутский?

— Какой-то писатель, я его никогда не читал.

— Да, от твоих шуток обхохотаться можно, — сказал он раздраженно, — тоже мне, юморист! А учителя, мать их! Никто не фига не знает, поразгонять бы их, да где других возьмешь? Ну что мне с тобой делать?

Он опять задумался. Я сидел ни жив ни мертв.

— Хорошо, слушай меня внимательно. Сейчас иди в класс и спокойно учишься. Об этом разговоре никому ни слова. Мы все проверим. Если ты сказал правду, считай, что тебе повезло. Попади не на меня, другой бы тебя... И думай, перед тем как шутить, хорошо думай. Выпороть бы тебя! Ну, иди!

Я встал и на ватных ногах пошел к двери. Была уже перемена. Мои друзья осведомились о моем здоровье. Я никому ничего не сказал и несколько месяцев ждал последствий, но их не было. Спал плохо и стал рассеянным.

С тех пор я твердо решил не шутить. А что касается эпитафий, то у меня на них аллергия. При встрече с ними я ощущаю какую-то старую, давно забытую тревогу и спешу перевернуть страницу. На всякий случай...

Впрочем, иногда старая болезнь дает рецидивы, как, например, в этом рассказе.

Ольга Кондратьева. «...Расцветет еще пышным букетом!»

Мой папа, молодой фронтовик, очень хотел сына, но родилась дочь, то есть я. Во многом мне повезло: папа, не искушенный в педагогике, растил меня как пацана, не делая скидок на мою девчачью природу. Мы с ним катались на лыжах и на коньках, ездили по музеям и выставкам, по подмосковным старинным усадьбам, вместе читали книжки типа Луи Буссенара «Капитан Сорвиголова». Папа учил меня терпению, выдержке и самозащите. А защищаться было от чего: увы, я полностью подходила под дразнилку «толстый, рыжий, конопатый...» — то есть была кругленькой, ярко-рыжей и конопатой. Разбив несколько носов дразнильщиков, в том числе и более старших, я утвердила свой авторитет во дворе.

В школу я пришла абсолютно уверенной в себе, умея уже читать и считать, такая крупная, сильная и очень живая девочка, эдакий «вождь краснокожих». Соответственно заполнялись и мои дневники: отметками «пять» и «четыре» — за учебу, за поведение — «три» с минусом и даже с двумя минусами, и замечаниями на полях дневника, нередко по всему периметру страницы.

Я была, наверное, одним из первых заключенных, получивших свободу сразу после смерти Сталина. В тот день я, как бывало нередко, стояла в углу в нашей маленькой комнатке в 7 кв. метров в старом доме № 26 на Кадашевской набережной, в полуподвальной квартире № 6. Мой «угол» образовали с одной стороны беленая печка, с другой — высокая этажерка, на верхней полочке которой стоял радиоприемник. Он был включен: передавали какую-то музыку. Мама у низкого окошка вышивала гладью салфеточки. А я в своем углу уныло выковыривала пластины известки и в получившихся глиняных проплешинах стала разглядывать какие-то картинки, фигурки... Вдруг твердый голос диктора по радио что-то объявил, и заиграла траурная музыка. Мама вскочила, заплакала и побежала в коридор, к бабушке и соседям. Я же, погруженная в свои фантазии, не разобрала, что сказал диктор, но сообразила, что мое «заключение» отменяется благодаря важности события. Посему вышла из угла. Никто этого события и не заметил: не до меня было.

В начальную школу я пришла в середине пятидесятых, когда стали набирать силу разоблачительные процессы в партии. В школе № 586, что была в одном из Кадашевских переулков, парадная лестница на площадке в конце первого марша имела подобие цветничка из цветов в горшках, огороженных мелким штакетником, в середине которого высилась белая поколенная фигура Сталина — одна рука заложена за бортик френча, вторая опущена.

Дальше лестница расходилась на два марша, ведущие на второй этаж к классам. Ученики носились по лестнице, почти не замечая «усеченного» вождя, только изредка врезаясь в цветочные горшки. Каково же было наше изумление, когда однажды, придя утром в школу, мы обнаружили эту фигуру вождя лежащей вдоль стенки «раздевалки». Раньше она казалась такой массивной, гипсовой, а на самом деле была легкой — из папье-маше, крашенной белой масляной краской. Да еще полый внутри, глубокой, как пещера... И мы с двумя еще девочками не нашли ничего лучшего, как спрятаться в этой «пещерке» и караулить входящих в раздевалку учеников, выскакивая оттуда с громким криком и рыком, пугая ребят. Поверженный вождь после нашего выскакивания из него с грохотом качался с боку на бок... Взрослые довольно быстро прекратили наше дикое развлечение, строго запретив даже подходить к фигуре из папье-маше, но особенно нас не ругали...

С учительницей начальной школы Верой Николаевной Соболевой, высокой, с фигурой «женщины с веслом», строгой, отношения мои сильно омрачились неприятным эпизодом, наложившим тень на все годы моего обучения в ее классе. Она, конечно, отмечала мои способности, — несмотря на мои проколы в дисциплине, я все-таки была старостой класса, а потом и членом совета дружины. Но этот эпизод...

Я была дежурной по классу. На большой перемене тщательно вытерла доску отполосканной тряпкой, открыла окна, чтобы проветрить класс. Двое мальчишек расшалились и не хотели выходить из класса, прыгали и бегали по партам. С трудом я все-таки их выдворила, но они все время пытались ворваться в класс. Я встала за дверь и подняла наизготовку пыльный веник. Дверь распахнулась, и веник сам дернулся в моей руке и опустился... на Веру Николаевну, которая вошла в класс своей стремительной походкой. Конечно, никого не обрадует получить по лицу пыльным веником... Я была убита, понимая, что никакие объяснения не отменяют случившегося ужаса... Это происшествие в совокупности со многими моими другими шалостями и провинностями и стали причиной того, что моя мама, сама учительница, только в другой школе, тоже очень строгая, много лет спустя в моменты укоров в мой адрес все повторяла слова Веры Николаевны: «Увидите, расцветет еще ваша дочь пыльным букетом...»

Мама была очень сурова ко мне и тщательно следила за моими оценками и «подвигами» в школе. Училась я в общем хорошо. И была достаточно грамотна благодаря запойному чтению с четырех лет и хорошей памяти, все мне давалось легко, кроме чистописания. Мама безжалостно рвала исписанную почти наполовину тетрадь по чистописанию — за грязь и помарки, и заставляла меня переписывать все заново, что я и делала, высунув от усердия язык и заливаясь слезами.

Зато меня никогда не оставляли после уроков учить словарные слова, как многих учеников из нашего класса. Слова учили с помощью написания их по сто раз! Это было «ноу-хау» Веры Николаевны. Убегая вприпрыжку после уроков, я как-то встретила интеллигентного милого дедушку моей соученицы Светланы Техменевой, который спросил меня, где же Света. Я ответила ему почему-то злорадно: «А ваша Света сто раз собаку пишет!» Потом, устыдившись гаденького чувства, запомнила этот маленький эпизодик навсегда. Тем более что Светкин дедушка мне очень нравился — он напоминал мне героя моей любимой радиопередачи, в которой дедушка и его внуки Галочка и Боря отвечали на письма ребят. У меня такого дедушки не было.

Зато у меня была любимая бабушка Оля, по имени которой меня и называли. Она тоже была строгой женщиной, много пережившей, в одиночку воспитавшая троих дочерей. Средняя дочь, тетя Лиза, погибла в войну в 1943 году. Почему-то бабушка считала, что я чем-то на нее похожа, и очень меня любила, нередко выручала и защищала от грозящих за баловство кар.

В начальной школе у меня образовалась «система двух портфелей». Мне купили для третьего

класса новенький коричневый портфель из свиной кожи. А старый портфель, точно такой же, но потрепанный и черный, сохранился и пригодился не раз... Вера Николаевна применяла к особенно злостным нарушителям дисциплины в качестве наказания изъятие портфеля. Все содержимое, помимо учебников, приходилось распахивать по карманам. Идти домой без портфеля было стыдно: только заядлые хулиганы имели всегда с собой обычную резинку, которой перетягивали книжки и ручки. К тому же за портфелем должны были приходиться родители, получая при этом еще и порцию нотаций и выговоров от учительницы. За моим портфелем, когда был отобран уже и второй, ходила бабушка и родителям ничего не рассказывала. Я же, как злостный хулиган, завела себе резинку для книжек и несла свое добро, перетянув резинкой, с дерзким, легкомысленным и вызывающим видом, будто мне все нипочем, хотя на самом деле это, конечно же, было совсем не так...

* * *

В пятый класс я поступила уже в школу № 106, в другом районе Москвы, поскольку семья наша переехала на новую квартиру в доме на Профсоюзной улице. В новом 8-м квартале, где мы поселились, школа только строилась, и мне повезло: пришлось пойти в школу, которая предназначалась как бы для жителей 9-го, «показательного», квартала. В 7—8-м классах набор учеников сильно изменился, многие ученики ушли из школы в специальные учебные заведения, разного рода училища, некоторые устроились на работу, продолжая учиться в вечерней школе. Классы пополнились учениками, родители которых уже прослышали об этой школе и стремились дать своим детям хорошую подготовку для поступления в институт. К этому времени директор школы Леонид Исидорович Мильграм титаническими усилиями уже формировал преподавательский и ученический состав для будущей прославленной спецшколы № 45.

Меня должны были перевести в новую обычную школу в нашем квартале, но завуч и директор просили РОНО оставить меня в 106-й школе: за два года я уже успела себя проявить не только как способная и активная ученица, но и как школьный поэт и незаменимый главный редактор огромной школьной стенгазеты, постоянная староста класса и вообще как неформальный лидер. Мне очень нравилась эта школа, нравился наш класс, такой дружный и веселый, с такими разными, но очень интересными и способными ребятами.

Мы часто собирались после уроков и гуляли пешком до Ленинских, то есть Воробьевых гор, или катались зимой на санках в местном овраге; мы не только ходили вместе в походы, а по утрам до уроков весной и осенью играли в модный тогда бадминтон, но и вместе посещали музеи и кино, вместе с группой девочек брали частные уроки по английскому языку. Ученики в классе были сильные, трудолюбивые, упорные, ориентированные в основном на технические вузы. Гуманитарная составляющая звучала в школе не так мощно, но в лице преподавательницы русского и литературы Ирины Григорьевны Овчинниковой, впоследствии журналистки в «Известиях», достаточно ярко и увлекательно, что для меня, конечно, было очень важно. Соответственно, в вузы поступили все двадцать восемь учащихся, которые остались в 9 «А» и доучились до одиннадцатого класса; я ушла после девятого в педучилище № 1 им. К.Д. Ушинского, после окончания которого поступила в МГУ на факультет журналистики.

Незабываемым примером трудолюбия была для меня сестра девочки из нашей классной компании, Тани Кузинец, Людмила. Она была не намного старше Тани, но уже училась в консерватории, и, когда бы мы не заходили за Татьяной, Мила уже сидела за фортепьяно: рано утром, иногда в ночной рубашке, она уже терзала инструмент, разминая пальцы гаммами.

Но и в нашем классе к учебе все относились вполне серьезно, конкурсные задачки были в ходу уже с восьмого класса. Особенно строга была наша математичка, преподававшая раньше в

суворовском училище, Ида Борисовна: пышные седые волосы и большие круглые очки делали ее похожей на ученую сову. Она устраивала контрольные-летучки внезапно, без предупреждения и подготовки. Я побаивалась ее, подозревая, что она не питает в отношении меня особых надежд. Но однажды я умудрилась со страху на контрольной написать доказательство теоремы таким способом, каким, как оказалось, ее доказывали в каких-то древних веках, и удивленная Ида Борисовна даже как-то зауважала меня, сказав, что на самом деле я способная к математике, но ленивая. Я не стала объяснять ей свои чисто гуманитарные устремления, но могу честно признаться, что стерео метрия меня завораживала, я даже во сне решала задачки, блуждая внутри кубов и пирамид.

Физика мне казалась как-то живее и нагляднее, все-таки какие-то опыты проводились, не говоря уж о химии. Учитель физики Михаил Исакович, молодой, энергичный и очень симпатичный, звал меня «пожарная» не только за огненный цвет волос — он вызывал меня, когда в ответ на его вопрос не поднимали руки и воцарялась напряженная тишина: «Пожарная, к доске!» — и с любопытством наблюдал, как я пытаюсь «выплыть на бережок». Но я всегда как-то выплывала, наверное, потому, что внимательно его слушала, поскольку он мне нравился, нравилась его манера рассказывать с юмором и прибаутками.

Моей любимой учительницей была, конечно, Ирина Григорьевна. Я любила писать сочинения на такие непростые и разнообразные темы, которые она придумывала для нас каждую неделю. Она читала лучшие сочинения или отрывки из них в классе. Прикольно было, когда несколько сочинений, прочитанных ею, оказывались написанными мной, потому что мальчишки ленились писать сами, обещали мне, например, переписать решенные задачи по математике, а я с удовольствием писала сочинения, естественно, сохраняя особенности стиля и лексики ученика, для которого писала. Соглашения наши хранились в тайне, знал эту тайну узкий круг, никто не забавлялся, никто не выдавал. У нас в классе вообще было не принято выдавать своих, за это учителя нас особенно уважали, и даже директор Леонид Исидорович. Неважно, был ли серьезный повод для расспросов и расследований, или нет.

В школе тогда еще всю сохранялась советская пионерско-комсомольская атрибутика, утренние линейки с подниманием красного знамени и отданием рапортов и т. д. Конечно, уже во многом способные критически мыслить восьмиклассники не могли не заметить комического эффекта, когда завуч Леонид Мартынович, высокий, черноволосый, с орлиным носом, печатая шаг, резко поворачивая под прямым углом, шел отдавать рапорт директору о построении школьной пионерской дружины на утреннюю линейку. Тут кто-то голосом бабы-яги в торжественной тишине и гнусавил из задних рядов: «Ох ты, гой-еси, добрый молодец!» — понятно, что в восьмых классах тогда проходили былины. Все хихикали, торжественность улетучивалась. Директор потом пытал меня: ты же знаешь, кто это сказал... Но со вздохом сам же и замечал: знаешь, но не скажешь.

Были, конечно, и более серьезные случаи для разговоров с директором. Мы залили каток на нашем маленьком стадионе возле школы. На следующий день предполагали кататься на коньках. Последние сдвоенные часы были уроки английского языка, которые следовало провести в кабинете иностранных языков — была тогда такая «кабинетная» система. Английский преподавала очень милостивая молодая блондинка Людмила Ивановна, мама мальчиков-близняшек, которые потом снимались в главной роли в фильме «Приключения Электроника». Зимой темнеет рано, все мысли у нас в тот день были о катке, и мы придумали! Кабинет закрыт на ключ, а ключа нигде нет! Учительница предложила пойти поискать завхоза и взять ключ у него. Весь класс бешеным табуном ринулся искать завхоза, сбивая ведра с мыльной водой у уборщиц, которые уже мыли лестницы, и падая в лужи... Кто-то нам сказал, что завхоз в подвале, в живом уголке. Мы помчались в подвал, где находилось бомбоубежище и проходили занятия по ГО — гражданской обороне, с надеванием

противогазов по команде «Угрожаемое положение». По длинному узкому коридору подвала мы пошли уже потише, услышав, как завхоз, пожилой мужчина, кормит зверей и птичек — а там были ежики, кролики, белки, канарейки и даже полярная сова — и при этом что-то напевает себе под нос. Из приоткрытой двери доносился «звериный» запахок...

И тут меня осенило. «Т-сс!» — сказала я классу, тихо прикрыла дверь и, взяв стоящую в углу лопату, воткнула черенок в ручку двери. Мы на цыпочках ушли из подвала, чтобы сообщить учительнице, что завхоза нет, ключей нет! Она, конечно, крайне недовольная всей этой историей, вынуждена была сказать: ну что ж, идите домой. И мы понеслись за коньками...

На физкультуре я не блистала успехами, болтаясь, как сарделька, на канате или, как рыхлый кочан капусты, с трудом перекачиваясь через незабвенного «козла», но на лыжах и особенно на коньках могла выглядеть более достойно, поэтому я так стремилась продемонстрировать свои новые «норвежки». Разве могли мы в этом конькобежном угаре вспомнить про завхоза, запертого в подвале, в вонючей комнатке со зверюшками и птичками? Никому из нас это даже жестокостью не казалось, не доходило, что на самом деле это жестокость и есть. Но тогда мы, узнав, что сторож освободил охрипшего завхоза только под утро, даже смеялись... Тяжелым был разговор с директором, но «зачинщиков» никто не выдал, твердо стояли на том, что были все вместе, кроме двоих, упавших в мыльные лужи на лестнице, которые так промокли, что их уже не отпустили из дома на каток. На следующий день после уроков стояли в классе два часа. За многими приходили родители, с удивлением узнававшие о подвигах своих чадушек.

Развлечение оказалось очень запоминающимся...

Наталья Смородинская. «To be or not to be»

Почти все шестидесятые годы я проучилась в московской школе № 17 — специальной, «с преподаванием ряда предметов на английском языке». Как и другим московским спецшкольникам, нам приходилось зубрить на английском историю, географию и даже физику, что оказалось, надо признать, не самым удачным экспериментом. А уроки английской и американской литературы, введенные с восьмого класса, захватили нас с головой.

Новый предмет стал нашим интеллектуальным прорывом. Вела его Нина Самойловна Головкова (в те годы Шпекторова) — жена Г. Головкова, автора «Канцелярии тайной мглы» и других чудесных книжек по истории России. Несмотря на свою молодость, она сразу стала для нас непререкаемым авторитетом. На ее уроках надо было «соответствовать»: планка обсуждений и требований была поднята, наверное, до уровня филфака. Но эти серьезные знания она преподносила нам просто и талантливо. По доморощенным учебным пособиям, сделанным на печатной машинке, мы увлеченно ринулись в мир Диккенса, Байрона, Голсуорси, разбирали и заучивали тексты Шекспира, Шелли, Байрона.

Например, от нас требовалось проанализировать разницу между двумя переводами монолога Гамлета — вариантами Лозинского и Пастернака. И мы, как верно подметил мой одноклассник Вадик Махонин, ее каким-то нюхом улавливали и уже без помощи преподавателя определяли, что Лозинский суховат, но ближе к тексту, а Пастернак этим текстом живет. «Где нам было знать, — признается Вадик, — что в пятидесятые годы Пастернак был опальным поэтом, изгнанным из Союза писателей, а Лозинский — придворным советским переводчиком, удостоенным госпремий и орденов?»

Настоящей гордостью школы стал английский театр. В других школах тоже шли спектакли, но ставить трагедии Шекспира на староанглийском — на это отважилась только Нина Самойловна! Благодаря ее энтузиазму постановка английской классики вошла у нас в систему: играли в оригинале не только Шекспира, но и разные пьесы О. Уайльда. Это позволяло проникнуть в истоки английской культуры, понять ее глубинный смысл, почувствовать очарование.

Получить роль в спектакле было мечтой каждого старшеклассника. И вот, о счастье, — в неполные пятнадцать мне неожиданно доверили сыграть Корделию — третью и самую преданную дочь короля Лира. Повезло, что это была именно чистосердечная Корделия (от английского cordial): ни Регану, ни Гонерилью я бы играть не хотела, ведь они были «лживыми тварями».

Для роли Корделии требовалось однотонное серое платье. Такого у меня дома не нашлось. Зато у соседки по коммуналке нашлось длинное темно-синее. Для полноты картины мне пришлось по локоть отрезать его рукава: режиссер (какой-то молодой профессионал, привлеченный по дружбе Ниной Самойловной) сказал, что в сцене, когда Лир делит наследство, у Корделии должны быть обнаженные руки — это подчеркивает искренность ее чувств. Ведь на вопрос Лира о том, что же поведает о своей любви к отцу его третья дочь — «последняя, но не меньшая». Корделия скромно молвит: “Nothing, Sir” — «Ничего, сэр». Это резко контрастирует с велеречивыми признаниями в любви к отцу ее старших сестер. Поэтому у Реганы и Гонерильи на руках были всякие украшения, да и разодеты они были в пух и прах.

Лир в роскошной мантии сильно возмущился ответом Корделии: “NOTHING will come of ‘nothing’!” — «Ничего и будет ничего!» (ну, как-то так) вкрадчиво, но звучно произнес Аркаша Шатов, мальчик из старшего класса. И я — по замыслу режиссера — забивалась с перепугу в дальний правый угол сцены. Хотя — по замыслу Шекспира — должна твердо стоять на своем: ничего — потому что истинная любовь не требует громких слов.

До второй части пьесы мы так и не дошли. Но и первой хватило для сильных впечатлений, особенно о яркой игре Аркаши. Он открывал и весь спектакль: «King Lear!» (торжественно)... Пауза. И уже тише, с мягким английским придыханием: «Part one» . И все! В зале воцарилась мертвая тишина, магия началась...

Через много лет я узнала, что у «нашего» Лира случился такой поворот в судьбе в сторону духовного служения!.. В девяностые годы под его патронатом находились Пироговская клиника и все «градские» больницы на Ленинском проспекте. Однажды посол Британии, посетивший Первую градскую, услышал, как Аркадий читает тяжелым пациентам монолог Гамлета на языке Шекспира. Посол был настолько впечатлен, что подарил больнице несколько десятков английских инвалидных колясок — беспрецедентный случай в истории советских клиник. А в двухтысячные годы Аркадий, постриженный под малую схиму, был уже большой величиной в РПЦ — епископом Смоленским и Вяземским Пантелеймоном.

А как проникновенно играли девятиклассники в «Гамлете»: ни в каких «взрослых» постановках пьесы я потом никогда не видела такой искренности. Гамлета играл Юра Белостоцкий — стройный, эмоциональный, притягательный, настоящий принц! На фоне его благородного силуэта появившийся на киноэкранах Смоктуновский казался мне кикиморой, да и говорил он на русском. Над сценой гибели Гамлета рыдала половина школьного зала: да что там мы, дети, — даже солидные иностранные дяди, пару раз заезжавшие к нам в школу посмотреть и присмотреться, тайно сглатывали слезу. Не менее убедителен был Лаэрт в исполнении Алеши Крылова, в дальнейшем — блестящего синхрониста. Рассказывают, что однажды, тренируясь в фехтовании (а шпаги в спектакле были настоящие), они с Юрой слишком вошли в роль и угодили в милицию по статье «хулиганство».

Театральный проект Нины Самойловны быстро развивался, ребята играли на сцене Дворца пионеров, других московских площадках, их приглашали на телевидение. Но высокие идеалы Шекспира, вошедшие в юные сердца и головы, его нетленные вопросы-вызовы о чести, предательстве, свободе, нравственном выборе оказались в конечном итоге несовместимыми с двойными моральными стандартами советского общества. Иного и быть не могло!

В 1966-м в школе разразился громкий политический скандал, резко оборвавший нашу театральную эпопею...

Вся культурная атмосфера школы, разогретая настроениями хрущевской оттепели, открывала ребятам глаза на окружающую жизнь. Старшеклассникам захотелось узнать больше, чем вещала пропаганда, докопаться до правды, передать ее другим. Они стали отслеживать передачи о Советском Союзе по «враждебным» радиостанциям: «Голосу Америки», «ВВС» и «Немецкой волне». Слушали в основном на английском (на русском «голоса» глушились), потом делали записи, аккуратно их сшивали и тайно распространяли эти подборки в школе. Давали почитать на несколько часов, иногда на ночь. Нина Самойловна, однажды державшая такой выпуск в руках (кажется, его принес Аркаша Шатов), запретила хранить это в школе. Другие подборки содержали перепечатанные отрывки запрещенной художественной литературы типа «Доктора Живаго», а также собственные сочинения и стихи ребят — безобидные, но критические. Об одном из таких выпусков упоминает в 2007 году в своей автобиографической повести наша любимая историчка и блестящий знаток английского Марья Сергеевна Лебедева (мама известного бизнесмена Александра Лебедева). Другие вспоминают сатирическую басню: «Собрались звери на XXIII съезд...» Это был первый и во многом уникальный школьный подпольный самиздат.

Сколько выпусков увидело свет, точно неизвестно, но внезапно дело открылось. Журнал обнаружил отец одного девятиклассника, проверяя его карманы на предмет курения. Он искренне испугался за «духовное состояние» сына и донес в органы (говорят, он сам имел к ним отношение). За дело взялся КГБ, началось расследование. В центр разборок попали Юра Белостоцкий и еще четверо ребят, занятых в «Гамлете». Их начали поодиночке таскать на допросы. В школе учителя ходили с опрокинутыми от страха лицами: их тоже допрашивали, требуя раскрыть других участников и содержание выпусков. Но многие учителя вообще не были в курсе, а те, кто были, держались твердо. Основной удар пришелся на историчек — они были партийными. Марью Сергеевну сняли с работы, исключили из партии, но в итоге она удержалась в строю, получив строгий выговор и страшную по тем временам запись в личном деле: «За политическую близорукость и партийную беспринципность». Ряд других учителей тоже получили взыскания разной строгости. Нина Самойловна (она была беспартийной) ушла в другую школу.

Для пяти ребят, признанных антисоветчиками (остальных самиздатовцев и сопричастных никто не выдал), кульминацией разоблачения стало заседание райкома комсомола. Заканчивался уже следующий, 67-й год. По описаниям Вадика Махонина, в комнате была зловещая обстановка. Присутствовали двое молодых кагэбэшников. Их грозное молчание добавляло обличительного рвения районным комсомольцам. Никто из выступавших не только не читал, но даже и в глаза не видел самиздатовских выпусков, но это не мешало утверждать: враги народа! Использовалась формула «я Пастернака не читал, но осуждаю», как в 58-м году. В итоге ребят с позором изгнали и из комсомола, и из нашей элитной школы, отправили в разные школы. Не знаю, как конкретно это сказалось на их дальнейшей судьбе, но явно непросто. Так или иначе, им испортили жизнь — сбили колею, заклеямили, навсегда отравили душу.

Скандал тогда прогремел на всю Москву, но никаких официальных следов мы не нашли. Для

меня эта история по-шекспировски драматична. По большому счету она продолжается и по сей день, лишь меня свои формальные сюжеты. Как стоически вели себя тогда и сами ребята, и защищавшие их учителя! Но была одновременно и другая модель поведения, другой внутренний выбор. Судьбоносные решения для пятерки старшеклассников выносила власть, но осуществляла их не она, а то самое школьное большинство, которое еще недавно с упоением наслаждалось их творчеством. Изгнание ребят из комсомола и из школы проходило казуистически — как бы по инициативе самих школьников. Все ученики шестых-десятых классов должны были дружно подписать заготовку о «гневно осуждении антисоветчиков». Директриса велела — и дети лихо, не вникая, приложили руку к расправе над вчерашними кумирами. Правда, были и те немногие, кто уклонился.

Я часто мысленно возвращаюсь к этой картинке с собиранием школьных подписей. Мне она лучше всего объясняет, что такое «быть или не быть». Быть — значит расслышать трепетно звенящий внутри тебя голос совести и ему подчиниться, куда бы он ни позвал. Все остальное уводит в сферу небытия — даже если кажется, что живешь.

Борис Гребельников. Каллиграф

Случайно встретив моего отца, учительница пожаловалась:

— Обратите внимание на своего сына. Ужасный почерк, курица лапой пишет лучше!

Данная педагогом сравнительная характеристика куриной и моей каллиграфии отцу не понравилась, и он с ремнем «обратил» на меня внимание. Затем меня, зареванного, усадил за письменный стол — вырабатывать красивый почерк, а сам встал за моей спиной, похлопывая ремнем по своей ладони.

Выучив уроки, я каждый день по два-три часа писал ненавистные мне тексты из пособия по каллиграфии. Через восемь месяцев моя «писанина» в тетради не отличалась от напечатанного текста в пособии. Я мастерски научился копировать, можно сказать, рисовать буквы.

Ради любопытства (поверит или нет) я подделал почерк отца, написав «от него» записку матери. Она действительно приняла ее за настоящую и купила в магазине ту вещь, о которой было написано на клочке бумаги.

Родители долго разбирались, разглядывая записку. Отец, расписавшись несколько раз на чистом листке бумаги, тщательно сравнил подписи и, не увидев различия между оригиналом и фальшивкой, признал подпись на записке своей. Такое пристальное внимание к подписи было из-за того, что у отца имелась привычка — на записках, независимо, кто был адресат, ставить свой замысловатый «автограф», который невозможно подделать. Родители пришли к выводу, что отец, написав послание матери, забыл о нем.

В школе на уроках я подкидывал своим одноклассникам вызывающие записки, написанные почерком моего соседа по парте. В ответ летели бумажки с угрозами. Сосед непонимающе пожимал плечами, а я веселился.

Конец учебной четверти. Вот-вот каждый учитель выставит по своему предмету итоговую оценку за наши знания. Мне уже не до веселья. Тучи сгущаются над моей головой, предчувствую, что будут грандиозный скандал и наказание. Мои родители пока не знают, что у меня в табеле будет почти половина троек за четверть. Мою голову не покидает мысль: «Что делать? Пройденный материал я

выучить и рассказать не смогу, слишком большой объем».

На одной из перемен я сажусь за учительский стол и начинаю изучать классный журнал. «Ага, здесь выйдет четверка», — подумал я, переворачивая лист на следующий предмет. «А вот здесь три тройки и три четверки... спорная оценка за четверть. Значит, завтра меня спросят», — и я, не задумываясь, в одной из пустых клеточек пишу цифру «четыре». Заглянувший в журнал через мое плечо Витька удивился:

— Ого, как похоже! Мне тройку поставишь?

— Выручить друга — это святое, — улыбнулся я и в пустой клеточке, напротив фамилии Витьки, вывел цифру «три».

Увидев мои наглые манипуляции с журналом, одноклассники обступили меня. Просьбы посыпались со всех сторон, и я начал щедро выставлять оценки.

— Мне по физике три тройки поставь, — жалобно начал канючить Курочкин.

— Курочка, ты что, сдурел? Погорим! — злобно зашипели на него одноклассники, а меня предупредили: — Больше одной оценки никому не ставь!

Девчонки, стараясь навести порядок, начали кричать:

— В очередь! Без очереди никого не пускать!

— У меня двойка будет за четверть, на второй год могут оставить, — не унимался Кукушкин.

— В следующей четверти учишь хорошо, тогда не оставят, — посоветовали девчонки и оттеснили его от стола, чтобы он не мешал мне работать. Почти всем, хоть по какому-нибудь предмету, я от щедрого сердца подарил оценку. Наконец, захлопнув журнал, я важно сказал:

— Достаточно!

Те, ком у не досталось от мен я «подарка», разочарованно поплелись к своим партам, мне стало их жалко, и я обнадежил:

— Остальным через пару дней оценки выставлю.

На уроке физики, раскрыв журнал и не глядя в него, учительница сказала:

— Отвечать пойдет Лопатин. У тебя за четверть может быть тройка. Ответишь хорошо — будет четверка.

Но, взглянув в журнал, тут же осеклась:

— Да все нормально.... Четыре будет у тебя. Садись!

Она растерянно смотрела в журнал и бормотала:

— Вот, Еланского хотела спросить.... Такое впечатление, что у вас кто-то другой вел урок и поставил оценки моим почерком.

— Нет-нет, Вера Николаевна! Вы вели урок! — хором начали уверять мы.

— Значит, начала стареть... склероз, — расстроено произнесла учительница и на всякий случай возле каждой оценки в журнале поставила свою подпись. Своими сомнениями она, наверное, поделилась в учительской, потому что подписи возле каждой оценки появились и по другим предметам.

Но это не было мне помехой. На переменах я продолжал заниматься «темными делами» — ставить оценки и лихо расписываться за учителей. Мой друг Витька, как телохранитель, с криком: «Не мешайте каллиграфу!» — осаживал напиравшую толпу, следя за тем, чтобы меня случайно не толкнули под локоть.

Своим умением я сократил у себя количество троек за четверть, но не настолько, чтобы не вызвать гнев отца. И мне пришлось идти на следующее ухищрение. Я стащил в канцелярии школы пустой бланк табеля и поставил в нем оценки, какие хотел, а также подделал подписи учителей. Довольный своей работой, в конце четверти я показал табель отцу, он расписался и похвалил за хорошую учебу, и я спрятал фальшивку на книжной полке до конца следующей четверти. А настоящий табель я подписал почерком отца и сдал после каникул в школу.

В следующей четверти, чтобы исключить появление оценок в журнале из «ниоткуда», каждый педагог после своего урока начал забирать его в учительскую и передавать учителю, который будет вести следующий урок.

Теперь в начале занятий дежурный по классу собирал у всех дневники и складывал стопкой на край учительского стола, в них педагоги ставили заслуженные оценки и писали замечания. В конце недели родители должны были поставить «автографы» в дневниках своих чад, а в понедельник классный руководитель проверяла эти подписи.

Мой дневник запестрел двойками и тройками. Показывать отцу я не рискнул и, не задумываясь, купил второй дневник — для своего родителя, в котором ставил хорошие отметки и подписи учителей. Отец каждую неделю с удовольствием в нем расписывался. В дневнике для школы, в котором ставили отметки учителя, я аккуратно выводил отцовскую подпись. Классный руководитель, глядя в этот дневник, удивлялась и спрашивала:

— Неужели отец видел?

На что я смело парировал:

— Подпись же стоит!

Лето, скоро конец учебного года. В доме никого не удержишь, потому что сегодня воскресенье.

— Каллиграф! — кричит Витька в открытое окно. Отец выглянул и, увидев моего друга с футбольным мячом в руках, спросил меня:

— Тебя, наверное, зовет?

Я утвердительно кивнул головой.

— А чего каллиграф? — не унимался отец. У него было хорошее настроение, и ему хотелось поговорить.

— Ты же знаешь, что у меня почерк красивый, — радостно ответил я, предчувствуя игру в футбол.

— Ну, вот видишь? Отец плохому не научит. Красивый почерк на всю жизнь у тебя выработал. В дальнейшем пригодится... — начал «философствовать» отец. «Ну, завелся. Целый час теперь слушай его», — с досадой подумал я.

— Пап, ну, я пойду? Наша улица с соседней играет, — робко перебил я его, последним доводом показывая значимость футбольного матча.

— Давай... Только дневник покажи, — согласился отец и взял со стола ручку, чтобы расписаться. Я стремглав кинулся в свою комнату за портфелем. И, о ужас! Раскрывая его на ходу, я в спешке подал не тот дневник. Отцовское лицо от удивления вытянулось:

— Ни хрена себе! А где же пятерки!?

Моя рука невольно дернулась к портфелю за вторым дневником, но, опомнившись, я тут же спрятал ее за спину.

— Дай сюда! — заорал отец и сам достал из портфеля дневник. Положив себе на колени, он долго рассматривал «вещественные доказательства». Наконец, сообразив, что к чему, багровея от ярости, он еле выдавил:

— Да!.. Действительно каллиграф, — и схватил меня за шиворот. Я только краем глаза успел заметить мелькнувшие пятки моего друга, убегающего вдоль улицы.

Георгий Атисков. Как я довыпендривался...

В школу я пошел 1 сентября 1960 года. Для школы мне купили серый костюмчик-двойку — не серую суконную, колючую, почти солдатскую гимнастерку и такие же штаны, в комплект к которым прилагалась еще и форменная школьная фуражка с кокардой, на которой в обрамлении дубовых и лавровых листьев красовалась большая буква «Ш» и ремень с медной пряжкой, а нормальный гражданский костюм. Ну, а раз костюм, то не заплечный ранец, а портфель. Хотя, как помню, некоторые ребята пришли в первый класс именно в этом полувойском одеянии. (Это как небольшой пример моего неуемного тщеславия и выпендрожничества.)

В пятом классе в день ленинского субботника был объявлен сбор металлолома. За несколько дней до этого в углу городского парка, рядом с которым мы в то время жили, я нашел старый ржавый электродвигатель, довольно увесистый, — полагаю, килограммов до десяти металла в чистом виде. И вот утром 22 апреля взял из дома кусок веревки, привязал эту железяку и потащил к школе. Теперь представьте расстояние от входа в городской парк у ДК Ленина по диагонали, до перекрестка с нынешними ул. Юбилейной и Карла Маркса и далее до школы им. А.П. Чехова. Потом ради интереса промерял по карте, — получилось примерно два километра.

И вот картина: одиннадцатилетний пацан, как бурлак, на веревке волочит за собой эту тяжесть. Никаких асфальтированных дорожек в парке в то время и в помине не было, так что тянулась за мной борозда, как от плуга. Половину парка по ровному месту я сгоряча протащил довольно быстро. Но потом начался подъем в гору. Улицы Юбилейной в нынешнем ее виде в то время тоже не было — была обычная грунтовая дорога. Когда я выполз из парка, был уже не то что в поту, а в мыле. А впереди еще столько же.

Но гордыня моя неумная преобладала над разумом, и я упорно, как муравей, тащил и тащил эту

чертову железяку, предвкушая тот восторг, который она вызовет у одноклассников, восхитившихся моим почти что подвигом! Чем черт не шутит, а вдруг именно мой двигатель и станет главным вкладом в победу нашего класса над другими! Ведь вон он какой тяжеленный. И именно благодаря мне наш класс займет первое место! И все с восхищением посмотрят на меня — особенно одна девочка, Галя Белоглазова, в которую я еще с третьего класса был тайно влюблен!

И я, воодушевляемый этими мыслями, продолжал напрягаться, преодолевая бугры и колдобины. Наконец я дополз до школы, где меня уже и ждать перестали, посчитав, что я увильнул от важного общественного пионерского мероприятия. Сбор металлолома уже закончился. Двигатель мой просто бросили в общую кучу. Оказывается, результаты подсчитывались не по каждому классу отдельно, а по всей школе. И мой подвиг остался не замечен и не оценен. Никто не рукоплескал мне и не смотрел с восторгом и благодарностью. Наоборот, классный руководитель попеняла мне за опоздание.

К сожалению, жизнь меня ничему так и не научила: до сих пор хлебом не корми — дай выпендриваться.

* * *

Осенью 1968 года, когда я учился в девятом классе, нам после уроков раздали анкеты для вступления в комсомол и велели заполнить. И все бы было тихо и мирно, если бы один из одноклассников, Сашка Медведев, не вышел бы из-за парты и демонстративно не бросил бы эту анкету на учительский стол со словами: «На фига мне ваш комсомол?»

Мне бы посидеть тихо и скромно, как другие, так нет, надо тоже выпендриться: я, правда, не бросил, а аккуратно положил анкету на стол, смягчив причину своего отказа обтекаемой формулировкой о том, что, мол, не считаю себя готовым к такому серьезному шагу. Но демарш Медведева был настолько ярок и впечатляющ, что в высшие школьные инстанции было доложено именно о факте наглой, почти антисоветской выходки и вызывающего отказа Медведева и примкнувшего к нему ренегата Атискова на предложение о вступлении в комсомол. А по тем временам такие вещи всегда получали серьезную политическую оценку.

В гневной речи классного руководителя прозвучало, что надо бы поглубже покопаться в личностях Медведева и Атискова и выяснить, просто ли это необдуманый проступок, недостойный советского молодого человека, или осознанное действие по чьему-то вражескому наущению? И что за родители у них, коли вырастили подобных отщепенцев? Если на слова про вражеское наущение я не обратил внимание, то когда вдруг возник вопрос о родителях, перепугался: еще не хватало, чтобы до них это дошло, а пуще того — чтобы на них легло пятно за дурость своего сына. Лавры тех, кто летом 1968-го вышел на Красную площадь с лозунгами «За нашу и вашу свободу!» в знак протеста ввода советских войск в Чехословакию, как-то меня не вдохновляли. Я всегда был трусливым и законопослушным, обострять отношения с системой в мои жизненные планы (хоть тогда их, скорее всего, еще и не было) не входило.

И я сдался. Пришел с покаянной головой, сказав, что осознал свою неправоту, поддался влиянию, понял, что был не прав, и готов искупить вину. Меня по-отечески пожурили и простили. Так как план по приему в комсомол нашей школе надо было выполнять, меня в него приняли.

Время само расставило все по своим местам. Сашка Медведев все-таки потом где-то и когда-то вступил в комсомол, а потом и в КПСС, иначе не быть бы ему моряком дальнего плавания, начальником службы связи на большом океанском судне, и не побывать во всех частях земного шара. А я в дальнейшем даже смог сделать небольшую комсомольскую карьеру, став осенью 1970 года

сначала комсоргом группы, а осенью 1971 года — секретарем комитета комсомола Березниковского строительного техникума, в 1972 года — кандидатом в члены городского комитета комсомола, в армии — комсоргом своего взвода, членом комсомольского бюро роты, а после демобилизации, в своей «Трест-площадке № 9» — членом комитета комсомола, ответственным за шефскую работу в школе № 27. Даже почетную грамоту за это получил. Где-то в недрах архивов ЦК КПСС лежит (?) с моим, одним из многих, автографом рапорт комсомольцев г. Березники очередному партийному съезду о своих героических подвигах на стройках коммунизма. Вот такие интересные бывают повороты судьбы.

Денис Щербаков. Во всем виноват дневник...

Пожалуй, главным документом советского школьника был дневник. Из него можно было узнать не только текущие и итоговые оценки, но и чем ученик живет. Учителя очень способствовали этому: «Опоздал на урок!», «Пел на уроке химии!», «Безобразное поведение!»... И наконец: «Сорвал урок! Уважаемые родители, вас вызывает директор школы!»

Помню, классе во втором один из дней особенно не задался. В дневнике уже стояли единица и двойка, и тут еще добавилось замечание. За что? А это имеет значение? То есть одна двойка или одна единица, пусть даже вкупе с замечанием, еще примирили бы меня с действительностью, но все три в один день? Перебор! Мама не поймет. У меня просто не было выбора. Побег — вот что решало все проблемы!

Жили мы тогда, в семидесятые-восьмидесятые, в закрытом городе Пенза-19 — сейчас он носит название Заречный. В городе находился военный и, соответственно, секретный завод, и весь город был окутан колючкой. Въезд — по пропускам. Детей до 14 лет вписывали в пропуск к родителям. Выезд — свободный. Так что я свободно на автобусе выехал за проходную и добрался до пензенского ж/д вокзала. Там сел в «первый попавшийся» поезд. На мою беду (а впоследствии выяснилось, что на счастье), поезд этот ехал до Моршанска. То есть практически пригородная электричка. Прибытие в пункт в 2 ночи, и обратно в Пензу. Но это я узнал позже.

Первые полчаса я был гордым, взрослым и самостоятельным путешественником. Важно, спокойно и уверенно говорил соседям, паре молодоженов, что еду к бабушке. Что уже взрослый и всегда так езжу!

Но вот за окном стемнело. В животе заурчало. В далекой Пензе-19 плакала потерявшая сына мама. А тут еще соседи достали снесь и ласково так, по-домашнему предложили с ними отужинать... И я разревелся! Признался во всех грехах (ну, кроме оценок и замечания: им-то зачем знать?), был накормлен и отконвоирован к проводнице. Там рассказ повторился, ужин тоже, и я был уложен спать в купе проводников, где и проспал безмятежно до Пензы. (А если бы поезд шел во Владивосток?)

Угадайте, какая мысль первой посетила мою голову, когда я взглянул на часы на привокзальной площади и обнаружил, что время — 9 утра? Ну? А? Ни за что! Ни про маму, ни про папу, ни про школу я в тот момент и не думал, а размышлял над тем, успею ли добраться домой до 10 часов — к началу передачи «Будильник»!

Но в закрытый город надо еще было попасть! Много времени на решение этого вопроса у меня не ушло: надо позвонить однокласснику, у которого был дома телефон, он ходит к моим, и те меня встретят! Оставалась еще проблема: где взять «двушку» для автомата? Как будто специально, монетка валялась на нижней ступеньке автобуса, из которого я выходил. Мне определенно везло!

Но звонить из автомата, расположенного возле КПП (контрольно-пропускного пункта — для тех, кому эта аббревиатура не знакома), не пришлось: небольшая толпа, замеченная мной еще из автобуса, оказалась сборищем моей многочисленной пензенской родни. Их, естественно, в Заречный не пустили и они здесь, на нейтральной территории, успокаивали моих родителей и держали совет, где искать сбежавшее чадо.

Черт, вот саму эту историческую встречу помню плохо. Дома меня ждали любимая рисовая каша, торт, поцелуи мамы и суровые взгляды отца, который считал, что прием должен быть диаметрально противоположным! Милосердие мамы, а скорее ее страх от моего неожиданно поступка позволил выиграть «прянику». «Кнут», притаившись, ждал своего часа! Хотя сейчас я полностью на стороне отца.

И что интересно: я бесплатно ездил на автобусе, бесплатно доехал на поезде до Моршанска, да еще и был накормлен и не сдан в милицию. Во что вылился бы подобный побег сегодня?..

В четвертом классе — по закону цикличности — ситуация повторилась. Опять ненавистный дневник запестрил «неудами» и замечаниями. Набравшись жизненного опыта, я брел домой и думал, как на сей раз скрыть свой позор. «Потеря» дневника для умудренного опытом четвероклассника была верхом банальщины, да и моя творческая натура не позволила бы опуститься до такого примитива. Одну двойку еще можно было скрыть под кляксой (писали мы тогда перьевыми ручками, и я до сих пор с благоговением вспоминаю ласкающее слух слово «ПРОМОКАШКА»), но целую россыпь свидетельств моего позора можно было скрыть, лишь только полностью залив страницу чернилами.

Мой путь лежал мимо замерзшего пруда. Мой взор привлекла прорубь и поменяла направление мыслей. Идея: утоплю-ка я свой позор! Вот только под каким соусом это подать? Фантазия заработала! Значит, так, иду я из школы, дай, думаю, в прорубь погляжу. Тут поскользнулся, упал, а портфель — бултых в воду! Сказано — сделано! Бросаю портфель в воду, а он, сволочь, не тонет! Я его палкой под лед, он — ни в какую! Достал: не оставлять же его плавать! Там и тетради, и дневник подписаны: школа, класс, фамилия. А тут еще с ужасом обнаруживаю в моей, еще недавно такой стройной теории огромную брешь.

— Как это ты, — скажет папа, — поскользнулся, уронил портфель в прорубь, а сам туда не упал?

Аргумент убийственный. И я, как человек, уже второй год занимающийся в театральном кружке Дворца культуры «Современник», понял, что фразы «Не верю!» от папы я не вынесу. Тяжело вздохнув, я полез в прорубь.

Как вылез обратно? Как дошел до дома? Было градусов 20 мороза, а до дома идти минут 15. Помню, пальто и штаны покрылись ледяной коркой, а вот как шел — не помню. Дома была гостившая у нас бабушка, и я предстал перед ней во всей красе! Был тут же погружен в горячую ванну. И что интересно: даже не заболел! Но все же некоторые предпочтения из этой ситуации извлек. Падению в прорубь все поверили, и мокрый дневник как-то сам собой отошел на второй план.

А как сушить учебники? Я переложил листы книг газетами, но, высохнув, учебники стали вчетверо толще и напоминали старинные фолианты. Библиотекарь в конце года, когда я их сдавал, была крайне недовольна. Но история с прорубью и здесь прокатилась!

Сегодня дневники у школьников виртуальные (или электронные?), как удалять оттуда помещенную информацию, для меня загадка. Но в нашу талантливую и находчивую молодежь я верю!

Алексей Селезнев. Цена витаминок

В первый класс я пошел в 1976 году в поселке Полярный, Магаданской области. Всё в подробностях не вспомню, но именно в первом классе нашей маленькой школы я узнал, что такое хорошо, а что такое плохо.

Стыдно мне признаться, но был в первом классе очень важный жизненный опыт, из которого я сделал выводы на всю жизнь. Нельзя брать чужие вещи! У нас сразу за школой была аптека, и нам очень хотелось купить в ней витаминки, такие кругленькие, желтенькие, в стеклянном пузыречке. Я и еще один мальчик из моего класса начали искать деньги по карманам курток в раздевалке. Нашли там сколько-то. Сбегали в аптеку, купили витаминки, понравилось! На следующий день решили повторить, в раздевалку. Там-то нас и застукали. Позора было на всю школу. Помню, построили линейку перед школой. Вывели нас из шеренги и опозорили перед всей школой. С того времени я ни ни чужого никогда. Конечно же, уже в старшем возрасте, классе в седьмом, видел, как мои одноклассники шарятся по чужим карманам в раздевалке, но чтобы сам — никогда в жизни. Вот такой первый жизненный урок я получил в своем первом классе.

Потом был переезд в п. Талон Магаданской области. Там я уже учился во втором и третьем классе.

Два года в поселке Талон пролетели незаметно, и очередной переезд меня привел в СШ (среднюю школу) № 2 города Туапсе Краснодарского края. Здесь после сельской школы я скатился до троек и еле вытягивал на четверки некоторые предметы, пока не произошел со мной несчастный случай в стенах школы. Однажды я пришел раньше времени в школу, и каким-то образом мне удалось про шмыгнуть мимо дежурных, которые в школу раньше половины восьмого никого не пускали. Вот меня засек дежурный на втором этаже и погнался за мной, чтобы выдворить из школы. Школа у нас была небольшая, двухэтажная, и мы всегда катались на деревянных перилах сверху вниз. Вот и в этот раз для ускорения ухода от погони я решил проехать по перилам, но промахнулся и полетел руками вперед со второго этажа на первый. Уж не знаю, как там меня по частям собирали, очнулся в больнице, рядом мама, у меня обе руки в гипсе и голова перевязана. Правый глаз ничего не видит. Но вышел из больницы — и за учебу. Так вот, видно, я хорошо тогда головой ударился, потому что стал учиться на одни четверки, а вскоре уже и пятерки по некоторым предметам появились. Помню, даже учитель математики по этому поводу шутку отпустил: «Да ты, видно, той стороной, которой надо, ударился, потому что учиться начал просто превосходно». Тем, кто читает этот рассказ, повторять мой опыт не рекомендую, опасно для жизни. После моего полета в школьные перила вбили скобы, которые до сих пор существуют, и на них с тех пор никто не катается. Одним словом, увековечил я свое имя в школе.

Еще был один смешной случай на уроке физики. Нам вообще не везло с учителями физики. За два года сменилось четыре учителя. Поэтому и отношение к этому предмету у всех было наплевательское. Девочки себе позволяли песни петь на уроке. Мальчишки дурковали, а мне искренне жаль добрейшую Ларису Александровну Педер. Мы и сейчас после школы встречаемся, общаемся и вспоминаем былое. А тогда творили что хотели на уроках физики, только что на ушах не стояли. Так вот, был очередной урок физики. Лариса Александровна находилась в лабораторной, когда прозвенел звонок на урок. Сергею Чернову очень не хотелось сидеть на уроке и слушать эту тягомотину, так он возьми и брось портфель с третьего этажа на улицу, а сам шнырь за дверь, а Эдик Метальников возьми и закричи: «Чернов из окна выпрыгнул». Мы все к окну. Смотрим, где же там Серега. Лариса Александровна из лабораторной выскочила и тоже пытается заглянуть через наши спины. А мы стоим плотной стеной. Видим, Серега уже из-за угла бежит. Вот добежал. И лег на асфальт рядом с портфелем. Мы возьми и расступись. Так Лариса Александровна чуть в обморок не грохнулась. Как

запричитала, что же делать, по стенке поплыла, побелела. А Серега между тем встал и домой побежал. Она немного пришла в себя, кто-то сказал, что это была шутка. Она опять в окно, а Сергея уж и след простыл. Потом, конечно же, ему досталось, но из школы не выгнали. Окончил Серега ПТУ № 9 и сейчас работает слесарем в Туапсинском РЭУ.

Ирина Говоруха. Несчастливая любовь и три красных плаща

Последняя августовская неделя 1985 года выдалась в нашем селе Старое, что в Бориспольском районе Киевской области, жаркой. Мутный и тягучий воздух напоминал пар над вываривающимся бельем. Густо цвели бархатцы, декоративные подсолнухи и эхинацея с редко посаженными лепестками.

Каждый день я ходила на репетицию первого звонка, перебегая через акациевый парк и небольшие заросли черной черемухи. До школы мне было ровно пять минут, и я с интересом наблюдала, как она меняется. Там уже снимали с окон желтые газеты, пересаживали в горшки цветы и подводили глубоко синим фундамент. За это время я узнала, где мой класс, как зовут учительницу, где находятся медпункт и столовая. А еще я была безумно влюблена в десятиклассника Олега Воронова, с которым нам выпала честь давать первый в моей жизни звонок. На каждой репетиции он мне подмигивал, подавал медный колокол с пышным красным бантом и подсаживал на плечо, придерживая за худые сбитые ноги. И вот такой «пирамидкой» мы шли по кругу и молчали.

Линейка проходила очень торжественно: поднятие флага, шествие пионеров под звуки горна и нестройный бой барабанов. Выступление директора, завуча, первой учительницы и «Дважды два четыре...» из всех динамиков.

Я стояла и волновалась... Большой букет скользил в руках, но еще не пришло время его дарить. Через несколько лет я полюбила этот момент, когда с первыми нотами «Некогда стареть учителям» мы бежали, продираясь через старшие классы, и преподносили педагогам осенние розы и астры.

А потом Олег смело вышел из общего строя, схватил меня, подбросил вверх, как куклу, перехватил одной рукой коленки, и я энергично затрясла звонком. Я трусила, что уроню звонок, что задерется школьное платье, демонстрируя трусики, или, чего доброго, упаду, соскальзывая с его плеча, как с горки. Но виду не подавала.

До чего же он был красив, Олег! Носил синюю полушерстяную форму и настоящий взрослый галстук. Светлые ровные волосы зачесывал на бок и когда хотел поправить челку — то просто резко скидывал голову. И от него пахло настоящим взрослым одеколоном...

Позже, когда старшеклассники на третьей перемене спускались в школьную столовую, я всегда выбегала из своего углового класса, чтобы на него посмотреть. Стояла, подперев стену, и любовалась: он шел с друзьями и говорил на непонятном мне языке, обсуждая объем наклонной призмы и шарового сегмента. Я слушала их разговоры, и мне казалось, что он самый умный человек на земле.

Накануне Нового года я получила удар прямо в сердце. И стало оно совсем разбитым... Олег шел в столовую, но уже без друзей и бережно сжимал ладонь одноклассницы. Девушка щебетала о группе «Форум», напевала песню «Белая ночь» и хвасталась какими-то новыми брюками-бананами. И никаких интеллектуальных споров о рубиновом оптическом квантовом генераторе и различных фотоэффектах...

Нас завели в класс, в котором еще пахло краской и свежей побелкой. Слева находились три высоких окна и куцые шторы, свисающие ровно по подоконник. В красном углу — портрет Макаренко в каракулевом пальто и очках с круглой оправой, которая, видимо, тогда считалась признаком интеллигентности. Над доской — плакат с цитатой Сухомлинского: «Мышление начинается с удивления».

Учительница показала нам крючок для портфеля, подставку для карандашей и научила правильно складывать руки. Я не понимала, что их можно держать по-другому, и к концу дня они превращались в несгибаемые лыжные палки.

Софья Макаровна была пожилой женщиной с короткой стрижкой. На лице у нее росли борода и усы, и носила она только шерстяные кофты, простые без выточек юбки и говорила басом. Почему-то я ее боялась, хотя уже хорошо читала, считала до ста и решала примеры в пределах десятков. Меня посадили за одну парту с Витькой Варавой — вертлявым, задиристым пацаном, постоянно лезущим целоваться. Он любил животных и всем без разбору завязывал банты. А еще никогда не переодевался после занятий, и его школьные брюки всегда были покрыты собачьей шерстью и лоснились.

И сентябрь был теплым. Мы приходили на уроки в носочках, гольфах и коротких платьицах. У всех девочек были одинаковые прически, как у Зои Кукушкиной из фильма «Приключения Электроника», и разноцветные плащи на случай дождя. У меня их было целых два, и оба красные. Один — короткий, похожий на клюкву, а второй — алый, чуть ниже колен.

В один из дней я пришла в школу в коротком, повесила его в общей раздевалке и поспешила на занятия. Потом, возбужденные после физкультуры, мы с девочками забежали за вещами, и я не думая схватила плащ, повесила его на локоть и засемила домой. На следующий день по всем классам прошлась медсестра с моим забытым клюквенным плащом, который я опознала, запихнула в портфель, даже не отдавая себе отчет, что вчера унесла чужой.

Прошло еще два дня. Наступило бабье лето, и в плащах не было никакой необходимости. В конце недели мама затеяла уборку и долго меня отчитывала по поводу смятой спортивной формы, грязных кед и бардака в портфеле. А потом заглянула в прихожую и ахнула. Она зашла в комнату, в ее руках были красные плащи. Целых три!

— Иди сюда.

— Ну, мам, потом! Мой любимый фильм.

Я как раз, удобно устроившись в кресле, смотрела «Не ходите, девки, замуж» и грызла сухари с изюмом. Мама уже перешла на крик, отчего по спине пробежал неприятный холод.

— Срочно ко мне.

Я пулей метнулась к ней.

— Это что такое? Я тебя спрашиваю, что это такое?

Она трясла перед моим носом ворохом красных плащей. Я краснела, и бледнела, и не знала, что ответить. В моей голове не было никакого объяснения. Кроме как мистического...

— Ты что, украла?

Я сглотнула колючий ком в горле и испуганно замотала головой:

— Нет, мам. Что ты?

— Тогда объясни, как они сюда попали.

— Я... Я не знаю.

Мама больно ударила меня по губам и сказала с металлом в голосе:

— Не ври мне! Никогда мне не ври! Завтра же на вытянутых руках отнесешь его в школу и при всех отдашь девочке, которая проплакала из-за него несколько дней.

Со временем я привыкла к школе, резким звонкам и бородатой учительнице. Только до сих пор мне снятся три похожие друг на друга красных плаща. И горький осадок, что мама мне не поверила...

Запомнилось на всю жизнь

Людмила Чеснокова. Пушкин

Родилась я в городе Черемхово Иркутской области. Отец был начальником шахты, потом ушел на фронт добровольцем и погиб. Мама тоже работала на шахте, но не знаю кем. И однажды шахта обвалилась, и маму придавило. После этого она часто болела, и, узнав об этом, мамина сестра, жившая в Воронежской области, пригласила нас к себе в деревню.

В этой деревне была школа, где я окончила четыре класса. Школа была небольшая, учились в две смены: с утра — первый и третий классы, после обеда — второй и четвертый. В первом и третьем преподавала Ходядякова Наталия Кузьминична, а с обеда — Шетлякова Прасковья Петровна. Учителя были очень хорошие, мы почти все учились хорошо.

Я часто вспоминаю школьные годы. Помню, когда приняли в пионеры, была так рада, и мама мне сказала: «“Пушкин” ты мой, “Пушкин”, я рада, что ты у меня теперь пионерка и горжусь тобой!»
А «Пушкиным» она меня называла потому, что я была кучерявая.

Помню девиз пионера:

Как повяжешь галстук. Береги его.

Он ведь с красным знаменем. Цвета одного.

И я с гордостью носила галстук, и все дети тоже гордились этим. Помню, ложась спать, рядышком клала галстук.

Однажды в школу приехали доктора делать нам прививки. Дети боялись идти, а я погладила галстук рукой, и как будто он придал силы — первая пошла. Укол был очень болезненной, но я не подала виду. Тогда меня прозвали Зоей Космодемьянской за смелость. Меня врачи похвалили и дали фото Сталина, вырезанное из газеты, и витамины.

Я положила витаминку в рот, и ребята, глядя на меня, стали делать прививки. А я зашла за щиток плиты, и у меня слезы полились от боли, я не могла пошевелить рукой. Но слезы вытерла и вышла как ни в чем не бывало.

Кто-то из ребят плакал, а кто-то, глядя на меня, пересиливал боль и улыбался.

В деревне я окончила четыре класса, а в пятый пришлось ходить за семь с половиной километров. Нас ходило много детей. До зимы ходили пешком, а зимой нас возили на санях... Было очень холодно, а я была обута в кирзовые сапоги. Другой обуви не было. Мама часто болела, и все деньги уходили на лекарства. И чтобы не простыть, я бежала наравне с лошадьми, а когда уставала или согревалась до пота, садилась в сани и дальше ехала со всеми. Вот меня и прозвали «спортсмен».

И потому, что на физкультуре я была первой по многоборью. Даже когда уже работала в совхозе, за мной приезжали, чтобы я от школы приняла участие в соревнованиях. Я триста метров пробежала первой, прыгнула в высоту на 1 метр 70 см и в длину — на 3 метра 75 см. И дальше всех бросила гранату. Мальчишки говорили, что, где «Пушкин», им делать нечего. Заняла наша школа 1-е место.

Танцевать в школе я любила и люблю до сих пор. И после школы не перестала заниматься танцами, мы с партнером первые места занимали на конкурсах, — я не лгу: есть свидетели!

Мы, школьники, всегда работали на полях: после покоса хлебов собирали колоски пшеницы, ржи, и собирали горох, и сдавали на ток, а нам за это платили. Деньги ой как были нам нужны!..

Однажды я повезла маму за двенадцать километров в больницу. С нами тоже в больницу поехала соседка тетя Нюра Костина. Остальные дети пошли на работу, на поля. Там же работал и мой брат Владимир. Маму оставили в больнице. А тетя Нюра сказала, чтобы я ее не ждала и ехала домой. Когда я поехала домой, начался дождь, стало как-то темно. Тучи были очень темные, — я таких туч никогда больше не видела, как будто наступила ночь. Была гроза и дождь лил, как из ведра. Когда я подъехала к плотине, сверкнула молния во все небо, и раздался гром такой силы, что конь встал на дыбы и рванул в сторону обрыва. Слева был пруд, а с справа — глубокий обрыв. Я еле успела натянуть вожжи, и он остановился. Это уж потом я сильно напугалась. Дождь все лил и лил, и я промокла вся до ниточки.

Когда подъехала к конюшне, вышел конюх дядя Митя, он был глухонемой, но я его понимала. Он мне показал, что коня он сам распряжет, а я чтоб шла домой. Когда я пришла домой, бабушка сильно плакала. Я спросила ее, что случилось? Она сказала, что грозой убило детей и среди них был мой брат. Хотя просто сказали, что Володю убило, и бабушка подумала, что нашего.

Потом прискакал взрослый парень Виктор Кузмичев и сказал, что убило грозой троих детей: Любу Здвичикову, Нину Жукову, нашу родню, и Вову Костина. В это время пришла тетя Нюра, услышала это и упала в обморок.

Потом рассказали, что, когда началась гроза, бригадирша Клава, студентка из Воронежа, сказала всем, чтобы уходили от пруда домой: нельзя во время грозы быть возле воды, тем более купаться. А Люба и Нина спросили разрешения, чтобы вернуться к роднику и попить. Бригадирша не разрешила. А Вова взял девчонок за руки и сказал, что они быстро вернуться. Остальные дети пошли домой, и как только все спустились к лошине, то сверкнула молния и гроза была очень сильная. Все обернулись и увидели, что бегут Володя с девочками, держась за руки. И тут огненный шар попал в Володю, и он загорелся, а девочек отбросило волной в стороны. Этой же волной отбросило всех детей.

Когда их привезли домой на телеге, на них было смотреть страшно: у некоторых были лица перекошены. После, правда, все они отошли, поправились. А Володю и двух девочек похоронили в одной могилке: он — в середине, а Люба и Нина — по бокалам. С тех пор все ужасно боялись грозы.

Через год, в 1953-м, умерла наша мама.

А еще через год меня приняли в комсомол и выбрали председателем комсомольской организации. Я плакала от радости и от того, что рядом не было мамы: она бы тоже за меня

порадовалась.

Как-то надо было вести пионеров в райком комсомола для приема их в комсомол. Детям от школы было близко, а мне — больше трех километров. Я вышла пораньше, чтобы не опоздать. Когда шла, меня догнал на мотоцикле дядя Ваня — редактор районной газеты — и спросил, куда иду. Он решил меня подвезти, велел сесть и крепче держаться. Я анкеты спрятала под курточку, села, и мы поехали.

На дороге были большие ухабы, и нас так подбросило, что я вместе с ручкой от мотоцикла слетела, а мои анкеты разлетелись во все стороны. Я стала их собирать. А дядя Ваня остановился и испугался за меня. А я так не успела напугаться: за анкеты переживала. Мы поехали медленней, но успели вовремя. Дядя Ваня просил, чтобы я никому не рассказывала об этом — боялся, что мои родные станут его ругать. А позже сам же и проболтался моему двоюродному брату. Да, ладно, все же обошлось! И моих пионеров тогда всех приняли в комсомол.

Когда я была в седьмом классе, еще случай приключился: мы шли из школы через поля, чтоб сократить путь. Началась гроза, пошел дождь. И вдруг мы увидели, что зажглась большая скирда с соломой. Мы, не раздумывая, бросились растаскивать сено.

Приехал управляющий совхоза и поблагодарил нас за помощь. Но ребята сказали: это «Пушкин» первая бросилась к скирде. Александр Тихонович, так звали управляющего, нам всем пожал руки, и мне показалось, что мы сразу повзрослели. А дома бабушка заругала: «Тебе что, больше всех надо?» А дедушка, наоборот, сказал, что я молодец.

Когда мы шли в школу, то я заходила на свиноферму и мне давали жмых — это спрессованная шелуха семечек после отжима масла, а я потом делила между всеми детьми и мы ели — голодно было.

И вот однажды начался урок географии, а вел урок директор школы Дмитрий Иванович. Он увидел, что у меня полный рот, и тут же вызвал к доске. Я чуть не подавилась, старалась прожевать жмых. Я не ответила на его вопрос: все жевала-жевала. Он рассердился и указкой ткнул меня в лоб. Мне было очень больно, я испугалась и заплакала. Урок тем не менее ответила. Он сказал, что если еще раз заметит меня с этой жвачкой, то отведет в конюшню, и буду я там жевать жмых наравне с коровами и лошадьми. После он вскоре почему-то уволился.

Другой директор был очень хороший, звали его Виктор Иванович Хаустов. На выпускном экзамене по математике я решила все примеры, а вот задачку никак не могла решить. В это время пришел директор, походил по рядам класса и подошел ко мне, присел рядом и спросил: «Ну, что, брат Пушкин, как дела?» Я ответила тихо, что не получается задача. Он посмотрел ее и на листочке решил. Я ему сказала спасибо. И до сих пор вспоминаю с благодарностью.

А вот учительницу математики, Надежду Кузьминичну, я очень боялась. Она была очень несправедлива к ученикам. Я перед уроком смачивала волосы, чтобы распрямить, а они высохнут — и еще больше кучерявятся. А учительница меня донимала, что я накрутилась. Потом мы узнали, что ее вызывали на педсовет и ругали. После она уволилась. Но, думаю, это не только из-за меня.

Как же это было давно... Хочется снова туда вернуться.

Александр Самойленко. Ненаписанная сказка

Впервые... Когда это случилось со мной?

...Мне семь лет. Школа. Воскресенье. Пустой чистый класс на четвертом этаже. За тремя большими окнами — осеннее солнце, качаются голые ветки тополей. В классе уютно, тепло и по-воскресному молчаливо-загадочно. Рядом друзья: Вовка, Славка, Генка, Галька и Любка.

Генка с Любкой — брат и сестра. Сейчас их мать моет классы на втором этаже. Вовка лицом отличается ото всех. Говорят, у него отец был китаец. В нашей компании нет главаря, но самым большим уважением пользуется Вовка. У Славкиной матери другая семья, и Славка живет с бабкой. Она маленькая, горбатая и страшная, курит папиросы и работает в школьной кочегарке. Галька очень взрослая — учится в четвертом классе. Она большая и толстая, у нее всегда красные щеки. Все остальные, кроме Генки — он еще маленький, — первоклашки.

Компания уже набесилась, устала. Наступили какие-то странные минуты тишины. Всем хочется чего-то необыкновенного, даже волшебного. Генка рисует мелом на доске непристойности. Частенько кое у кого срываются с языка выраженьица, от которых покраснел бы и взрослый. Но никто не обращает внимания: привычно, так и дома у них говорят. Лишь мне иногда не по себе: у меня так дома не говорят. Но я скрываю. Я очень хочу быть здесь своим. Мне совсем не нравится, когда меня дразнят «училкин сын».

А в классе как будто что-то невидимо висит и подглядывает за нами. Пустые большие парты — для взрослых учеников — словно беззвучно смеются над нами. Скучно... Все с надеждой смотрят на Вовку: не придумает ли он какое-нибудь новое развлечение? Но нет, и Вовка примолк.

И тогда начинается галдеж. Каждый пытается рассказать что-то интересное. Но почему-то ничего не получается.

Творчества! Вот чего нам так не хватает! Мы не умеем творить. Мы и слова-то такого не знаем, но чувствуем: нам так нужно волшебство и чудо! Потому что где-то внутри себя, глубоко, мы, хотя и маленькие, ощущаем это чудо и чудесность всего вокруг, загадочность, свою собственную необыкновенность, неудержимую текучесть времени, неразгаданность этого видимого мира... Мы еще верим в сказки, но уже и не совсем верим.

И вдруг я, словно меня кто-то изнутри подтолкнул, говорю:

— В одном классе под классной доской есть дверца. Это тайный ход. Он через стены ведет на запасные лестницы...

Я говорю уверенно, убежденно, и моя новая, неизвестно откуда появившаяся воля подавляет недоверие друзей. Вижу, как заблестели их глаза, наполнились предчувствием сказочного. Им хочется верить мне! Я рассказываю, и все окружающее реальное проваливается куда-то, а остается только то, что я говорю.

Но тут:

— Не ври, учила! — кричит Любка.

Ее всегда бледное, неулыбчивое лицо выражает презрение к училкиному сынку. Но я все-таки подсматриваю и в ее глазах желание необычного. И мне хочется, чтобы именно Любка поверила

больше всех.

— Нет, есть дверца! — твердо говорю я. — И в стенах и на запасных лестницах живут такие человечки... такие человечки. — Я показываю ладонью половину своего роста. — Они... они пластмассовые, но живые. Их зовут... школярики. Они тоже учатся, только ночью. Они кушают мел и промокашки, а пьют чернила. Но больше всего школярики любят тетрадки с двойками. Они пробираются ночью в учительскую, там выискивают такие тетрадки, посыпают их мелом, поливают красными чернилами и кушают. Это для них как шоколадки...

Эк разгулялась фантазия! Сам не ожидал.

Воздух в классе густеет от таинственности, все ошеломленно молчат, а я слышу, как в моей груди за слабыми ребрышками что-то дрожит и клокочет. Я не знаю, что это первый в моей жизни озноб творчества. Не знаю, но крепко запоминаю, чтобы использовать эту память через прорву лет в романе, который вряд ли успею дописать...

— А почему ж никто не видел этих твоих... школяриков? — подозрительно спрашивает Любка, но уже как-то неуверенно и почти робко.

— Их днем-то не видно — они только ночью видимые. Эти школярики днем в стенах сидят и на запасных лестницах. И на чердаке еще...

О, эти таинственные, всеми забываемые, но всегда присутствующие запасные лестницы! Они как будто из повторяющегося сна — вроде бы и нет их на самом деле, но они все-таки есть. Да и кому из нашей компании они не снились?!

Лестниц две: в восточном и западном крыльях школы. Они, конечно, всегда закрыты, словно за ними что-то запретное и запредельное. Но каждому из них хоть однажды удалось побывать и на лестницах, и на чердаке, и даже на самой крыше! Еще бы нам не побывать! Я и Славка живем в школе, а остальные — тоже рядом, в бараке.

Там, за закрытыми дверьми, — параллельный мир. Там пахнет пауками и прошлым. На ступеньках и площадках, как на поле битвы, в разных позах застыли погибшие в битве со временем старые стулья и парты, кое-как скручены пропыленные, с выцветшим кумачом, никому уже не нужные плакаты... А на чердаке! Там все так густо переплелось, покрылось пылью и страшным чердачным мраком! Конечно, там может жить кто угодно, даже пластмассовые человечки-школярики! Тем более что однажды Славка нашел возле чердачного люка ужасное странное дохлое существо. Мы такого никогда не видели. У него была маленькая голова, очень похожая на собачью, и огромные кожаные перепончатые крылья! Кто-то из взрослых сказал, что это летучая мышь. Отчего ж тут не жить пластмассовым человечкам?!

Вовка, сделав равнодушную морду — только так именуется лицо в нашей компании, избегающей всяких «телячьих нежностей», — незаметно подходит к доске, отводит ее от стены и заглядывает: нет ли здесь, именно в этом классе, той самой дверцы в потайной ход? Но все замечают Вовкины действия и понимают, что Вовка поверил. И все верят еще больше.

— А какая она дверца, маленькая? Я не пролезу? — спрашивает у меня толстая простодушная Галька.

Все смотрят на здоровенную Гальку, на ее бочки-ноги, на выпирающий из-под вылинявшего платья живот. Все представляют, как ползет Галька в дверцу, как застрянет там... Все хохочут,

разряжая таинственность. Потом сыплются вопросы: что же дальше?

Но я вдруг осознаю ответственность за каждое новое слово, за свою фантазию, за ее судьбу. Жалко, если она поломается от одного неверного жеста. Я не знаю понятия «импровизация», но чувствую, что это трудно, нужно время на обдумывание.

— Это пока тайна. Ничего сейчас не могу рассказывать, потому что школярикам будет плохо, если расскажу...

Прошло пятьдесят лет. Друзей детства я давно потерял, потому что поменял место жительства. Некоторых из них уже нет на этом свете. Но еще стоит та старая школа номер двадцать семь.

Иногда я прихожу к ней: как будто из другого пространства-времени прилетаю, и жутко мне — от исчезнувшего времени, от ушедшей жизни, от ее иллюзорности и мгновенности. Давным-давно поумирали наши учителя и многие ученики. Новые поколения детей выпархивают из этого старого здания, считая его своим. Они другие, не похожи на нас. И вряд ли поверили бы в мою сказку про школяриков. Которую я так и не написал. Которая, возможно, сделала бы эту реальную жизнь чуть-чуть волшебнее...

А ведь обязан был написать: обещал же. Но... сам попал в дикую жестокую сказку, где грязные злые колдуны не дали мне творить...

Все, кто ждал от меня доброго волшебства и не дождался, — простите!

Николай Колесников. Первый бал

Если мне не изменяет память, то на свой первый бал Наташа Ростова попала в возрасте шестнадцати лет, и было это 31 декабря 1809 года. И у меня первый бал внезапно случился тоже под Новый год. Правда, дело было в начале семидесятых прошлого века (слышится тоже как древняя история) в средней школе № 1 города Кинешма Ивановской области...

Все началось с того, что накануне новогодних праздников наш класс посетила завуч по воспитательной работе и объявила, что есть мнение допустить нас, учащихся седьмых классов, до традиционного новогоднего бала, но... лишь при наличии карнавальных костюмов. Это была бомба! Мы все считали, что давно уже переросли детские новогодние праздники с хороводом вокруг елки и распеванием песенок про «Маленькую елочку».

Итак, на повестке дня: новогодний костюм! Вариантов было немного. Зайчики и мишки отпали сразу же. Мальчиши-Кибальчиши после недолгих раздумий были также отвергнуты: представить Мальчиша, танцующего шейк под «Шизгару», было затруднительно, а стоять целый вечер у стенки?.. Вопросы, вопросы. Решение подсказала жизнь, точнее, кино. Мы все тогда «болели» фильмами «Великолепная семерка» и «Верная Рука — друг индейцев», не пропустили ни одной картины про Виннету, Текумзе, Чингачгука и прочих благородных вождей индейского народа с Гойко Митичем в главной роли. Правда, в силу слабого развития мышечной массы на место самого Гойко Митича я претендовать тогда не мог, поэтому пришлось довольствоваться образом рядового ковбоя из салуна. Но и здесь все было не так просто: нужны были «ударные» детали, чтобы и дешево, и полное попадание.

Костюм ковбоя, рассуждал я, начинается с остроносых сапог — да где ж их взять в наше небогатое время? Так что и школьные ботинки сойдут, если их как следует начистить. Как раз к новогодним праздникам «поспевали» мои первые расклешенные брюки, сшитые на заказ. 24 на 27. У кого были такие, тот поймет, о чем речь. Рубашка тоже была: клетчатая, фланелевая, отцовская. Рукава, правда, нужно было закатывать и с боков приталить. В качестве шейного платка можно было приспособить пионерский галстук. Но во избежание «политических» осложнений мама пожертвовала свою парадную косынку. На голове очень даже смотрелась выпрошенная у соседа черная фетровая шляпа, в которой он ездил на рыбалку.

Вроде бы все было на месте, но явно чего-то не хватало. Думал я недолго: жилетка! И тут на помощь пришла моя бабушка со своим стареньким «Зингером». У нее как раз нашелся и отрез черного сатина, из которого можно было бы сшить эту самую жилетку. Правда, по ее словам, этой материи хватило бы на пару трусов. Но семейные трусы — вещь, конечно же, нужная, но в данном случае не жизненно необходимая. А какой же это ковбой — без жилетки? Словом, бабушка все поняла правильно и пожертвовала общественным ради моего личного счастья. И не сказала ни слова, когда я на жилетке во всю спину написал белой краской «Smith and Wesson». И куда в ней потом пойдешь? Да в тот момент разве ж я об этом думал?

Итак, я был готов. Ремень, кобура и пистолеты нашлись дома.

И вот я стою перед зеркалом и смотрюсь, в общем-то, неплохо. Конечно, Грегори Пек в роли шерифа Маккены выглядел поинтересней, но там над его образом целый Голливуд работал! А здесь, что называется, с миру по нитке... и собрали вот новогодний костюм.

Наша школа еще довоенной постройки, где все было сделано основательно и с размахом: и лестницы, и коридоры, и классы. А уж актовый зал тем более впечатлял. Потолок был такой высокий, как небо над Аустерлицем. А в небе не облака, а звезды: большие и маленькие, на тонких невидимых нитях. И огромная елка в центре зала.

Когда елку привозили из леса, зал запирали, а при входе ставили караул. Но разве мог он остановить любопытных? Мы пробирались сюда, чтобы вдохнуть аромат зимнего леса, который она приносила с собой. А еще можно было изловчиться и оторвать несколько зеленых лапок с золотистыми капельками смолы, а потом на уроке растирать пушистые иголки пальцами и наслаждаться запахом хвои. А можно было незаметно провести еловой лапкой по склоненной девичьей шее. И услышать шепот, от которого дрожали стекла:

— Дурак! Что ты делаешь?..

И увидеть щеки, от которых можно было прикуривать.

Зачем мы это делали? Кто знает. Наверное, так познавали окружающий мир и учились выражать свои чувства.

Новогодний бал открывался парадом карнавальных костюмов. И я в толпе таких же «ряженных» сначала прошелся по залу, а затем поднялся на сцену. Повертелся туда-сюда, поиграл револьверами и... неожиданно получил первую премию, а в качестве приза — огромную шоколадную медаль! Куда она делась потом, я не помню. Нет, правда, не помню. По идее, я должен был бы отнести ее домой и вручить маме с бабушкой, а я, честно признаюсь, не помню ее дальнейшей судьбы. Не исключено, что там же, на балу, мы эту медальку и съели.

Между тем, отыграв положенные по ритуалу «встречу» Деда Мороза и Снегурочки, а также

бодренький туш во славу победителей всевозможных конкурсов и викторин, наш местный ВИА «Горизонт» взял небольшую паузу. Приближалась та часть новогоднего бала, ради которой все это, собственно, и затевалось, — танцы до упаду.

Последний раз участие в коллективных танцах я принимал еще в пионерском лагере, где безусловным «хитом» всех лагерных смен был «переходный танец», или танец с переходами. Это когда «кавалер», сделав несколько шажков вместе со своей «дамой», вежливо с ней раскланивается и с молодецким возгласом «И-йех» передает свою партнершу соседу справа, а сам в это время принимает новую от соседа слева. Нечто среднее между средневековым менуэтом и народным «Ручейком». Однако с тех пор прошла целая эпоха. И опыт, приобретенный в пионерском лагере, теперь никуда не годился.

Но прежде всего необходимо было принципиально решить: будем или не будем. Мы с ребятами решили, что непременно «будем», и приступили к тренировкам.

На танцплощадках страны в те времена господствовал шейк, что существенно осложняло процесс подготовки. Судите сами: по твисту было прекрасное пособие: «Носком левой ноги — ну, помните? — мы давим левый окурочок, а носком правой ноги давим правый окурочок. А затем оба окурочка мы давим одновременно». Но при изучении шейка нам приходилось полагаться лишь на интуицию и что-то, увиденное в кино.

Тренировались мы самозабвенно: и вместе, и порознь. И вот, наконец, настал тот час, когда...

Я оглядел залу. Легкий гул возбуждения витал в воздухе. Народ, заполнивший окружающее пространство, совсем не выглядел однородной массой. Такие же, как у нас, отдельные стайки, группы по несколько человек, преимущественно своих, из одного класса. Все же сказывалась разница в возрасте: восьмиклассники никогда не признают семиклассников за своих, равно как и для старшеклассников мы все вместе — лишь «мелюзга, путающаяся под ногами у старших».

Внимание! На старт!

Шейк — от английского «shake», то есть «трястись». В 1959 году американский рок-певец Чен Ромеро сочинил песню «Nippy, Nippy Shake» («Тряси бедрами!»), а в 1964 году эту песню исполнили «Битлз». Тогда, собственно, и возник этот зажигательный танец. Его танцуют и в одиночку, и парами, но особенно приветствуется исполнение группами, когда партнеры обращены лицом друг к другу. Шейк не даст заскучать никому. Что же представлял собой шейк в нашем исполнении?

За основу мы взяли походку американского актера Юла Бриннера из кинофильма «Великолепная семерка». Из той самой сцены, когда он идет по пустым улицам тexasского городка, ожидая выстрела из-за каждой занавески. А если кто не видел, то представьте себе человека, проскакавшего миль сорок на лошади без седла и далее вынужденного передвигаться на своих двоих. При этом нужно было еще припадать то на одну ногу, то на другую. Руки же следовало держать согнутыми в локтях и прижатыми к ребрам. Попробуйте сами...

Между тем новогодний вечер набирал обороты. Мы уже совсем освоились в обществе своих одноклассников и перестали обращать внимание и на старших товарищей, и на учителей.

Однако главные сюрпризы были еще впереди.

Внезапно верхний свет в зале погас. Зажглись огни на елке и светильники на стенах. Кто-то из музыкантов подошел к микрофону и объявил:

— Белый танец! Девушки приглашают кавалеров.

Это еще что такое? Об этом же предупреждать надо. Письменно, под роспись, при входе.

— Отказываться от приглашения нельзя, — пробурчал мой друг Мишка. — Смотри, идут.

Хорошо, что это были свои. Наши. Две подружки — очень похожие и удивительно разные. Достаточно сказать, что одна была жгучая брюнетка, а другая — огненно-рыжая. А еще они были «звездами» нашего местного танцевального коллектива — людьми творческими, привыкшими и к сцене, и к аплодисментам.

— Николай!

— Михаил!

Они церемонно присели и протянули нам свои руки.

Провалиться бы сквозь землю! Но нет, не получится. Ладно, прорвемся!

Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво

Отбивать девчонок у друзей своих...

— Как тебе новогодний вечер?

А это что такое? Нет, я, конечно, слышал, что во время танца нужно развлекать свою даму светским разговором. Но сам-то на это не подписывался! Однако придется разговаривать, не молчать же буквой?

— Да, нормально все.

— Через два дня будет Молодежный бал в клубе. Придешь?

Танцевальные вечера в нашем клубе (Нардоме) назывались еще и молодежными. Интересно, а я кто теперь? Тоже молодежь?

— Не знаю. Наверное, приду.

— Приходи. Будет здорово. Мы с Валею в концерте будем участвовать, новый танец подготовили.

Валя — это та, другая. Хотя эта тоже Валя.

— Слушай, пригласи сейчас Таню на танец. Видишь, она стоит?

Я невольно посмотрел в ту сторону, где у стены стояли наши девчонки, почему-то вдруг ставшие какими-то незнакомыми. И не только от модных причесок. Прически здесь были не при чем. Что-то такое взрослое проступало в их лицах, таинственное и манящее.

— Хорошо, я попробую.

— Давай, она ждет тебя.

И я пошел. Не сразу и не через раз. А все же набрался смелости и пошел. Только это была уже

совсем другая история...

Новогодний бал закончился. По нашим понятиям, даже не вечер, а скорее уж ночь. Дома ждет мама. Не спит, конечно же.

Крупные звезды блестели на черном небе. «Интересно, вот все говорят, что наша Вселенная расширяется, и звезды в ней удаляются друг от друга. Тогда почему сейчас они стали и крупнее, и ярче?» Морозный воздух наполнял тело здоровьем и свежестью. Было легко и спокойно. Впереди ждали новогодние каникулы.

Наталья Смородинская. Велюровое платье

Помню, с начала семидесятых начался период повального увлечения джинсами. Я это увлечение как-то проскочила: сначала — из-за дороговизны и дефицита, потом, когда это перестало быть проблемой, мне уже было неинтересно. Но знаю случаи, когда мои ровесники, кому родители не могли достать джинсов в период их взросления, надолго заработали комплексы неполноценности. Те же, кто носили джинсы, негласно считались элитой. Помню, в институте у нас был мальчик — все пять лет проходил в шикарных штатовских джинсах. Он мало говорил, звезд с неба не хватал, но иначе как «босс» к нему никто не обращался — уважали...

Что же касается девочек, то главным для них тогда не джинсы, а сапожки. Они стоили месячную зарплату начинающего специалиста — 90—100 рэ, а особо шикарные — 120—150. Поэтому на сапожки копили месяцами, отказывая себе во многом. Считалось, что девушка без сапог — это вообще не девушка. На жутком морозе ходили в капроне, в мини-юбках — и при сапогах... Замерзали, ожидая автобуса, но иначе было нельзя: красота требовала жертв. Самое интересное, что лучшие сапоги были почему-то у секретарш. Помните Лию Ахеджакову в «Служебном романе»?

В память врезался один эпизод, который разломил мой мир надвое. Классе в девятом-десятом я попала в красивый дом на Большой Грузинской на чей-то день рождения. Это была большая отдельная квартира (редкость по тем временам), где толпилось много студентов, везде горели свечи — тогда эта мода гасить свет и зажигать свечи у нас только появилась. Я была одета по тем временам со вкусом: черное платье-рубашка, на шее — короткая серебряная цепочка из домашних запасов. Платье мне мама перешла из своего крепового, но материала немного не хватило — пришлось сделать кримпленовую клетчатую кокетку. Получилось шикарно, даже слишком для «летки-енки», и я себя чувствовала на коне. И вдруг...

С магнитофонной ленты полилась какая-то чудесная французская музыка, круг расступился, в середине оказался высокий парень в белой рубашке и голубых джинсах (видно, это и был именинник — хозяин дома) и миниатюрная златоволосая девушка в приталенном велюровом платье. Девушка повисла у него на шее, ее тонкий «шоколадный» силуэт закружился в танце, а складки юбки развевались, переливаясь в отблесках свечи. Они были похожи на принца и принцессу, на пришельцев из сказки, они были так прекрасны и раскованны — нельзя было оторвать глаз...

Я смотрела на них и чувствовала, как стремительно меркнут моя серебряная цепочка, мой «шикарный» наряд, моя уверенность в себе, мое представление о будущем.

Я вдруг поняла, что эти ребята — из другой жизни, точнее, что я — из какой-то убогой жизни, где вечно экономят, перелицовывая старое, где прекрасное приходит из книг и там же ос тается, где любовь — только на экране, где мне никогда не удастся надеть ни шелка, ни бархата — да и как это

будет смотреться в коридорах коммуналки! Я вдруг поняла, что в моем городе, совсем рядом, есть какая— то другая Москва, до которой мне не дотянуться... Начиналась эпоха внешторга и нефтедолларов — первое осязаемое социальное расслоение советской интеллигенции.

Велюровое платьице шоколадного цвета — оно стало моей идеей фикс...

Прошло тридцать лет, и в конце девяностых в одной из своих командировок, в Оттаве, я купила похожее. Но рядом не было ни парня в голубых джинсах, ни волшебной французской мелодии. Было, правда, французское вино, университетский фуршет и мудрые усталые глаза нашего директора-академика. «Что же это за страна такая? — говорил он с усмешкой о Канаде, пряча в карман сигарету “Ява золотая”. — Ни курить нельзя, ни целоваться — припишут sexual abuse!»

Светлана Кайсарова. Туфли из «Альбатроса»

1 сентября 1973 года я пошла в первый класс средней школы № 270 Красносельского района Ленинграда. Вся семья по этому поводу радовалась и гордилась. Я же этих чувств разделить не могла: новые лакированные туфельки, которые купила мама в начале лета специально к этому дню, оказались мне безбожно малы и жутко жали...

Уж как же я ненавидела это слово, которое приходилось слышать часто! Еще было «подхудеем»! Не «похудеем», а именно с буквой «д», что означало не «сбросим лишний вес», а «подгоним одежду под себя». (Для справки: мои школьные годы пришлись на расцвет плановой советской экономики, и обувь фабрики «Скорострой» и одежда фабрики «Новая заря» не просто обезличивали нас, но были некрасивыми и неудобными.)

Вариант замены тесных туфель на больший размер не рассматривался: мама достала их по большому благу в магазине для моряков заграничания с красивым названием «Альбатрос». И они были важным элементом праздничного сценария. Понимая это, жертву я приняла осознанно и добровольно: туфли действительно были необычайно красивыми, особенно мне нравились маленькие черные бантики.

Торжественную линейку я продержалась достойно, не пикнув. Так в первый свой школьный день я усвоила первый урок: за красоту приходится платить. И терпеть.

Разносить шикарные туфли я так и не успела: через неделю они исчезли из школьного шкафчика прямо с мешком для сменной обуви.

В нашем семейном альбоме есть фотография моего первого 1 сентября. Мальчик и почему-то в фетровых беретах набекрень, на рукавах форменных пиджаков нашивки — раскрытая книжка и восходящее солнце (особо дерзкие позже расписывали их на свой вкус), девочки — с белыми бантами и в белых фартуках. Лица сосредоточенные и радостные.

На вопрос сына: «Мам, а почему у тебя такое выражение лица, словно ты хочешь заплакать?», — я ответила: «Такая вот радость у меня была: туфли из “Альбатроса”»...

Евгений Бунимович. Экзамены

(глава из книги «Девятый класс. Вторая школа. Объяснение в любви в 23 частях»)

1970-й год, год нашего выпуска, оказался последним перед разгоном (специальным решением горкома партии!) Второй московской математической школы, легендарного оазиса интеллекта и вольнодумства в Москве тех невеселых лет.

И без того тревожная, пора выпускных экзаменов была подпорчена еще и постоянными слухами об идеологических проверках, посылаемых на школу откуда-то сверху. Опасались, естественно, не физики с математикой. Но вот история с обществоведением...

Нашу учительницу истории Людмилу Петровну (сокращенную нами до аббревиатуры ЭлПэ) лихорадило. Мы боялись больше даже не за себя, а за школу, готовы были хоть чем-то помочь, честно приходили на все консультации перед экзаменом. Тщетно. Запомнить и воспроизвести ворох верноподданного бреда не получалось. Не тому нас учили.

Спасение пришло неожиданно в лице моей одноклассницы Наташи Зориной. Да, да, Наташа, та самая, жена моя. Однако поженились мы после окончания Московского университета — и это уже совсем другая история.

Так вот, накануне экзамена Наташа искусно пометила все экзаменационные билеты. Бессонной ночью каждый из нас выучил свой билет практически наизусть. Проверяли друг друга по текстам впервые открытого учебника обществоведения, который произвел неизгладимое впечатление. Последний параграф в этом учебнике назывался просто и непритязательно: «Счастье». А последний абзац звучал так: «Раньше поэты изображали счастье синей птицей, которая ускользала от того, кто хотел поймать ее за крыло. Теперь мы крепко держим ее в руках!»

Проверяющая тетка явилась, но она была уже не страшна. ЭлПэ сидела белей чистого экзаменационного листа, а мы были жизнерадостны и уверены в себе. Никаких нравственных мучений, что придется гнать идеологическую пургу, мы почему-то не испытывали.

Меня вызвали почти сразу. Иду к столу и — о, ужас! — начисто вышибло, как именно помечен мой билет. ЭлПэ почувствовала неладное:

— Женя, что с тобой?

И тут меня озаряет спасительная мысль:

— Людмила Петровна, а можно Наташа вытащит мне билет? На счастье? — спрашиваю со смущенной улыбкой влюбленного дебила.

Проверяющая тетка, посмотревшаяся советских фильмов про школу (а если это любовь?), не смогла скрыть умиления. Можно!

Наташа коршуном бросилась к столу, быстро-быстро-быстро просмотрела оборотки всех лежавших в ряд билетов и безошибочно вытащила мой.

Победа! Счастье! Теперь я крепко держал его за крыло.

Я сыпал всеми с утра распиравшими мою кратковременную память именами, датами и цитатами. Проверяльщица восторженно внимала.

И тут я увидел, как смотрит на меня Феликс.

Феликс Александрович Раскольников, наш удивительный учитель словесности, которого тоже зачем-то посадили в экзаменационную комиссию, снял очки, положил их на стол и глядел невидяще и абсолютно потерянно даже не на меня, а сквозь меня. Бунимович, Женя, которого он числил человеком, в мельчайших деталях и подробностях уверенно несет всю эту официозную ахинею...

Я запнулся, растерялся, умолк. Тут вновь вовремя включилась ЭлПэ:

— Наверное, достаточно.

Она вопросительно посмотрела на пришлую тетку. Та кивнула. Все обошлось. Но взгляд Феликса так и не забылся...

Из всех выпускных самым простым мы числили экзамен по французскому языку. Сдающих оказалось всего-то пятеро, все во Вторую школу пришли из языковых спецшкол, никаких опасностей и подвохов не ожидалось. Однако проверяющего засунули и сюда.

Всем достались темы как темы: «Моя любимая книга», «Мой любимый фильм». А мне досталась тема «Ленин в Париже». Еврейское счастье на французском языке. Все сдающие честно пытались мне подсказать, но никто не знал, когда Ильич там был и зачем приехал. Только ответственная Ленка наконец вспомнила, что жил он где-то на Монпарнасе и через весь Париж ездил на велосипеде в Национальную библиотеку. Готовить, надо полагать, мировую революцию.

Этого оказалось более чем достаточно. Красочно, во всех подробностях рассказывал я обалдевшей комиссии, как будущий вождь мирового пролетариата садится поутру на велосипед, трогается в путь — и дальше описывал все подряд улицы по пути, дворцы, соборы, памятники. Спасла выучка французской спецшколы. План Парижа, где советский школьник никогда не был и быть не предполагал, я знал практически наизусть.

Проверяющий, не знавший ни слова по-французски, благосклонно кивал в такт моей мерно лившейся картавой, как у вождя пролетариата, речи, а учительница, вовремя сообразившая, что мы с Ильичом уже у Пале-Рояля, практически в двух шагах от библиотеки, благоразумно прервала нашу прогулку:

— Достаточно!

Приехав впервые в Париж двадцать лет спустя, уже во время perestroika, я первым делом прошел этим маршрутом.

Париж оказался точно таким, как во французском кино, — дождливым, серым, туманным, прекрасным, со своим местным Габеном на каждом отрезке набережной. Но все-таки тот мой, выученный по картам, фотографиям и импрессионистам в Пушкинском музее, с призраком коммунизма на велосипеде, был прекрасней, спасительней.

Он был несбыточной мечтой. И вот на тебе — сбылся.

А Сашке по прозвищу Мика досталась на том экзамене тема «Мой любимый фильм». Он стал рассказывать про мюзикл «Моя прекрасная леди», на который мы только что ходили большой компанией после уроков. Наверное, это был единственный фильм, содержание которого он в тот момент помнил. О первоисточнике — «Пигмалионе» Шоу — мы успели ему подсказать. На беду.

Кто-то из комиссии спросил, а кто же такой этот Пигмалион. Сашка бодро ответил:

— Это такой зверек, который меняет свой цвет.

Все рассмеялись, кроме проверяющего дядьки. Он не понимал по-французски. Но и после перевода ему не стало смешней. Зато ему стало обидно. Сашке вкатили трояк.

Мика закончил физтех, потом уехал за океан. Не так давно, на встрече выпускников сказали, что Саша умер. Помянули. Вскоре (почему-то в Киеве, в случайном пересечении людском) я узнал, что Саша в Канаде покончил с собой.

Может, и нет волшебных стран, кроме детства. Даже если через него проехал Ленин на велосипеде.

Ирина Данильянц. «Муха»

Наша Авторская экспериментальная школа № 47 открылась в 1991 году. Кларисса Дмитриевна работала в ней с первого дня. Это была маленькая сухая старушка в больших квадратных очках. Выражение лица всегда недовольное, губы всегда поджаты. Ученики звали ее «Муха» и, завидев в коридорах, начинали тихонько жужжать. Так она и ходила по школе под тихое «Бзззз». Никто из нас не знал, что именно она преподает и преподает ли вообще, хотя, говорят, когда-то давно она была удостоена звания «Заслуженный учитель».

Раз в году, в мае, она проводила для младшеклассников праздничный урок, посвященный Дню Победы. Рассказывала о тех днях и своих наградах. С урока уходила всегда с букетами гвоздик. В остальное время ее работой было следить за порядком. Утро и пересменок она проводила у парадных дверей школы вместе с дежурным учителем. Проверяла сменную обувь, «Личную книжку» (что-то вроде дневника лицеиста), оценивала «деловой стиль» каждого. Формы у нас уже не было, и это, кстати, отдельная гордость — лицей первым в городе отказался от платьев и фартуков. Но этот самый «деловой стиль» не давал покоя ни учителям, ни ученикам. Первые чуть ли не раз в полугодие обновляли дресс-код, вторые находили способы его нарушить. Помню год, когда девочкам запрещалось ходить в брючных костюмах; год, когда нельзя было носить юбки выше колена; год запрета любых каблучков, цветных блузок, свитеров, и не приведи господь заявиться на уроки в джинсах!..

Надо сказать, в Иркутске середины и конца 90-х проблем со шмотками для подростков не было. Город рядом с Китаем, и китайская толкучка, называемая в народе «шанхайкой», функционирует по сей день. У нас не было «сникерсов» и «марсов», зато дутые пуховики с торчащими из швов перьями появились еще тогда, когда жители остальных городов ходили зимой в тяжеленных шубах и мешковатых советских пальто. Не знаю, какие у вас, «в Европе», весной года 96-го были головные уборы, а у нас, в Сибири, все девочки от семи до пятнадцати мечтали о малиновых капорах с «шанхая», а осенью хором переоделись в бирюзовые беретки.

Ученицы старше пятого класса часто имели при себе два комплекта одежды. Через главный вход мимо двух дежурных старшеклассников, дежурного же учителя и «Мухи» мы шли в белых блузках, серых пиджаках и юбках средней длины. Тут же сворачивали в туалет, запихивали весь «деловой стиль» в целлофановые мешки и переодевались в модное шмотье. Кто-то ограничивался вельветовыми штанами и кроссовками на платформе, кто-то менял наряд целиком: вязаную кофту или цветастый топ вместо блузки, супер-мини вместо «средней длины», добавлялась пышная прическа + макияж. Все это

держалось до первой перемены — дальше начинались облавы, приходилось снова переодеваться в «белый верх, черный низ» либо ехать «за родителями». Учеников, одетых не по правилам, не имеющих сменки и совести (а в «джинсе», разумеется, ходят только бессовестные), отправляли домой или заставляли писать объяснительную.

Однажды тетя, которая как раз в девяностые эмигрировала в США, прислала мне из Бостона шикарный вязаный свитер с «горлом» светло-сиреневого цвета. Естественно, появляться в нем в школе было запрещено, но кого это волнует? Сначала я таскала его с собой и каждый день переодевалась в туалете. Потом осмелела и просто стала надевать свитер под застегнутый серый пиджак, а после ежеутренней проверки пиджак снимала. Потом мне пришло в голову: как здорово американский сиреневый свитер будет смотреться с темно-зелеными клешами в мелкий рубчик! И как-то раз заменила ими свою обычную юбку.

В школу в тот день я прошла не через главный вход, а через спортзалы (тогда физру вели практиканты, которые с нами дружили и по утрам открывали уличные двери). После первого урока никаких проверок не было, дежурные учителя ходили, видимо, по другим этажам. А дежурным старшеклассникам было абсолютно все равно, что там за свитер и хипповские штаны гуляют по коридорам. Я совершенно расслабилась, потеряла бдительность. И вдруг после третьего урока (как сейчас помню — литературы) краем глаза увидела «Муху»: она стояла в противоположном конце коридора и внимательно смотрела на меня. Она сделала пару шагов, я спешно зашла в кабинет, потом выскочила из класса и понеслась куда-то: то ли на другой этаж, то ли под лестницу. Она почему-то не стала ждать меня в кабинете. Хотя, вспоминая этот случай сейчас, думаю, это было бы логично: ведь я все равно рано или поздно вернулась бы на урок, и там, при всех, можно было бы провести со мной воспитательную работу. Но нет, она не стала ждать, а решила меня догнать.

Я скрывалась от «Мухи» всю перемену, она ходила за мной, звала дежурных и кричала, чтоб я остановилась. Наша игра в кошки-мышки продолжалась до тех пор, пока я, пробегая мимо кабинета директора, не столкнулась с нашей «Мухой» лоб в лоб и чуть не уронила ее на пол. Чудом ей удалось устоять на ногах. «Муха» была в ужасе от такого поведения, да что уж там — даже я испугалась собственной наглости!

— Здравствуйте, Кларисса Дмитриевна! Вы сегодня прекрасно выглядите! — выпалила я и быстрым шагом удалилась.

До конца уроков я все ждала, когда она придет к нам в кабинет, как меня вызовут к директору, как явится класный руководитель, попросит меня немедленно выйти, а там и до «матери в школу» недалеко. Но ничего этого не случилось: «Муха» никому ничего не сказала, никуда не пожаловалась. Но с тех пор каждый раз, когда мы встречались с ней в коридорах, я говорила ей:

— Здравствуйте, Кларисса Дмитриевна. Вы сегодня хорошо выглядите!

Всегда, практически каждый день, она отвечала:

— Здравствуйте, — и шла дальше.

Я окончила школу в 2002 году. Все одиннадцать лет, включая четвертый класс (а тогда все учились по системе «один-три» и прыгали из третьего в пятый), провела в одной школе. На последнем звонке, после традиционного капустника, на котором, конечно, не обошлось без пародий на всех учителей, включая «Муху», после выступлений и благодарностей мы стояли в холле и думали, куда дальше. Кто-то предлагал набережную, кто-то — ночной клуб. У парней где-то в гардеробе уже были

спрятаны бутылки и штопор.

Она подошла ко мне неожиданно и спросила очень серьезно:

— Когда вы говорили мне, что я хорошо выгляжу, вы говорили правду или это было просто так?

Тогда я, наверное, впервые увидела ее так близко. И смотрела в глаза. И видела не «Муху», от которой все носятся и которую, хоть и боятся, но всерьез не воспринимают, а пожилую даму, Клариссу Дмитриевну. Сказала ей, что сначала просто так ляпнула, от испуга, а потом не соврала ни разу, что она и правда прекрасно выглядит. Она улыбнулась, ответила:

— Спасибо! — и направилась к выходу.

Так все и было. Суровая, вечно недовольная «Муха» вдруг по-настоящему улыбнулась. Как улыбалась мне обычно моя бабушка.

Татьяна и Александр Мельниковы. Все было по-настоящему

Мы помним себя вместе с 1954 года, когда пришли в 1-й класс школы № 17 города Ульяновска.

Наша первая учительница Галина Александровна Покровская (Титова) была нам как мама: и добра, и в то же время строга. Класс был дружным, это она нас приучила: слабому — помощи, с «бедным» — поделись, больного — навести, уехавшему — напиши.

К праздникам — непременно спектакли с самодельными костюмами и декорациями. Начинали с «Репки». Я играл дедку, а Таня — бабуку. Она сшила мне бороду, а я выпилил ей лобзиком прялку.

А в конце учебного года — поход! На целый день! Едем до конечной трамвая, а там еще минут двадцать пешком. В авоське хлеб, картошка, соль, огурец, яйцо. У некоторых — «крем-сода»!

В первом классе запомнилось занятие, когда изучали меры длины — миллиметры, сантиметры, метры, километры. Весь класс вышел на улицу и от порога школы до площади Ленина измерял путь матерчатым сантиметром. Оказалось, что мы прошагали до площади целый километр!

Город у нас был непростой — родина Ленина, и в школах об этом не забывали ни на минуту. Например, у нас были места, где стояли бюсты Ленина и Сталина. Проходя мимо, мы должны были отдавать вождям салют, а уж если кто бежал по школе, то здесь обязательно нужно было притормозить.

Так вот, когда после XX съезда в стране отовсюду выносились портреты и бюсты Сталина, нам на уроке труда велели не просто убрать гипсовое изваяние, а выбросить его в окно с третьего этажа. В целях, надо полагать, наглядной агитации. Конечно, бюст разбился вдребезги, и куски его позже были замурованы в фундамент строящейся в школьном саду беседки.

В старших классах, это 1963—1965 годы, в школе существовала школьная фабрика. Да, да, самая настоящая трикотажная фабрика с директором, ОТК, интерлочницами, оверлочницами, закройщиками, мастерами и техниками. И на всех этих должностях и специальностях были мы, школьники.

На заработанные деньги весь наш класс отправился «вниз по матушке по Волге». Пять суток

плыли, любовались красотами волжских берегов и городов и распевали под гитару песни.

Не хотелось расставаться, не хотелось, чтобы путешествие закончилось. Кто-то сказал, что нужно бросить монеты в Волгу, чтобы все повторилось. Но денег уже не было, оставались банки с консервами «Килька в томатном соусе». Вот они и полетели в Волгу.

...В трескучие морозы 1964 года внезапно умер кочегар нашей школьной котельной. Чтобы школа не замерзла, директор попросил поработать нас, мальчишек 10 «Б». Работали по очереди, круглосуточно, наверное, недели две, пока не нашли нового кочегара. Директор, Борис Васильевич Карабанов, дежурил с нами как-то ночью. Каждый день после уроков мы бежали домой, переодевались, брали учебники, задания и шли в кочегарку. Я брал с собой аккордеон, так как учился в музыкалке, и в перерывах готовил свои музыкальные задания. Работали часов до шести утра, потом бежали домой отмываться от сажи. Я шел к моему другу Сашке Олейнику, потому что у них была ванна!

Девчонки нами гордились и иногда забегали к нам в котельную вечером, потому что надо было готовиться к смотру художественной самодеятельности и разучивать хором песню. Разучивали «Дымилась роща под горою» В. Баснера, ноты и слова которой нашли в «Комсомолке».

А когда и просто пели под гитару, глядя на огонь:

*Дым костра создает уют,
Искры гаснут в полете сами,
Пять ребят у костра поют
Чуть охрипшими голосами...*

От старой гимназии нам в наследство досталось здание классической гимназии с чугунными резными лестницами, классами, рекреациями с высоченными потолками, старинными пособиями по физике, химии и ботанике.

В нашей классной комнате за трехметровой перегородкой была кладовка — препараторская по биологии. На этой перегородке висела классная доска. В кладовке чего только не было: залитые формалином букашки, лягушки, гербарии, чучела птиц, таблицы с латинскими названиями и штампами старинной гимназии... Но самое главное — там был скелет, которого мы называли Васей.

Однажды наши мальчишки проникли в кладовку (обычно она была заперта), но тут прозвенел звонок, и наша молодая учительница ботаники начала урок. Она стояла лицом к классу, а за ее спиной над доской к потолку поднимался скелет человека с дымящейся папиросой в челюстях. Сначала все замерли, потом захохотали. Скелет Вася то поднимался, то опускался. Учительница оглядывалась, следуя нашим взглядам, ничего особенного не обнаруживала и продолжала объяснение нового материала. Но Вася появился снова — и мы снова захохотали. Ботаничка совсем растерялась. Слава богу, у наших «героев» хватило ума дальше не продолжать. Ох, что будет, что будет! Но ничего не было. Не считая того, что у бедного Васи что-то там отвалилось.

Мы часто учились во вторую смену. А темнело рано. Пройдет два урока, и наш класс отпускают домой, так как в школе погасли все лампочки. А на самом деле это наши умники в перемену подложили под цоколь лампочек мокрые промокашки. Потолки были высокие, метра четыре, но они добирались до лампочек, забираясь на плечи друг другу. Ура, домой! А то расческу сожгут в старинной кафельной печке в углу класса. Дымовуха! Снова домой!

Разбирательства были, старосте попадало, но не очень. Просто журили, «прорабатывали» в

кабинете директора или в учительской.

Еще старинная гимназия оставила нам в наследство прекрасные словари и книги для чтения на французском языке. Наша библиотечка София Эмильевна владела французским языком и нам эти книги показывала, но неохотно, осторожно.

...Мы с женой часто рассуждаем, отчего шестидесятые годы — самый замечательный период нашей жизни? Оттого, что это детство-юность? Или оттого, в какое время выпала эта юность? Или оттого, какие люди были рядом? Наверное, все вместе.

Учителя у нас были настоящие, интересные. Но самым необычным был учитель математики Борис Иосифович Абрамов. Он преподавал у нас с 7-го класса до 10-го. Влетал в класс и, стремительно направляясь к доске, объявлял: «Сегодня мы будем решать РАСЧУДЕСНЕЙШЕЕ УРАВНЕНИЕ!»

Строг был невероятно. Рядом с отметками в тетради порою были рецензии чуть не на полстраницы, которые начинались так: «Прекрасно!», «Чушь!», «Кошмар!», «Молодец!». Он обладал огромной эрудицией и мы ловили каждое его слово, названия книг, авторов, что он упоминал. Он и выглядел необычно — очень худой, быстрый, выглядел намного старше, чем ему было, и в тоже время молодой, задиристый. Откуда-то мы знали его судьбу, хотя вслух это не обсуждали: тринадцать лет лагерей, реабилитация, в Ульяновск он попал как в один из «разрешенных» городов.

С Борисом Иосифовичем мы дружили и после окончания школы. Однажды подарили ему радиоприемник, и он насторожился, говорил, что кто-нибудь подумает, что он слушает западные радиостанции. Видимо, внутренний страх остался в его душе навсегда.

Последние два года наш класс стал особенно сплоченным. Мы организовывали тематические вечера, субботники, митинги, играли в драмкружке, участвовали в ремонте школы... В школу могли прийти по своим общественным делам когда угодно, даже поздно вечером. И почему-то никаких запретов на это у директора не было. Видимо, у нас был особенный директор, если нам казалось, что мы все можем сами. А может, тогда это было у всех?

А еще у нас был клуб юных коммунаров. И были мы счастливы в этом школьном братстве. Проводили областные слеты, оказывали помощь сельским школам. Заработали деньги и поехали на слет коммунаров в Ленинград. Свои впечатления о том, как влияют на нас и на наших сверстников коммунарские дела, мы посылали в отдел «Алый парус» «Комсомольской правды».

В клубе были законы, которые и до сих пор нам кажутся важными:

- Наша цель — счастье людей!
- Живи для улыбки товарища!
- Все творчески, иначе зачем?
- Что в твоих делах хорошо, что плохо, что нужно сделать, чтобы стало лучше?

И много пели. Высоцкого, Визбора, Окуджаву, Городницкого, Кукина... Эти песни остались с нами, их поют наши дети и даже внуки.

Прошло пятьдесят лет. Срок. Но жизнь сложилась так, что мы продолжаем дружить и общаться. Нас объединила наша школа, школа № 3 имени Н.К. Крупской города Ульяновска.

Сергей Поляков. Странное время

Когда я оглядываюсь на свои школьные годы (это конец пятидесятых — шестидесятые, город Ульяновск), то возникает ощущение странного, почти фантастического времени. Современный школьник, наверное, просто не поймет даже — о чем это, как это?

Пять с плюсом за кирпич

1957 год. В четвертом классе я сделал кирпич. Прочитал в зелененьком учебнике естествознания, что надо перемешать чистый речной песок с глиной, поместить в форму, высушить и обжечь. С песком и глиной в городе на Волге проблем не было, а коробка из-под ботинок вполне годилась для формы. Да и вопрос с печью для обжига решился: у нас на кухне в тот год еще была плита, которая топилась дровами.

Кирпич получился правильный: красный, твердый, правда, с черной подпалиной с одного угла. Наша замечательная учительница Елизавета Семеновна, еще из тех, бывших, что оканчивали педагогические курсы до революции, поместила кирпич на самое видное место в шкаф со стеклянными дверцами, чтобы всем было видно, и поставила мне пять с плюсом.

Больше таких оценок я в жизни не получал. Впрочем, и кирпичей больше не делал.

«Кто тронет — тому в лоб»

1958 год. Мы уже пятиклассники, и у нас объявлен сбор металлолома. Собирали поначалу ни шатко, ни валко: ну, кто-то там притащил спинку от кровати, кто-то прикатил ржавое колесо.

Но тут объявили соревнование между классами.

А у нас в классе учились ребята с Володарки, района города с лихой репутацией. Дома там были построены для работников завода имени Володарского, и пацаны с «володарских» домов слыли шустрыми — управы на них не было, носились по городу где хотели. Вот они-то и бросили клич, что, мол, у речного порта лежит рельс и если мы его притащим, то всех победим.

На следующий день после уроков двадцать семь пятиклассников (почему-то запомнилось это число) отправились вниз под гору к Волге, в речной порт. Там и правда прямо у воды лежал здоровенный, неизвестного происхождения ржавый рельс.

Мои сотоварищи оказались весьма подготовленными. У них нашлась длинная толстая веревка, и, проведя ее через какую-то дырку, имеющуюся почему-то в наличии на рельсе, потянули мы все вместе ценную добычу в гору. Но дело шло туго: чуть не через каждые десять метров мы останавливались, переругивались, отдыхали и, вздохнув, тянули рельсу дальше. Наконец, повезло: мы наткнулись на кучу круглых поленьев (вероятно, кто-то скинул с грузовика будущие дрова, а расколоть их еще не успели). Поленья мы тут же превратили в катки — и дело пошло.

Но пока суд да дело, уже стемнело. По темным улицам, облепив рельс, как муравьи, покатали мы его прямо по центру города к школе — благо автомобили вечерами почти не ездили.

С грохотом и веселым покрякиванием вкатили наш металлолом в школьный двор, а принимать-то его у нас и некому — все учителя давно разошлись. Ну что ж, оставили рельс посреди двора и

написали на нем: «Кто тронет — тому в лоб. 5 “Б”».

Что было в тот вечер у некоторых из нас дома — умолчим.

Наутро пришла в школьный двор вожатая и засчитала нам победу. Мы возрадовались, но ушлые «володарцы» сказали: «Вот бы еще заплатили».

И что вы думаете... В конце мая, когда закончился учебный год, на пионерском сборе директор лично вручил нам по пять рублей.

Помилование в честь Октябрьской революции

Тот же 1958-й. Начало ноября.

Бабушка и мама мне давали в школу то пирожок, то бутерброд, то яблочко.

С яблоком все и случилось. Для удобства оно было разрезано пополам: одну половину съел я, а вторая предназначалась для угощения товарища. И только я собрался это сделать, как подлетел ко мне Ляпа, схватил половинку яблока и побежал по партам. Ляпа был их тех, володарских, с которыми лучше не связываться. Но я рассердился. Закричал и тоже по партам. Ору, машу руками. Ляпа был крепким пацаном, а я так, хилак, в общем. Но разок мне удалось достать его нос. Вот тут-то Ляпа схватил меня и об пол...

В этот миг в дверях класса появился директор школы и громовым голосом остановил нашу драку. На следующий день по школе читали приказ: за то-то и то-то учеников 5 «Б» класса таких-то исключить из школы на неделю. Во всех пятых прочитали. Не знаю, как у Ляпы, а у меня дома был еще тот трам-та-ра-рам.

Прошло три дня, приближались осенние каникулы, и появился новый приказ: такого-то и такого-то в честь приближающегося праздника Октябрьской революции помиловать.

Вот какая у нас оказалась справедливая революция.

А с Ляпой мы потихоньку помирились. До сих пор, когда в городе встречаемся, разговариваем.

Пьяница строит коммунизм

В старших классах мы писали сочинения по литературе, в том числе на свободные темы, я их любил больше — можно было не читать толстые скучные книжки.

Запомнились два таких сочинения: первое и последнее.

В первом я описывал, как я вернусь в Ульяновск через двадцать лет, в году так 1985-м. Танковое училище, вследствие всеобщего разоружения, превращалось в строительный институт, родной радиоламповый завод в завод телевизионный, а через Волгу бегало судно на воздушной полужке «Луна».

Последнее «свободное» сочинение писалось на выпускном экзамене. Тема его была серьезная: «Коммунизм и труд неотделимы».

И тут я позволил себе пофилософствовать: «Так как коммунизм и труд действительно неотделимы, то все, кто трудятся, строят коммунизм, в том числе пьяницы».

Сочинение мне потом показали. Фраза про пьяницу была подчеркнута красным, но оценка не снижена. Может, потому что учительница по литературе у нас была особенная.

Зоя Федоровна и Борис Иосифович

Литераторшу звали Зоя Федоровна. Она на уроке курила в форточку папиросы, наизусть читала весь урок Маяковского, ставила с нами пьесу Киршона «Сплав» и проводила что-то вроде кружка по поэзии Вознесенского.

На кружок пришло человек семь — восемь, в основном сложившаяся к тому времени моя компания. Обсуждали «Треугольную грушу». Я возмущался: «Не бывает треугольных груш!», — а Зоя Федоровна сравнивала Вознесенского с Маяковским.

Второго заседания почему-то не было.

От Зои Федоровны мы узнали про «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Мне журнал «Новый мир» попал на пару дней, и я его читал на всех уроках подряд, держа на коленях под крышкой парты. А мой друг Гена уверяет, что ему журнал давала читать сама Зоя Федоровна.

«Один день Ивана Денисовича» мне, кстати, тогда не понравился.

Еще одним ни на кого не похожим учителем был математик Борис Иосифович. Худощавый человек с морщинистым лицом, в очках, с внимательными глазами.

Уроки Бориса Иосифовича проходили обычно так: у доски кто-то из лучших учеников решает какую-нибудь заковыристую задачу, а Борис Иосифович комментирует процесс решения, отпуская ехидные замечания. Мы сидим как мыши: одни из нас пытаются все-таки понять разворачивающиеся на доске математические события, другие пребывают в тихом ступоре.

Заводить Бориса Иосифовича никто не решался. Однажды, когда кто-то с галерки повел себя неподобающим образом, Иосифович запустил в него здоровенным учительским треугольником. Треугольник, пролетев, медленно вращаясь, над нашими головами, с грохотом врезался в заднюю стену кабинета.

А еще Борис Иосифович по-особенному ставил оценки. У него была собственная авторская шестибальная система: кроме пятерок, четверок, троек, двоек и единиц, ставился еще ноль («картошка»). При этом оценки обязательно комментировались: «гениально», «замечательно», «кошмар», «позор» и т. д. Самое удивительное, что мы ему все прощали, вслушивались в его неожиданные суждения и даже гордились необычными «рецензиями».

Позже мы узнали судьбу Бориса Иосифовича: детство на КВЖД в Харбине, юность в Ленинградском университете, арест 1939 года, лагерь, лесоповал, реабилитация, обучение на заочном физмате, учительство в нашей школе.

От Бориса Иосифовича мы узнали о существовании Марины Цветаевой и Осипа Манделштама, об экологической проблеме и много еще чего, что делало мир сложным и ярким.

Три библиотеки

В школьные годы у меня были три библиотеки: городская, школьная и Дома учителя.

Городская располагалась в здании бывшего Дворянского собрания. В библиотеке был прямой доступ к книгам — в анфиладе небольших комнат на высоченных, почти до потолка, полках. Но «самое сладкое» было в конце анфилады, у стенки последней комнаты. Здесь на нижней полке лежали россыпью только что возвращенные читателями книги и журналы. И среди них: «На краю Ойкумены» И. Ефремова, «Страна багровых туч», «Даурия», вызывающие холодный ужас воспоминания детей, выживших в фашистском концлагере, и книжка про то, «как наши брали рейхстаг».

От библиотеки до дома было пятнадцать минут ходьбы, и это казалось слишком долго. Если было лето, а в городскую библиотеку я ходил в основном летом, я добирался до ближайшего сквера (им был садик с памятником Карлу Марксу, созданным, как нам объясняли в школе, знаменитым скульптором С. Меркуровым), ложился на траву и прочитывал первую страницу — остальное было на потом, дома.

Школьная библиотека находилась на втором этаже, в узком коридорчике, заканчивающимся тупиком. В ней было тесно и при входе стояли полки с научными и ненаучными журналами. В школьной библиотеке я брал журналы «Знание-сила», «Техника молодежи» и почему-то менее любимый мной «Юный техник». Журналы приходили в мои руки в обратном порядке: сначала за последний 1962 год, потом за 1961-й, 1960-й, 1959-й и так до самых ранних, располагавшихся на верхних, под самым потолком, полках.

Библиотека Дома учителя размещалась на третьем этаже здания нашей школы. Но попасть в нее прямо из школы было нельзя. Вход был со двора, нужно было открыть особую дверь, а затем подняться по крутым чугунным старым лестницам. Здесь народу было немного. На просторных широких полках стояли желтенькие и серые тома мемуаров. Я брал их подряд одни за другим и читал воспоминания о Некрасове, о Толстом, о Горьком... Это было, как я сейчас думаю, довольно странное занятие, потому как ни Некрасова, ни Толстого тогда толком не читывал. А еще были книжицы новой фантастики. Особенно меня поразил сборник американской фантастики с рассказом Хайнлайна про слепого барда-космонавта и страшным рассказом Рэя Брэдбери «Вельд».

«Теркин на том свете» и ночные яблоки

Весной 1963 года, в конце десятого класса, к моему возмущению и недовольству, друзья двинули меня в секретари комсомольской организации. Почему я был этим недоволен, сейчас уж и не помню.

Но вследствие сего события я оказался летом в легендарном лагере «Орленок» на первой всесоюзной смене школьного комсомола.

«Орленок» в моей жизни — это отдельная нешкольная история, но о двух событиях расскажу. Где-то в середине смены нас привезли в сочинский дендропарк и отпустили на пару часов в свободный полет. Свобода довольно быстро надоела. Идем мы по дендропарку с киевлянином Сашкой Шаргородским и скучаем (сам дендропарк нам уже по барабану, и про все на свете вроде переговорили). А навстречу нам шагает наш вожатый Стас, и в руках у него газета «Известия».

Сели мы втроем на скамеечку, а Стас и говорит: «Ребята, а давайте я вам прочитаю!» Разворачивает эту свою газету и начинает: Александр Твардовский, «Теркин на том свете»...

Второе событие случилось в последнюю лагерную ночь. У столовой на берегу моря был небольшой декоративный бассейн. И вот в него в тот вечер-ночь насыпали много-много зеленых, сочных яблок. Кто это придумал, кто насыпал — мы не знали, да и не стремились знать. Как я сейчас

думаю, это был гениальный человек.

Почти до рассвета то с одной, то с другой компанией я бродил по лагерю, и все наши хождения завершались и начинались у бассейна с яблоками. Мы брали по яблочку и продолжали наши бесконечные разговоры про то, как и что случилось в лагере и какую правильную замечательную жизнь мы устроим, когда вернемся в свои школы. И сквозь эти вдохновенные, правильные разговоры проскакивали искры симпатий.

Яблоки кончились под утро, когда из-за дальних гор поднимался, подсвечивая тихое море, розовый рассвет.

Рассвет и бассейн с яблоками стали для меня как бы символами свободной жизни, когда нет жестких ненужных правил, но есть ясные, как сейчас скажут, позитивные устремления, пронизывающие жизнь.

Странное сообщество: юные коммунары

Самая странная, по сегодняшним меркам, история произошла в первый послешкольный год. Тот круг, к которому я принадлежал в школе, обозначил себя как «Клуб юных коммунаров». Нас было то пятнадцать, то двадцать человек в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет. А трое, кто уже окончил школу, но продолжал, как сейчас сказали бы, тусоваться в школе, по восемнадцать.

Наверное, учителя были в растерянности от нашего существования. Пионерия, комсомол — это понятно, но тут кто-то еще — что бы это значило?

Спустя лет пять, когда все мы окончили школу, гуляла легенда, что ходили мы, старшеклассники, в зеленых рубашках, буденовках и красных пионерских галстуках. Правда была только про галстуки. Они были у нас и вправду красные, но не пионерские, а «коммунарские», обшитые нашими девчонками синей каймой.

Директор, как мы теперь понимаем, либеральничал (или время было такое). Скорее всего, не без его ведома нам позволялось расписывать по собственным эскизам стены пионерской, вывешивать никем не утвержденные стенгазеты, вести до глубокой ночи в той же пионерской «умные» разговоры, устраивать школьное кафе и сманивать пятиклассников (полная авантюра!) в поход.

А еще мы тихо, при свечах, для себя пели:

*Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженьё не покачнуло б шар земной,
Я все равно паду на той, на той единственной Гражданской
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...*

Потом, когда мы посмотрели фильм «Республика “ШКИД”», у нас возникли неожиданные переключки-ассоциации.

Позже, в 1968 году, когда я уже учился в МГПИ, откликнулось. С нами, студентами, перед съездом ВЛКСМ проводили анкетирование, и я писал в анкете, что необходимо создать специальную подростковую — среднюю между пионерами и комсомолом — организацию. И был огорчен, что никаких следов моего предложения на съезде не прозвучало.

Школа с другой стороны: начало

1967 год. Мы — студенты МГПИ, третьекурсники, зачем-то ездим в школу на окраине Москвы. Считается, что мы вожатые.

Начало ноября. В школе «День Города солнца». Мы вместе с ребятами носимся по кабинетам, превращенным в Звездную улицу, Площадь оркестров, Парк умного спорта и Переулок задумчивости, получая в каждом из них неожиданные задания, задачи и испытания.

Да, да, да! Вместо Дня Октябрьской революции в школе был День Города солнца. Впрочем, может где-нибудь на бумаге он и был посвящен революции, но нам и детям про это не сказали.

1969 год. Школа в Якутии в поселке строителей Вилюйской ГЭС. Я начинающий педагог, учитель физики и астрономии. У меня Кружок Ракетостроения и Космонавтики (КРиК). Космонавтикой я интересуюсь, но ракеты запускать не умею. Умеют мои кружковцы. Чтобы ракета полетела, нужно туго-туго замотать фотопленку, аккуратно ее вставить в картонную ракету с красной звездой и надписью СССР, приспособить к пленке фитиль, надеть ракету на воткнутую в землю проволочную направляющую и фитилек поджечь.

По-ле-тела!

Чуть позже, в физкабинете, отмечаем успехи школьной космонавтики: пьем чай с конфетами и говорим «за жизнь». «Сергей Дмитриевич, — спрашивает меня лидер кружка Коля Яницкий, — а почему Брежнев такой глупый?».

— ...!

Прилетели.

Вот такой осталась школа в моей памяти. Иногда мне кажется, что моя школьная жизнь оказалась очень странной, а иногда, что школа была, в общем-то, нормальной, а странной она стала позже, сейчас.

От издательства

Мы собирали эту книгу, понимая, что ее авторы не писатели, а те, о ком писатель обычно пишет, — народ. Для нас самое главное было, чтобы каждый приславший свои воспоминания о школе был искренен и смог рассказать свою историю. Такая же надежда двигала нами, когда мы собирали первую народную книгу — «Детство 45—53» (автор-составитель Людмила Улицкая). Наши ожидания оправдались, сборник о послевоенном детстве стал бестселлером — и мы двинулись дальше.

Книга о школе 60—80-х изначально предполагала острый материал. По предположениям редакции и прогнозам составителя Дмитрия Быкова, мы ждали «конструктивную критику», «национальный протест» против той советской школы, которая убивала в нас личность, учила быть «такими, как все», не давала свободы полета и пр. И такие письма к нам пришли тоже, и вы их прочитали в книге «Школа жизни», но в большинстве своем сборник получился скорее ностальгическим. Оказалось, что мы, в большинстве своем, с удовольствием вспоминаем школьные годы, что мы любим учителей или вспоминаем о них снисходительно; что то, что казалось в юности скучным и неинтересным, навязанным школьными «правилами», теперь кажется ярким и запомнилось на всю жизнь. Что школьная дружба для многих не пустой звук, что пионерские сборы, выезды «на картошку», сбор макулатуры, металлолома и прочий советский «антиквариат» так же милы сердцу, как великим русским классикам усадебный быт в их воспоминаниях о детстве и отрочестве. Видимо, и вправду «что пройдет, то будет мило».

Может быть, другой книги и не могло быть. Ведь писали ее... дети, хоть и бывшие.

Елена Шубина, издатель

Владимир Чернец, координатор проекта

* * *

Мы благодарим всех участников проекта, в том числе и тех, воспоминания которых не удалось включить в сборник. Спасибо за Вашу отзывчивость, за присланные семейные фотографии, которые мы с Вашего разрешения использовали в сборнике.

Благодарим Дмитрия Быкова, Евгения Бунимовича, Александра Архангельского, Льва Соболева — замечательных литераторов и педагогов, сразу поддержавших нас в нашем начинании.

Спасибо всем, кто помог нам издать эту необычную послешкольную книгу!

Наша благодарность Российской государственной библиотеке для молодежи за интернет-поддержку и создание веб-сайта проекта, а также лично Ирине Борисовне Михновой, Маргарите Демкиной и Антону Пурнику — людям, взвалившим на себя заботу общаться с сотнями участников проекта в России и проживающими ныне за рубежом бывшими гражданами СССР.

Отдельное спасибо блестящему литературному редактору этой книги Людмиле Соколовой.

Спасибо нашим информационным партнерам — РИА Новости, Социальному навигатору, МТРК «МИР» — и лично Марии Чегляевой.